

Валентин Краснопевцев

**ПОГОВОРИМ
ПО- РУССКИ**

2002 г.

ББК 26.89
К78

Рецензент - кандидат педагогических наук,
доцент Н.И.Яковлева.

Краснопевцев В.П.

К78 Поговорим по-русски. - Псков: ПГПИ, 2002. -
352 с.

Полезная и интересная книга о богатстве и красоте русского языка, иллюстрированная образцами классической и современной поэзии и прозы, учит правильной и образной речи.

Книга «Поговорим по-русски» станет хорошим помощником учителям-словесникам, студентам филологических факультетов, учащимся в важном деле развития интереса к родному языку.

К78

Издано в авторской редакции.

ISBN 5-87854-196-3

© Краснопевцев В., 2002

© Я.И.Краснопевцева,
оформление

© Псковский государственный
педагогический институт
им. С.М.Кирова (ПГПИ), 2002

Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь наша, но в самом существе ничто столь удивительно есть, как наша речь... О вы, любители чудес, внемлите произнесенному вами слову, и удивление ваше будет нечрезмерно...

А.Н.Радищев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга В. Краснопецева “Поговорим по-русски” представляется очень важной, интересной и, безусловно, актуальной, особенно в наше сложное время, когда в условиях духовно-нравственного возрождения России усиливается значение русского языка для формирования национального самосознания народа.

Автор предлагает читателю интересный и полезный разговор о богатстве, силе и красоте нашего русского языка, а также помогает задуматься над теми его фактами, которые не всегда осознаются большинством его носителей. Написанная живо и доступно, книга привлечет внимание всех, для кого русский язык интересен как одно из достижений русской культуры, и рассчитана на самый широкий круг читателей. Знать выразительные средства языка, уметь пользоваться его стилистическими и смысловыми богатствами во всем их структурном своеобразии - к этому должен стремиться каждый носитель языка.

Особый профессиональный интерес вызовут размышления автора о русском языке у учителя-словесника, преподавателей и студентов филологических факультетов. Большое внимание современная методика уделяет изучению единиц языка с учетом их значений, функций и взаимодействия в речи, то есть комплексному подходу к работе над языком. С этой целью на уроках словесности анализируется не только форма, но и выразительные возможности языковой единицы, каждой ее морфемы. Кроме того, современный словесник использует сведения по истории родного языка, ибо знание истории слов и выражений делает осмысленным владение современным языком и его нормами.

В главах книги “Полезные ископаемые”, “Хватает ли нам слов”, “Прелестные несурезицы” и “Свобода без анархии” учитель может найти богатый материал о словоразличительных средствах (русском ударении, функциях Ь, чередовании согласных звуков), о важнейших “речевых кирпичиках” (суффиксах, приставках), о сложных словах и новообразованиях, об использовании значений слов (например, как употребляется универсальное русское “ничего”), о функциональной роли знаменательных и служебных частей речи, а также исторический комментарий о происхождении отдельных частиц, наречий, междометий.

Для лингвистических размышлений автор использует образцы классической и современной поэзии, прозы, тонкий анализ которых полезен для осуществления нового подхода - обучать не только языку, но и речи, что выражается, например, в лингвистическом анализе текста. Именно этот вид анализа особенно труден для школьников.

Читая эту книгу, мы слышим не только самого автора: с ее страниц о русском языке говорят писатели А. Н. Радищев и И. С. Тургенев, Л. П. Чехов и Л. Н. Толстой, В. Л. Брюсов и А. И. Солженицын; ученые М. В. Ломоносов, Ф. И. Буслаев, А. А. Шахматов, Л. В. Успенский, Ю. С. Сорокин.

Выход в свет книги, содержащей прекрасный анализ языка, мнения авторитетных ученых и писателей по вопросам развития языка, послужит для учителей-словесников полезным пособием по совершенствованию их профессиональных знаний, а для учащихся это будет увлекательное, полезное чтение, развивающее их интерес к родному языку. Вспоминаются слова Д. С. Лихачева: “Наш язык - это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, о кем мы имеем дело. Учиться хорошей интеллигентной речи надо, долго и внимательно прислушиваясь, запоминая, читая и изучая. Но хоть и трудно - это надо, надо”.

Н. И. Яковлева.

ОТ АВТОРА

Предлагаемая книга даже и отдаленно не напоминает обыкновенный учебник, знакомый каждому из нас по школе.

Во-первых, обращена она к разновозрастной читательской аудитории, как в шутку принято выражаться, - от пионера до пенсионера.

Во-вторых, в отличие от свода грамматических правил и предписаний она не диктует норм, а лишь ставит те или иные вопросы и по возможности на них отвечает, не претендуя при этом ни на полнейший охват поставленной проблемы, ни на академическое ее обоснование.

Скорее - это просто приглашение к заинтересованному и свободному, не стесненному никакими рамками и условиями разговору.

Наша книга предлагает читателю обратить свое вдумчивое внимание на речь собственную и окружающих, что, можно надеяться, не окажется бесполезным. Преследовал автор и еще одну немаловажную цель - наглядно и доходчиво показать, за счет каких изобразительных средств обеспечиваются незаурядные мощь и богатство, поразительная свобода применения в живом общении и необычайная музыкальность русского языка.

Могут, пожалуй, задать вопрос, и он будет в достаточной мере естественным: а самое ли благоприятное выбрано время для попытки привить нашей подрастающей молодежи глубокий интерес и сознательное уважение к родной речи? Ведь сегодня, в переломную для всей жизни России эпоху, у общества в целом и у любого гражданина в отдельности столько самых разных и трудноразрешимых житейских проблем!

Автор твердо убежден в том, что ответ на этот вопрос существует уже более столетия. Его дал в знаменитом стихотворении в прозе "Русский язык" наш великий соотечественник Иван Сергеевич Тургенев.

"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь

тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!”.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ МОРЕ СМЕЕТСЯ, МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ.

Рассказ Максима Горького “Мальва” открывает-ся фразой- абзацем: “Море – смеялось”. Звучит довольно неожиданно, не правда ли? В ходе дальнейшего повествования оно, то есть море, “вздрагивало”, “улыбалось” – вело себя в полном соответствии со сделанной вначале заявкой. А еще оно имело “атласную грудь”. Море и солнце на пару, как закадычные друзья, были “счастливы”... В системе образов чувствуется дань романтизму с его характерным пристрастием к одухотворению всего сущего.

Можно по-разному относиться к такому литературному приему. У него есть как свои ярые поклонники, так и не менее убежденные противники. А.П.Чехов, например, проявил известную настороженность, как можно судить по его письму Горькому от 3 января 1899 года.

“Описания природы художественны; Вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т.п. – такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными”...

Ну хорошо: смеющееся море в “Мальве”, нравится оно или не очень, - конечно же, чистейшая метафора. А что можно сказать о расхожем выражении “море волнуется”? Тоже метафора?

Думается, утвердительно ответят на поставленный вопрос очень многие. Причем ход их рассуждений совсем не трудно воспроизвести. Говорим же мы, дескать, о себе самих либо о знакомых нам людях: “я очень волнуюсь перед экзаменом”, “все в доме страшно переволновались за тебя”; и в более ши-

роком плане - “народные волнения”. А в рассказе Горького - не я, не вы, не народ даже, но недушевленное море, которое испытывать чувство волнения, подобно людям, заведомо не может. И, стало быть, выражение “море волнуется” - не иначе как фигуральное!

Прежде чем приступить к возражениям, уместно будет напомнить меткое замечание дядюшки Стародума - персонажа общеизвестной комедии Д. И. Фонвизина “Недоросль”.

“...всечасное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ними знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует”.

Увы, мы настолько свыклись с переносным значением глагола “волноваться”, что перестали распознавать метафору в вышеприведенных словесных конструкциях и обратно - находим ее там, где в действительности ее вовсе нет. Ведь “волноваться” происходит от слова “волна”, а что может быть естественнее волн на море? С другой стороны, затруднительно представить себе человека в волнообразном виде...

Впрочем, стоп! Примечательная фраза И. А. Бунина в его рассказе “Руся” как будто опровергает последнее наше замечание?

“Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сафраном”.

Представьте - ничуть не опровергает! “Тело волновалось” мы с вами никогда не произнесем в приватном разговоре, а потому согласны зачислить в метафорические выражения: в конце концов ясно же, что тело - отнюдь не море... Суть дела, однако, в другом: бунинская метафора базируется отнюдь не на игре нервов и чувств, как в выражении “я волнуясь”, а

исключительно на зрительном подобии натуральным волнам плавно-колебательных движений тела человека при ходьбе.

Примеры как прямого, так и фигурального значений глагола “волноваться” - причем в непосредственной текстовой близости - находим в поэме А. С. Пушкина “Полтава”.

“Волнуясь, конница летит”... Хотя кавалеристы в разгаре сражения безусловно не могут не быть возбуждены и взволнованы, - совсем не о волнении как душевном состоянии говорится в этой пушкинской строке. Конница летит в атаку не прямой лавой, а волнообразно, когда одни ряды или даже целые фланги опережают другие, соседние.

В строке “Взирает на волнение боя” существительное “волнение” легко поддается синонимической замене - на слова “суматоха” либо “перипетии”.

Истинная же метафоричность существительного “волнение” проявляется в других эпизодах пушкинской поэмы.

Смущенный взор изобразил
Необычайное волнение.

Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого...

Казус с “волноваться” - не случайный и не редкостный пример нашей невдумчивости в первоначальный смысл тех речений, коими мы с такой безоглядной смелостью пользуемся и в разговоре, и зачастую на письме.

“Если бы я был царь, - говаривал Лев Толстой, - я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значения которого он не может объяснить, лишается права писать и получает сто ударов розог...”.

Конечно, к инженерам человеческих душ, как еще

недавно принято было высокопарно именовать представителей писательского корпуса, и требования в знании языка предьявляются совсем особые, повышенные. Но согласитесь - и наказание же за допущенную промашку придумалось презестокое! Хотя кто-кто, а Лев Толстой имел полное моральное право на суровость своей оценки, что наглядно подтверждается хотя бы поучительным эпизодом, приведенным в воспоминаниях о Л. Н. Толстом его “однополчанина” - Максима Горького.

“Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

- Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

- Они там говорят: стежаное одеяло!”.

“Его чуткость к формам речи, - заключал Максим Горький свой рассказ об этом забавном, но и характерном эпизоде, - казалась мне - порою - болезненно острой”...

Возвращаясь к глаголу “волноваться”, заметим, что слово это - еще сравнительно нетрудное для правильного осмысления корней. Подобных в нашем лексиконе отыщется немало. Не нужно, например, напряжения ума, чтобы уловить что называется с ходу: “урон” - от “уронить”, “стесняться” - от “тесно”, а “смутить” - от “муть”, “рассеянный” - от “рассевать” (есть еще синоним “разбросанный” похожего происхождения), “околеть”, а также областническое “заколеть” - “замерзнуть” - от “кол”, “цепенеть” - от “цеп” (в первоначении - “палка”; цепями в старину молотили снопы).

Не требуют специальных пояснений родослов-

ные речений: “остолбенеть”, “окаменеть”, “одеревенеть”, “выдворять” (то есть изгонять со двора), “измоchalить”, “изрешетить”, “искоренить” и “закоренелый”, “исколесить” и “околесица”, “раскошелиться”, “распоясаться”, “умасливать”, “юлить”, “сногшибательный”, “поползновение”, “скопидом”, “перешеек”, “прикарманить”, “разбазаривать”, “погрязнуть”, “отщепенец”, “нахлебник”...

Все эти слова мы, нимало над тем не задумываясь, употребляем в переносном смысле, а между тем в своем прямом значении они не просто очень конкретны, но и, если позволительно так выразиться”, даже вещны. Ну что, в самом деле, может быть предметнее, нежели “щепка”, “грязь”, “карман” и иже с ними!

Вероятно, такого рода прозрачные русские речения имел в виду поэт Игорь Северянин, когда провозглашал:

Да здравствует словарь простейших слов,
Которые сердца приемлют наши!

К числу сверхпонятных в отношении родословия относятся и многочисленные производные от названий животных: “ершиться”, “ежиться”, “ущучить”, “прижучить”, “змеиться”, “змеевик”, “гуськом” и “раком”, “ехидничать”, “осоветь”, “осоловеть”, “козлы”, “набычиться”, “проворонить”, “насобачиться”, “ишачить”, “ослить”, “петушиться”, “насвинячить”, “свинство” и “свинский”, “лебедка”, “галочка”, “коньки”, “мушка”, “голубцы” и “голубчик”, “голубушка”, “волчок”, “обезьянничать” и “попугайничать”, “коноводить”, “щеголять”, “окрыситься”...

Но вот пример совсем другого рода. В оде Г. Р. Державина “На Счастье” в одной строфе уместились, сойдясь, два понятия, которые на поверхностный взгляд кажутся абсолютно разносмысленными: “счастье” и

“участь”.

Услышь, услышь меня, о Счастье!

Мою ты участь премени...

А между тем, по Ф. И. Буслаеву, ““с-част-ие” - удел, доля или часть”. И стало быть, родство со словом “участь” - самое прямое!

О том же, но гораздо подробнее писал В. В. Одинцов в книге “Лингвистические парадоксы”.

“Счастье. Наши предки вкладывали в это слово иной смысл. Об этом свидетельствует корень слова: часть. Счастливый – имеющий часть, часть богатства, наследства, получивший долю. Заметим, что и слово доля (равно как и недоля - только с обратным знаком! - В.К.) имеет значение не только “часть”, но и “судьба, участь”. Да и состав последнего слова также прозрачен: у-часть. Вспомним и другое слово: удел.

Добавим, что древнее содержание понятия “счастье” помогал в старину распознавать его антоним - “злочастие”: вспомним кстати “Повесть о Горе-Злочастии” XVII столетия.

Теперь станет ясно, почему В.А. Жуковский мог употребить слово “часть” совсем не по-нашему теперешнему:

Друзья! блаженнейшая часть:

Любезных быть спасеньем.

“Певец во стане русских воинов”.

Ныне “счастье” - понятие однозначно положительное и, разумеется, куда более широкоохватное, чем прежде. Что касается родственного слова “участь”, то она может быть как наилучшей, завидной, даже счастливой(!), так и противоположно - худой, злой, недоброй, несчастной!

Ближе всего из группы однокоренных к первоначальному смыслу слова “участие” (совместная де-

тельность), “участвовать”, “участник”, “участок”.

Вот и получается, что, хотя корень “часть” и просматривается в слове “счастье” вроде бы с легкостью, однако точное его истолкование затруднено позднейшим переосмыслением.

С подобным казусом мы встречаемся на страницах романа Даниила Гранина “Иду на грозу”,

“Романов покачал головой. - Не из-за этого. Боюсь. А вдруг обругают? Обвинят. Я сам хуже всякой критики. Привык. Все заранее прикидывал - кто что может сказать. Вероятно, и не скажут, а я все равно боюсь. Страхуюсь это от слова страх”.

Действительно, исторически оба слова родственно связаны, но в нынешнем “прочтении” эта связь не воспринимается.

Об исторически родственных связях многих современных слов впечатляюще сказано в замечательном стихотворении Сергея Острового “Первородство”.

К словам привыкаешь день ото дня,
А они первородного смысла полны...
И когда я слышу:

- Извини меня! -

Это значит:

- Исключи меня из вины!

У слова цвет своего огня.
Свое пространство. Свои рубежи.
И когда я слышу:

- Обереги меня!

Это значит:

- Берегами меня окружи!

У слова есть корни. И есть родня.
Оно не подкидывай, под сирым кустом.
И когда я слышу:

- Защити меня!

Это значит:

- Спрячь меня за щитом!

Вслушайся. Вникни. Не позабудь.

У слова свой норов. Свое нутро.

И если ты в эту проникнешь суть –

Слово тебе сотворит добро.

Непросто определить родственную связь, генетически объединяющую в одном ряду слова “целый” и “поцелуй”, “целоваться”. А подоплека близости заключается в том, что первоначальное “цел” значило “здоровый” (“Уходи, покуда цел!” - доводилось слыживать этакое?). Соответственно смысл глагола “целовать” был “приветствовать”, равноценный нашему нынешнему “здороваться”. Целование являлось некогда обыкновенным атрибутом приветствия.

Слово “откровенно”, имея в старину тоже более широкое, чем ныне, значение, тогда гораздо легче обнаруживало связь с родоначальным глаголом “открывать”, как это видно, например, из оды М. В. Ломоносова 1747 года:

Богатство, в оных потаенно.

Наукой будет откровенно...

“В оных” - имеется в виду “в горах и на полях”, то есть на равнине; “откровенно” здесь - открыто.

На исконное словоупотребление наталкиваемся и в очерке Н.С. Лескова “Воительница”.

“Ишь, - говорю, - как живут откровенно, - бери, что хочешь” (реплика по поводу незапертой двери).

Интересно, что и другое слово того же корня - “покров” имело прежде второй, устаревший в нынешнее время смысл: “покровительство”.: “Будь, создатель, ей покров!” (В.А. Жуковский, “Светлана”); “А там - вдова

стоит в сенях / И горьки слезы проливает, / С грудным младенцем на руках, / Покрова твоего желает... (Г. Р. Державин, “Вельможа).

Слово “утвердить” еще в первобытном его значении употребил С. Т. Аксаков.

“В тени кареты накрыли нам стол, составленный из досок, утвержденных на двух отрубках дерева”.

Здесь “утвержденных” - “поставленных на твердое”, а отнюдь не “санкционированных высшей инстанцией, начальством”. Мы-то с вами, дорогой читатель, утверждаем всяческие договора, приговоры и постановления, а от утверждения досок, бревен и тому подобных низменных предметов ушли, кажется, безвозвратно!

Похоже обстоит дело с понятием “разоблачить”. А вот в историческом романе Валентина Пикуля “Слово и дело” словоупотребление в точности отвечает требованиям описываемой эпохи.

“Показался старейший верховник князь Дмитрий Михайлович Голицын, и Анисим Маслов разоблачал князя от шуб...”.

Между прочим, если старинное “разоблачить” дружило с предлогом “от”, то новейшее предпочтительно избрало “в”: “разоблачить в махинациях”.

Уж какое, казалось бы, сверхсовременное словечко – “подписчик”. Ан существовало оно на Руси еще в те древние времена, когда не только о подписке на печатные издания, но и о самом-то существовании прессы слыхом, как говорится, не слыхали. Тогда, правда, подписчиком называли свидетеля, ставившего свою подпись на официальном документе.

“Противный” в наше время употребляется чаще всего во вторичном значении - “отвратительный, не-

приятный”, хотя связь этого слова с родственными “напротив” и “противостояние” очевидна. Единственное, на что мы еще по старинке отваживаемся, - на живучие канцеляризмы типа “противная сторона”, “в противном случае”. А вот А.С. Пушкин использовал это прилагательное гораздо свободнее, именно в исконном его смысле.

Уже противных скал достиг,

Уже хватается за них...

Уследить за процессом сдвига значений слов от отношений и процессов материальных к явлениям нравственно-социального порядка (формула специалистов-языковедов) затруднительно, но не вовсе невозможно. Об этом свидетельствует, в частности, солидное исследование Ю. С. Сорокина “Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-90-е годы XIX века”, отрывки из которого предлагаем читательскому вниманию.

“Щепетильный. Старое, исходное относительное значение - “Мелочный. Щепетильный товар”. Живое современное качественное значение - “Педантично строгий и корректный в отношении с людьми, в обращении, в выполнении обязанностей и т. п.”. Эволюция совершилась на протяжении второй половины XVIII в. - первой половины XIX в.”.

“Халатный. В слов. 1847 только относительные значения: 1) относящийся к халату. *Халатный пояс*. 2) употребляемый для шитья халатов. *Халатная ткань*”... Однако уже в 30-х гг. в литературной речи *халатный* представлено и переносным значением. Первоначально оно стало выражать значение “небрежный, дружески бесцеремонный””.

Используя терминологию автора, заметим напоследок, что переход того или иного слова от относительного значения к качественному нередко закрепляется при помощи специфических словостроительных средств.

Так, “достучался” подходит к стуку в дверь, а “до-

стукался” годится исключительно в переносном значении “добился”, причем отрицательного характера. В этом случае разность достигается с помощью чередования коренной согласной “к” - “ч”.

Участвуют в этом процессе и приставки. “Сплюнуть”, “сплевывать” демонстрируют значение относительное, а “оплевывать” - качественное. “Отшить” употребимо лишь в метафорическом смысле в отличие от того же глагола с приставками “с”, “по”, “за” (имеется еще жаргонная метафора “пришить” - “убить”, но приставка “при” здесь как качественному значению не причастна).

Возможно, когда-то в далеком прошлом и можно было сказать “отпетая песня”, но сегодня мы непременно произнесем “спетая”, ибо слово “отпетый” приобрело стойкий новый смысл – “неисправимый”, “безнадежный”.

Очень большую роль в преобразовании значений из относительных в качественные играет частица возвратности. Например, “обойти” (лужу; кругом) и “обойтись” (без посторонней помощи, малыми потерями).

Разные элементы могут, впрочем, выступать и в комплекте:

Отвяжись, плохая жизнь,

Привяжись, хорошая!

Нет нужды пояснять, что о привязке (веревкой) здесь речь не идет...

НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ

Случается, что словеса самые, казалось бы, наименее сложные способны обманывать нас жесточайшим образом. Вопросак попадаешь обыкновенно тогда, когда наткнешься на “непонятную понятность” в литературном произведении, принадлежащем глу-

бокой русской старине. А бывает - даже и не столь уж отдаленной от нашего времени давности.

Ну вот, к примеру, - чем не кристально прозрачное для осмысления словечко “водонос”? Разумеется, скажете вы, это человек, который носит воду. Словарь современного языка подтвердит вашу правоту, объяснив это областническое словцо точно так же. Но в древности воду носил водоносец, и доставлял он ее по назначению... в водоносах, то бишь в ведрах. Вот он вам и первый наглядный подвох.

Встретив в старинном фолианте наречие “напрасно”, не спешите истолковать его как “бесполезно, безуспешно”. В действительности значит оно совсем иное - “внезапно”!

Существительное “самовластие” означает в наше время то же, что и “самодержавие”, то есть ничем не ограниченную власть одного лица - царя, короля, императора. Все помнят знаменитые пушкинские строки из стихотворения “К Чаадаеву”.

...И на обломках самовластья

Напишут наши имена.

В древнерусском же языке слово это значило... “свободная воля, свобода”!

К числу новейших слов-хамелеонов можно отнести также наречие “самовольно” - в исконном значении “добровольно”...

Не находили наши далекие предки неприличным обыденное для себя выражение “пошла моча”, равнозначное нашему “пошел дождь”.

О необычайной трансформации во времени еще двух речений, повседневно нами употребляемых в речи, писал языковед Ф. И. Буслаев.

“...Труд, кроме нынешнего значения, употреблялось в смысле бедствия, болезни, страдания; работа же означало не только дело, но и рабство”.

Легче легкого угадывается корень - средоточие смысла - в слове “позор”. Это “зор”, тот же, что и в глаголе “зрить”, то есть “смотреть”. Ясным кажется и то, что понятие прочно связано с фактом совершения человеком неблагоприятного поступка, чаще даже - проступка, а то и прямого преступления против закона и морали. И при этом обязательно наличие полной гласности, обнародования, “выведения на чистую воду”, Слава богу по-прежнему в широком ходу у нас наводящее старинное “выставить на всеобщий позор”!

И вдруг, читая Г. Р. Державина, в оде 1807 года наталкиваемся на нечто несообразное с вышесказанным.

Благодарю, что вновь чудес, красот позор
Открыл мне в жизни толь блаженной.

На читателя-современника подобное откровение действует подобно грому среди ясного неба, “Позор чудес и красот” оказывается за пределами его понимания. Причиной же подвоха остается все то же несоответствие старых и новых значений слова. Здесь “позор” по смыслу: ближе всего к слову “зрелище”.

Выше сказано - несоответствие. Точнее - неполное соответствие, поскольку в числе старинных значений уже имелись и “посмешище”, и “стыд”, и даже “позор” в привычном для нас с вами осмыслении. Да, имелись, но занимали задворки - последние места в смысловой иерархии, в то время как привилегированные первые ряды распределялись между значениями, которые нам и не снились: “зрелище, представление”, “собрание” (!), “образец”.

В самом деле забавно: “затянувшийся позор”, “опоздать на общий (или профсоюзный, партийный) позор”, “позор продолжался до позднего вечера”...

Великолепный образчик смысловой трансфор-

мации находим в книге В. В. Одинцова “Лингвистические парадоксы”.

“Так, прочитав в “Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях” строки:

И царица налетела
 На Чернавку: “Как ты смела
 Обмануть меня? и в чем?..”.
 Та призналась во всем:
 Так и так. Царица злая,
 Ей рогаткой угрожая,
 Положила иль не жить,
 Иль царевну погубить, -

юный читатель вообразит еще, пожалуй, царицу с рогаткой, какими мальчишки стреляют по воробьям и галкам. Царица угрожала вещами гораздо более страшными - каторгой, тюрьмой. Рогаткой в старину назывался железный ошейник с длинными остриями, который надевали на шею заключенным, колодникам”.

Не меньшую загадку для современного читателя представляют собой строки из стихотворения В.А. Жуковского “Певец во стане русских воинов”.

Наш Милорадович, хвала!
 Где он промчался с бранью,
 Там, мнится, смерть сама прошла
 С губительною дланью.

Слова “брань”, “бранный”, “бранить(ся)” - неологизмы какие-нибудь, а достаточно великовозрастные, в чем убеждают перлы народного творчества: “Не брани меня, родная” (песня), “Брань на вороту не виснет”, “Милые бранятся - только тешатся” (пословицы). Ныне они не нуждаются в пояснении. И что же: славный герой Отечественной войны 1812 года генерал Милорадович “промчался” во время сражения с площадной руганью на устах?.. Да ничуть не бывало! Здесь

“брань” - не “ругань”, а “война, битва” в полном соответствии со старинным значением слова. Сегодня то и другое - равноправные насельники нашего словаря. И во многом помогает этому дошедшая по сию пору до нас из глубин веков популярная и всем понятная идиома - “на поле брани”.

К слову сказать, идиомы, то есть устойчивые фразеологические словосочетания, - один из надежных способов продления жизни исчезнувших из широкого речевого обихода старинных словечек. Например слово “зга” - “колокольчик на дуге запряженной в повозку лошади” - нам уже непонятно, но продолжает жить единственно в частом выражении “ни зги не видно” (ничего не видно из-за полной тьмы).

Рота, погоны, приклад, мишень, осечка, орудие... Это термины из лексикона людей военных дней нынешних. Однако каждому, кто пожелал бы понастоящему окунуться в атмосферу быта древней Руси, пришлось бы срочно переучиваться. Наши предки подразумевали под словом “рота” отнюдь не воинское подразделение: так именовалась у них... клятва, присяга. Слово “погоны”, в свою очередь, обозначало не знаки воинского различия, а... поединок, единоборство. “Приклад” обладало несколькими значениями: “образец”, “сходство”, “пример”, “символ”, “иносказание”, “лихва, рост”, - не имеющими решительно ничего общего с тыльной деревянной частью нашей винтовки!

В далекую от нас эпоху бессмыслицей показалось бы выражение “ружье дало осечку”, - ибо осечкой называли некогда обыкновенную ...изгородь (“осечку перелезши” - в одной из грамот 1540 года).

А слово “орудие” лишь в-пятых и в-шестых зна-

чило то же, что мы понимаем под ним сегодня; главное же содержание заключалось в ином: “дело”, “судебное дело”, “работа”, “предмет”. Соответственно уменьшительное “орудьице” значило “дельце”.

Ну а по древней мишени никто не стрелял. Ее ставили, или прикладывали, поскольку смысл слова можно передать как “печать”.

Не меньшие неожиданности подстерегают любознательного читателя старинных книг и в области семейно-родственных отношений. Прозванием “семьянин” наделяли некогда обыкновенного слугу или домочадца; “любовник” не имело амурного смысла, а значило “любимец, друг” или “приверженец”. Что же до слова “супруг”, то оно имело такую уйму разнородных значений, что единственное ходовое у нас понятие среди них попросту терялось, пребывая в глубокой тени: “пара, вместе запрягаемая”, “колесница, запряженная парой лошадей”, “чета, пара” (чего угодно), “муж и жена” (оба два), “муж, супруг”, “супружество”, “сотоварищ”, “спутник”.

Представляете: едете вы в купе вагона сразу с тремя соседями, супругами своими безразличного пола и возраста! Или вот вам переиначенная на старинный лад популярная современная присказка: “Не имей сто рублей, а имей сто любовников”...

Как ни странно покажется, даже нынешний бюрократический быт - не исключение. Подумать только – язва новейшего времени “отписка” существовала, оказывается, еще при царе Горохе! Правда, тогда она представляла собою всего лишь невинную “записку”, если не такой же безобидный “доклад”.

“Явка”, которую пугают иных сограждан правоохранительные наши органы, еще в глубочайшей древности стала “строго обязательной”, потому как была назва-

нием одного из видов пошлости.

“Настольным” наши пращуры именовали не календарик и не массивный чернильный прибор, выставленный пред очами матерого бюрократа-кабинетчика; слово имело неожиданный для нас смысл - “главный”...

С другим бюрократическим бедствием, родной сестрой “отписки”, “волокитой”, но только в ее первозданном облике - можно ознакомиться хотя бы в романе Валентина Пикуля “Слово и дело”. Имеется там примечательная фраза - вполне в духе описываемого исторического периода, когда не были еще изобретены повсеместные ныне стиральные машины,

“Веселые бабы-молодухи из чанов кипящих палками тяжелые волокиты белья таскали”.

Так и захотелось задать читателю риторический вопрос: какая из волокит, бюрократическая либо бельевая, больше вам по нутру?..

В том же историческом романе В. Пикуля встречаемся с несегодняшним употреблением еще одного старинного речения из разряда незнакомых знакомцев.

“...благодарили царицу за “матерное” охранение законного правосудия в государстве”...

На сей раз автор заключил подозрительное словцо в спасительные кавычки, пойдя, так сказать, навстречу не шибко-то догадливому читателю-современнику. А между тем лет этак 250-300 тому назад кавычки оказались бы без надобности. Все и без них прекрасно разбирались, когда следует понимать обсуждаемое речение как эпитет грубого, площадного ругательства, а когда - в том его значении, которое мы определяем сегодня как “материно, материнское”.

А теперь ответьте: ну разве же не современно зву-

чат слова - “поезд”, “подъезд”, “будильник”, “спичка”, “завод”, “бегун”, “потребитель”, “толчея”, “удобрение”, “отрасль”? Но биография любого из них исчисляется столетиями. Слова эти, можно сказать, с преобладающей хронологической бородой! И уже одно это объясняет, почему содержание понятий ничуть не напоминает сегодня первоначальное.

Вот оно, старинное содержание, приводимое в перечне с той же последовательностью: “объезд для сбора податей” (натурально - с использованием транспорта в виде привычных лошадей, а не нынешней железной дороги!); “подать в пользу церковных властей”: в таком подъезде нечего делать влюбленной парочке; “инок в монастыре, обязанный будить в срок почивавшую братию”; “трость, палочка”, каковой дать прикурить можно лишь в переносном малоприятном смысле; “граница, предел”; “беглец” (от души посмейтесь, спортсмены!); “победитель” (на ум почему-то сразу приходит небезызвестный Джек-потрошитель); “мельница”; “украшение”, с которым в отличие от нынешнего на огородных грядках плодородия не создашь; “росток, ветвь”, а фигурально - также “потомок, потомство”.

Для вящего эффекта добавим в этот описок “питание” = “обжорство”, “порядок” = “договор”, “сыр” = “творог”, “похабно” = “неразумно”, “поспешно” = “старательно”, “нагло” = “быстро”, “рыло” = “лопата, кирка”.

Рассуждая о незнакомых знакомцах, уместно будет также принять к сведению историческую справку из книги писателя Льва Успенского “За языком до Киева”.

“Слово “изумленный” в XVIII веке еще значило “спятивший”, “сведенный с ума”: “и после пытки огнем, в изумление пришед, выдал своих сообщ-

ников”. Пушкин употреблял это слово еще и в старом (редко) и в новом (постоянно) значении, т. е. как “чрезвычайно удивленный”.

Действие в романе Валентина Пикуля “Слово и дело” происходит в эпоху более раннюю, чем пушинская – (то было время правления в России Анны Иоанновны), потому и отсутствуют различия.

“Артемий Петрович листанул инструкцию - “Обряд, каково виновный пытается”. Нашел, что надо: “Наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что оной изумленный бывает...”.

Прочел вслух и палачу приказал:

- Употреби сей пункт, пока в изумление не придет...”.

Выходит, наш хвалебный эпитет “изумительный” в старину воспринимался бы как презрительное “спятивший”!

Когда мы встречаем у старинных авторов слово “стряпчий”, то первым вспоминается глагол, милый сердцам всех домохозяек, - “стряпать”, означающий “готовить пищу” (производное от него “стряпуха”). Подспудно ощущается в нем некое пренебрежение. Оттенок этот еще более выходит наружу в родственном слове “стряпня”. Однако кто же такой стряпчий - неужто повар? Оказывается, на Руси так именовали вначале придворное лицо, ведавшее хозяйством (по-нынешнему – завхоза), а в XIX веке - чиновника по судебному надзору. Вот вам и стряпуха!

А разве не забавно, что почетным титулом настоящего писателя было в русской древности... “писарь”, а званием “писатель” удостаивали писца, переписчика и, заодно с ними, также живописца?

Погребом в старину называлось не только подземное хранилище всяческих съестных припасов, но и тем-

ница, тюрьма, а еще - похороны, погребение. Все эти значения стали достоянием истории.

“Пошлый” в те же стародавние времена не имело еще нынешнего однозначно отрицательного смысла: “низкий в нравственном отношении, безвкусно-грубый, лишенный идейных интересов и запросов” - согласно трактовке словаря С.И. Ожегова. Это слово означало прежде “старинный, исконный; прежний, обычный”. Как это случалось нередко, борьба старого и нового значений была достаточно продолжительной. Думается, неплохой иллюстрацией этой двойственности могла бы послужить “Песня Еремушке” Н.А. Некрасова, датированная 1359 годом.

В пошлой лени усыпляющей
 Пошлых жизни мудрецов,
 Будь он проклят, растлевающий
 Пошлый опыт - ум глупцов!

 Будь счастливей! Силу новую
 Благородных юных дней
 В форму старую, готовую
 Необдуманно не лей!

С уверенностью можно сказать, что слово “пошляк” в старину не могло бы войти в лексикон русского человека.

Многие из нас наверняка пребывают в убеждении, будто распространенное в просторечии словечко “работяга” – новейшего происхождения: так простецки с похвалой отзываются о трудолюбивом, старательном работнике. Изумлению не будет предела, если пояснить, что слово “работяг”, существовавшее в речи россиян издревле, имело старинным своим значением нелестную характеристику – “раб”!

В заключение остановимся еще на одном смысловом казусе. А.С.Пушкин, поэма “Братья разбойники”.

Мне дряхлый крик его ужасен...

Что за странность? Мы привыкли применять прилагательное “дряхлый” исключительно для характеристики человека, соотносить его со старческой немощью (“дряхлый старик”), с которой “крик”, кажется, напрямую никак не связан!

Правда, в пушкинской поэме это сказано именно о старце, но навряд ли мы имеем здесь дело с простой метафорой, с переносом немощи человека на его голос. Скорее Пушкин использовал в приведенной строке одно из старинных значений загадочного слова: “угрюмый, печальный”; “медленный, ленивый”; “тяжелый, усталый”. И даже если слово “дряхлый” в пушкинском контексте все-таки метафорично, то метафора вдвойне оправдана, поскольку имеет в своем глубоком тылу такой основательный исторический фундамент.

“СПАСИБО!” - “ПОЖАЛУЙСТА!”

Этикетным междометиям посвящена одна из главок интереснейшей книги “Занимательно о русском языке”, авторами которой являются В.А. Иванова. З.А. Погиха и Д.Э. Розенталь. Вот что они пишут:

“Волшебным словом называют *спасибо*. Но все слова этикета достойны называться этим прекрасным словом. Мы ежедневно встречаемся и прощаемся, обращаемся к кому-нибудь с просьбой, благодарим за труд, за любезность, извиняемся, если допустили какую-нибудь оплошность - и во всех этих ситуациях нашими неизменными спутниками

выступают эти слова.

...Первоначальный благородный смысл некоторых этикетных слов уже утрачен или утрачивается, поэтому, обращаясь к этим словам, поэты напоминают нам их скрытую, внутреннюю форму”.

И далее авторы книги приводят стихотворение поэтессы Н. Веселовской.

В небытие теперь уходит часто
Извечный смысл давно знакомых слов:
Всегда ли мы, роняя слово “Здравствуй”,
И впрямь хотим, чтоб кто-то был здоров?

Всегда ли помним, что самой любовью
Был побуждаем в древности народ,
Желая высшей благости - здоровья –
Всем, с кем судьба когда-нибудь сведет...

Слова с рожденья ждет жестокий выбор,
Не всякий возглас в речи выжить мог.
Но вот звучит во все века “спасибо” –
Спаси, мол, брат, тебя за это бог!

И также срок нам видится немалый
С тех пор, как просьба в речи принята:
Мы говорим по-прежнему “пожалуй”
С частицей величальной “ста”...

Касаются веков сквозные грани,
И снова в нас преемственность жива.
И из старинных лучших пожеланий
Кроются наши русские слова.

Происхождение этикетных слов “здравствуй” и “спасибо” разъясняется в стихотворном тексте исчерпывающе. Что же касается величальной частицы “ста” в слове “пожалуйста”, то она стала

результатом сокращения от “старый, старина”, которое ныне, конечно же, так не воспринимается...

Но не только этикетные слова, а и очень многие иные представляют собой немалую загадку для современного россиянина. О таких речениях с потаённым смыслом хочется сказать поэтическими строками М. Ю. Лермонтова.

Как в гробе, зарыто былое

На дне этих звуков святых...

Один из таких гробов - прилагательное “выс-пренный”. Оно, правда, числится устаревшим и чаще находит себе замену в нашей речи синонимом “высокопарный”. Второе слово пары разгадывается без особого труда: “высоко парящий”. А вот узнать, что зарыто на дне святых звуков первого, невозможно без помощи специальных (этимологических) словарей. Словари же трактуют: старинное, исчезнувшее из языка речение “выспрь” значило “вверху”: погибнув в языковых катакомбах (выражение поэта Игоря Северянина: “Очарованный странник катакомб языка”), оно тем не менее продолжило свое существование в более счастливом потомке.

Так же и выпавшее из речевого обихода старинное “стремь” (“вниз”) в свою очередь оставило потомство, причем более многочисленное: “стремиться”, “стремительно”, “стремглав”, “стремнина”, “целеустремленно” и “центростремительный”.

О старении слов - явлении сколь грустном, столь же и неизбежном - писал в книге “Слово о словах” писатель Лев Успенский.

“Однако бывает и так, что в общенародном языке от какого-то старого слова остаются и живут только его ближайшие родичи, производные слова разных степеней. А само оно исчезает. Иначе говоря, только корень того древнего слова суще-

ствуется теперь в письменной и устной речи всего народа.

Исчезнувшее слово тогда языковеду приходится восстанавливать по его следам, по кусочкам и остаткам; так ученый палеонтолог по позвонку, по куску челюсти, по отпечатку лапы восстанавливает облик животного, жившего миллионы лет назад”.

Ископаемые слова помогают нам глубже вдумываться в природу слов современного языка, а нередко и учат более правильному их употреблению в нашей речи.

Специальные этимологические словари помогают раскрывать множество непонятных нашему современнику родословий. Например, наречие и предлог “между” оказывается родичем куда более вразумительного существительного “межа”, первоначальное значение которого - “середина”.

Загадочное “испокон” (в употребительном выражении “испокон веков”), разъясняемое как “издавна, искони”, находится в прямом родстве с древнерусским оловом “покон” - “начало”.

Такое же невразумительное для нас наречие “исподволь” происходит от “довольно” (начальная форма - “исподоволь”); глагол “брезжить” - от “брезг” (“рассвет”); “невзначай” - от “не”, “вз” и “на-чаять(ся)” (“ожидать”); “наобум” - из “на+об+ум”; в слове “настежь” задействовано старинное “стежер” - “дверная петля”, в наречии “опять” - “пята”; “обиняком” - от глагола “обинуться”, означавшего “говорить иносказательно”, а еще прежде - “уклоняться”, “бояться, опасаться”; “начеку” - от утраченного “чек” - “стража, ожидание”.

Наречие “зря” (“напрасно”) развилось из глагола “зрить” и значило по первости “праздно смотря”. Бытовало в древние времена и другое речение с тем же смыслом - “суе”: оно сохранилось в словосложениях “суеверный”, “суесловие”, а также в редко употребляемом ныне

наречии “всеу”. Еще один древний синоним - “втуне”. Он оставил след в словосложении “туняедец”, смысловое содержание которого с пафосом использовал в романе М. Алданова “Ключ” один из персонажей - адвокат Кременецкий, когда готовил очередную речь в суде.

“Так и при первом знакомстве с делом Загряцкого образы у Семена Исидоровича наметились сами собой и мгновенно облеклись в надлежащую словесную форму.

Загряцкий был “выходец из отжившего класса, человек, ушибленный жизнью, однако не лишенный благородных зачатков, слабый, безвольный, бесхарактерный туняедец - да, если угодно, туняедец, господа присяжные, в самом буквальном смысле этого старого прекрасного слова нашего, человек, втуне вкушающий хлеб, втуне коротающий никому не нужные дни, человек, втуне живущий, не знающий цели жизни, чуждый ее высшим запросам”...

Как вы наверняка уже заметили, особенно много древних окаменелостей среди наречий и служебных слов. Скромный разделительный союз “либо” порожден... любовью! Именно так, ибо изначальная его форма была “любо” - “нравится, хорошо, угодно”. Нынешние наши сочетания этого союза с местоимениями и наречиями имели некогда соответствующий вид: “кто любо”, “где любо”, “колико любо”...

Целое гнездо слов - “чересчур”, “чураться”, “чурбан” и “чурка” - при всей их смысловой разнородности объединено одним корнем “чур”, обозначавшим в древности и “граница, край”, и “кол, отмечающий эту границу”, и собственное имя, породившее в глубокой древности глагол “чурати” - “взывать к Чуру”. Об этой любопытной связи красочно поведал Валентин Иванов в историческом романе “Русь Великая”.

“- Чур, чур меня! - оказал Симон, едва сдержавшись от крика.

... - Это что же, капище языческое? - спросил Симон.

- А как хочешь понимай, - ответил ему невысокий человек в войлочной шапке, который прятался где-то за чудовищами. Идя навстречу гостям, он, скинув шапку, поклонился и, будто ведя давно начатый разговор, продолжал: - Ты Чура позвал себе на подмогу, подивившись моим дивам. Зачурался. Чур - по-древнему значит граница, рубеж, а заодно и божок-охранитель”.

И как тут не сказать вновь словами М. Ю. Лермонтова:

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная.
Святая прелесть в них...

Разбирая “забытых слов созвучные узоры” (выражение поэта Константина Бальмонта), мы не только познаем сокровенные тайны родной речи, но и постигаем быт, философию, нравы и обычаи наших далеких предков.

Давным-давно исчезло деление общества на бояр и холопов, а зародившиеся во времена оны слова-памятники “отбояриваться” и “холопствовать”, напоминая о прошлом страны, продолжают жить в нашей речи, обогащенные осовремененным содержанием: “уклоняться, отделяваться” и “раболепствовать, подхалимничать, угодничать”.

Часто употребляемое нами словцо “подноготная” (“истина, тщательно скрываемая”) - откуда оно взялось? И при чем тут ногти, не грязь же под ногтями у неаккуратного мужичка породила столь существенное понятие?

Развернутый ответ на эти вопросы дал известный дореволюционный беллетрист и этнограф С. В. Максимов,

“...Осталась, между прочим, в народной памяти – “подноготная”, та пытка, которою добывалась на суде... никому не ведомая и от всех скрытая правда, заветная и задушевная людская тайна. В старину думали, что она, несомненно, явится во всей наготе и простоте, когда палач начнет забивать под ногти на руках и ногах железные гвозди или деревянные клинушки...”.

Чтобы понять происхождение другого слова из нашего лексикона - “опростоволоситься”, - мало проку разложить его на составные “простой” и “волосы”. Надо еще знать, что в старину считалось великим позором для замужней женщины появляться на людях простоволосой.

Вспомним лермонтовскую “Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”. Там ведь поводом к смертному кулачному бою между Кирибеевичем и Калашниковым послужило то, что первый “опростоволосил” жену последнего, Алену Дмитриевну.

Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась,
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок - твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил меня, осрамил меня,
Меня честную, непорочную –
И что скажут злые соседуски?
И кому на глаза покажусь теперь?...

Давно уже ходить с непокрытой головой перестало быть зазорным, а глагол “опростоволоситься” в значении “допустить грубый промах”, “сесть в

лужу” прочно обосновался в нашем словаре.

И подобных примеров можно было бы приводить великое множество!

В числе выдающихся заслуг русского лингвиста Ф.И. Буслаева как раз и был комплексный подход к изучению языка, о чем с пафосом высказывался виднейший отечественный историк В.О. Ключевский.

“И прежде всего мы обязаны Буслаеву тем, что он растолковал нам значение языка как исторического источника. Теперь это значение так понятно и общеизвестно; но тогда оно усвоилось с некоторым трудом и не мной одним. Живо помню впечатление, произведенное на меня чтением статьи “Эпическая поэзия”. Это было в 1860 или 1861 году. Заглавие вызвало во мне привычные школьные представления об эпосе, Магабхарате, Илиаде, Одиссее, о русских богатырских былинах. Читаю и нахожу нечто совсем другое. Вместо героических подвигов и мифических приключений я прочитал в статье лексикографический разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде *думать*, *говорить*, *делать* сложную сеть первичных житейских впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных представлений о божестве, мире и человеке, какие отложились от этих впечатлений”.

Завершим эту главу поэтическими строками Валерия Брюсова.

Созвучья слова не случайны!
Пусть связь речений далека,
В ней неразгаданные тайны
Всегда живого языка.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Если рискнуть рассматривать слово как нерасторжимую слитность внутреннего содержания с

его внешностью, буквенно-звуковой оболочкой, то наш лексикон предстанет огромным братским кладбищем. Ибо в натуральные покойники придется тогда зачислить массу речений, которые, лицемерно сохраняя в целости и сохранности былой облик, втихомолку изменили между тем собственной первобытной природе. В действительности же слово сплошь и рядом оказывается несравнимо долговечнее выражаемого им на какой-то исторический момент понятия.

Так, главным содержанием древнего многозначного речения “живот” было “жизнь”. Слово сохранилось до сего времени, однако что же с ним такое стряслось? Высочайшему прежнему смыслу пришло на смену, извините, вульгарное “брюхо”... И многие древние и старинные слова уцелели в нашем языке дорогой ценою пожертвования своим значением (или одним из них, нередко главным) в пользу какого-либо десятистепенного или привнесенного со стороны.

Другой способ выживания - уход от конкретного, “вещного” смысла в фигуральный, метафорический. Здесь уместно упомянуть уже знакомые по предыдущему изложению словеса “волокита” и “опростоволоситься”.

А что, спрашивается, может быть общего, кроме названия “будильник”, между бодрствующим в ночную пору монахом уединенного монастыря и механическим, а то так даже электронным приборчиком, размеренно тикающим ныне едва ли не в каждой из наших квартир? Да ничего, если не считать, разумеется, чисто функционального совпадения!

Уже и этих немногих примеров довольно, чтобы понять: спасаясь от гибели, слова выкарабкиваются из вот-вот могилы всяк по-своему, кто как сумеет. Но, каковы бы ни были обстоятельства, сопровождающие подобную реанимацию, сейчас нам

важнее уяснить для себя вполне отчетливо, что слова способны обретать свою вторую, а подчас и третью-четвертую молодость.

А это означает, что и временные изгои общенародного литературного языка - речения просторечные и областнические - представляют собою немаловажный резерв для его обогащения. Эту истину исповедовал Владимир Иванович Даль, на протяжении многих лет трудясь над созданием своего ставшего знаменитым "Словаря живого великорусского языка". Четвертое издание его словаря содержит, между прочим, без малого 220000 слов в противовес 120 480 в "Словаре современного русского литературного языка". Разница существенная и говорит сама за себя.

Именно указанный лингвистический генофонд испокон поставляет в наш литературный язык новобранцев, отбор которых осуществляют, по определению академика А.А. Шахматова, "два авторитета, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка, - это, во-первых, авторитет самого народа с его безыскусственным словоупотреблением, во-вторых, авторитет писателей...". Ту же мысль выдающийся лингвист высказал более пространно: "Наука никак не может предписать, сколько и что может и должно войти в язык письменный из областных наречий: русское чутье всякого оценит по достоинству каждый провинциализм, а гениальный писатель может внести в письменный язык со всех сторон нашего отечества столько выражений, что мы и представить не можем".

Примечательно, что великий научный подвиг первопроходца В. И. Даля вдохновил и нашего современника, писателя А. И. Солженицына на многолетний и многотрудный почин по созданию небывалого еще "русского словаря языкового расширения".

Обработкой далевского словаря А. И. Солженицын занимался, по собственному признанию, с 1947 года, не оставляя этого благодарного занятия в лагере для заключенных. В “Объяснении”, предпосланном вышедшему в издательстве “Наука” словарю, сам составитель так сформулировал свои цели и задачи:

“Вся эта работа в целом помогла мне воссоздать в себе ощущение глубины и широты русского языка, которые я предчувствовал, но был лишен их по своему южному рождению, городской юности, - и которые, как я все острее понимал, мы все незаслуженно отбросили по поспешности нашего века, по небрежности словоупотребления и по холостяцкому советскому обычаю. Однако в книгах своих я мог уместно использовать разве только пятисотую часть найденного. И мне захотелось как-то еще восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему - особенно для тех молодых людей, в ком сильна жажда к свежести родного языка, а насытить ее - у них нет того многолетнего простора, который использовал я. И вообще для всех, кто в нашу эпоху отеснен от корней языка затертостью сегодняшней письменной речи. Так зародилась мысль составить “Словарь языкового расширения” или “Живое в нашем языке” /.../. С 1975 года я для этой цели заново стал прорабатывать словарь Даля, привлекая к нему и словный запас других русских авторов, прошлого века и современных (желающие могут еще многое найти у них, и словарь значительно обогатится); также исторические выражения, сохраняющие свежесть, и слышанное мною самим в разных местах - но не из штампов советского времени, а из коренной струи языка.

...Тут подобраны слова, никак не заслуживающие преждевременно смерти, еще вполне гибкие, таящие в себе богатое движение - а между тем почти целиком заброшенные”.

Чтобы дать читателю представление о содержании 272- страничного словаря, приведем здесь лишь выборочные примеры с некоторыми авторскими пояснениями.

Бережоха - скопидомка, хозяйка; блудодей; богачё - собр. богатый люд; братствовать - жить по-братски; дождейка -кадка под водосточной трубой; отдождило; додумчивый – изобретательный, колготать - ворчать, брюзжать; кольевой - сстщ. из кольев, отнщ. к кольям; мухарь - большая муха; мочливый день, погода; молчеватый -малословный; молдодёна - молодая девушка, женщина; отшивырок - откинутая негодная вещь; отыскливый - удачливый в поисках; отчаянник -отчаянный сорванец; охрабрить - придать духу; попутье - общая дорога с кем; попятчик (в деле); равныш кому (ровесник; или по росту), старинничать - усиленно подражать старине; спочатку – сначала.

Прекрасные эти слова при умелом их применении вполне, думается, достойны найти свое место в произведениях художественной литературы и сделаться общенародными.

Подводя итог, вернемся вновь к “Объяснению” Александра Солженицына: “Лучший способ обогащения языка - это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств”.

ХВАТАЕТ ЛИ НАМ СЛОВ В РАЗВОДЕ, НО ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Читая поэтов-классиков, то и дело натыкаешься на отдельные слова, которые хотя и доступны пониманию, но производят впечатление старомодных по форме. Например, у Пушкина “дохнул осенний хлад”, “Мать и сын идут ко граду”. “Дружина пирует у берега”; у Тютчева: “И мертвый в поле стебель колышет”, “Огонь геенский разложила”. В повседневной разговорной речи мы такими странными словами не пользуемся, да и на письме употребляем лишь изредка. Заменителями служат привычные и не вызывающие препинания “холод”, “город”, “берег”, “стебель”, “огонь”.

Формальная разница меж теми и другими - чуточная. Заключается она в том, что первая группа слов демонстрирует так называемое неполногласие, а вторая, напротив, - полногласие. И досталось нам это такое размежевание от времен древнейших, когда бок о бок сосуществовали две различные языковые традиции - чисто русская, простонародная, и старославянская, книжная, которую зачастую и не всегда основательно именуют также церковнославянской.

Старославянский язык был принесен на Русь из Болгарии в конце X века исключительно для церковных целей. Под воздействием живой народной речи он не мог не обрусеть и, скрещенный с русским, превратился в церковнославянский язык, употреблявшийся в качестве основы языка литературного аж вплоть до XVIII столетия.

Оставаясь продолжительное время как бы разведенными супругами, продолжающими по инерции жить тем не менее под одной крышей, две традиции - русская народная и церковнославянская - выполняли каждая свою задачу: одна служила для повсед-

невного живого общения, другая приняла на себя роль унифицированного, объединявшего все области и провинции обширного государства языка церковных служб и книг, а также высокой поэзии и публицистики. Смешение их воспринималось едва ли не как кощунство. Теоретическую базу под такое разделение подвел И. В. Ломоносов, включивший в научный оборот понятие о трех стилях российских речений.

Прежде всего надобно подчеркнуть, что наш великий ученый был высочайшего мнения о родном языке. Вероятно, наиболее выразительным тому свидетельством может служить его посвящение к “Российской грамматике” 1755 года.

“Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. ...Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с богом, французским - с друзьями, немецким - с неприятельми, итальянским - с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. ...Сильное красноречие Цицероново, великолепная Virгилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многообразные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего

точно изобразить не можем, не языку нашему, но недозволено своему в нем искусству приписывать долженствует”.

Не правда ли, великолепен этот дифирамб всесторонне образованного человека, гениального ученого и незаурядного литератора!

Вместе с тем наилучшие качества русского языка Ломоносов ставил в прямую связь с наличием “книг, в прошлые веки писанных”.

“Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия божия. Отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского слова коль высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители”.

Отсюда и учение Ломоносова о трех стилях.

“...российский язык чрез употребление книг церковных по приличности имеет разные степени; высокий, посредственный и низкий. ...От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий”.

Сегодня мы с особенным, пристрастным любопытством воспринимаем группы слов, которые М. В. Ломоносов приводил как образчики трех родов речений: “бог”, “слава”, “рука”, “ныне”, “почитаю”; “отверзаю”, “господень”, “насажденный”, “взываю”; “говорю”, “ручей”, “который”, “пока”, “лишь”. Последний перечень сопровождается знаменательной оговоркой: “Выключаются отсюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях”. Нелишне заметить, что прилагательное “подлый” во времена Ломоносова значило не “бесчестный”, а “низ-

ший”.

Однако же язык народа - сам себе и указ, и господин. Естественные нужды развития превозмогают любые, даже самые авторитетные установления и предписания. Чем далее, тем со все возрастающими настойчивостью и успехом в рафинированную литературную речь вторгались отчаянные волонтеры из двух “худородных” стилей. И уже для критика В. Г. Белинского иерархия словес по Ломоносову представлялась далеким анахронизмом. О ней он поминал с откровенной насмешливостью.

“Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, а фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтоб уничтожить эти австралийские табу в русской литературе”.

Под могучим и смелым талантом знаменитый литературный критик разумел, конечно же, превозносимого им Пушкина. Но, справедливо воздавая своему кумиру по заслугам, Белинский вольно или невольно принизил при этом неопровержимую роль патриарха русской поэзии Г. Р. Державина, который первым начал дерзко и демонстративно нарушать в своем творчестве пресловутые австралийские табу.

Подумать только: освященная предпочтительным вниманием мэтра Ломоносова ода - жанр поэзии высокотожественный, патетический (не чета “подлой” комедии!), предписанный к исполнению исключительно отборным штилем, - и нате вам этакое:

И словом: тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов...

Это цитата из оды “Видение мурзы”. Подобных и еще более хлестких вторжений “презренных слов” в вы-

сокую поэзию у Державина не счесть.

Между прочим, особенность державинской поэтики, допускающей смешение стилей, не ускользнула от зоркого взора современника Белинского - Гоголя, который писал следующее:

“Слог у него крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме него, выразиться так, как выразился он?.. Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов?”.

Автор “Мертвых душ” и “Ревизора” имел здесь в виду стихотворение Державина “Аристиппова баня”, в котором имеются такие противоположные, по Ломоносову, строки:

И смерть, как гостью, ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Воистину уж чего-чего, а смелости поэту Державину было не занимать. В дополнение к предыдущим - еще всего только один пример из оды “На Счастье”.

Стамбулу бороду ерошишь,
На Тавре едешь чехардой;
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы;
А Темзу в фижмы наряжаешь,
Хохол Варшаве раздуваешь,
Коптишь голландцам колбасы.

Не говоря уже о вольной интонации этих строк, что за подбор слов в них: борода, ерошить, чехарда, задать перцу, хохол, колбасы... Камня на камне не осталось от ломоносовского разделения стилей!

Дерзкое начинание Державина успешно продолжил гений Пушкина, и русский литературный язык все более освобождался от наложенных на него тягостных оков. Разведенные некогда супруги нашли наконец в себе достаточно здравого смысла, чтобы исповедовать взаимопонимание, не отравляя себе жизнь встречными упреками, придирками, ревностью и претензиями.

Правда, родимые пятна происхождения оказались необычайно живучими. Порою они дают себя знать поныне. Так, высокостильное “град”, почти не слышимое в живой разговорной речи, тем не менее отнюдь не заказано нам и сегодня. Но слово это требует для себя соответствующего комфортного словесного окружения. Контекст обязан быть патетическим, как, например, во “Вступлении” к поэме Пушкина “Медный всадник”: там слово “град” не только уместно, но даже попросту незаменимо.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...

Но вот уже общеизвестное сооружение для подъема питьевой воды мы поименуем всенепременно и только колодезем (колодцем), никак не кладезем, приберегая последний вариант для особо торжественных случаев (“кладезь ума” и т. п.). Не перепутаем мы и обстоятельств, в которых приличнее произнести “во здравие” или же “на здоровье”. Невозможно без внутреннего сопротивления выговорить “седовласый” о хулигане, бандите, воре, насильнике. В отличие от определения - двойника “седоволосый” “седовласым” вообще называют по преимуществу человека уважаемого, внушающего почтение своими очевидными для всех достоинствами.

Впрочем, процесс повального перемешивания высокого и низкого достиг в наше демократическое время таких степеней, что могут совершаться превращения

самые удивительные.

“Древо”, например, - очевидный выходец из недр высокостильности, а его напарник “дерево” всецело принадлежит стилю низкому, однако в знатное семейство первого непрощено затесалось бытовое и чуть ли даже не специальное словечко “древесина”, которое наверняка заслужило бы у Ломоносова неблагоприятное клеймо “презренное”. С другой стороны, демократичное по природе “дерево” - в форме множественного числа “деревя” (в пику “деревьям”!) - проделало конверсию обратную, будучи воспринимаемо как высокостильное...

При всем при том главнейший вклад в обогащение нашей речи старомодные неполногласные слова-ветераны внесли даже не столько сами по себе, сколько своим активнейшим и плодотворным соучастием в словообразовании.

Благодаря двойственной подпитке мы имеем в своем лексиконе не только “здоровье”, “здороваться”, “здоровый”, но и “здравый”, “здравствовать”, “здравица” и “здравница”.

Семейство полногласных - “дорогой”, “дороговизна”, “дорогуша” и иже с ними - безропотно приняло пополнение в виде неполногласных речений “драгоценный”, “дражайший”.

Со словами “берег”, “побережье”, “береговой”, “набережная” бесскандально уживаются “прибрежный” и “безбрежие”. Наряду со словесами “сторож”, “сторожка”, “сторожевой”, “настороже” и “настороженный” свободное, безвизовое, хождение имеют “страж” (порядка) и “стража” (на страже государственных интересов).

“На чужой спине беремь легко” - гласит народная пословица. Значение слова “беремь” - “связка, охапка, тяжесть”, а форма его выдает чисто русское происхож-

дение. Ныне оно не употребительно, зато в ходу производные “беременеть”, “беременность”. Вытеснивший же “беремя” славянизм “бремя”, получивший подправленный смысл “тяжелая ноша”, используется чаще в переносном значении и является высокостильным. Имеется в нашей речи и как бы компромиссный фразеологизм “разрешиться от бремени”. Примерно в таких же взаимоотношениях пребывают “страна” и “сторона”.

Само слово “хлад” попало в разряд устаревших, но посмотрите, каких полноценных и жизнеспособных оставило по себе потомков в нашем сегодняшнем лексиконе: “хладнокровие” со всеми производными, “прохлада”, “охладить”, “прохладительный”, “охлаждение”, “переохлаждение”, “прохлаждаться”. Чем не солидное прибавление к полногласным “холод”, “холодать”, “холодеть”, “холодить”, “холодность”, “холодильник” и прочим! При этом могут образовываться также пары, создающие возможность предпочтительного выбора: “хладостойкость” и “холодостойкость”. Но тут надлежит держать ухо востро, дабы ненароком не попасть в просак. К примеру, “хладнокровный” говорится исключительно о человеке, обладающем недюжинными выдержкой и терпением, а “холонокровный” - специальный термин, применимый только к живым организмам с холодной, “рыбьей” кровью...

Разницу между словами “гражданин” и “горожанин” можно и вовсе не объяснять ввиду ее полнейшей очевидности. Совсем не одно и то же - “огород” и “ограда”, “волость” и “власть”, “мороз” и “мразь”, “голосить” и “гласить”, “смородина” и “смрад”...

Богатство гнезда слов с двояким корнем “глав” - “голов” определяется как раз смешанным происхождением. С одной стороны - “головной”, “головастик”, “головешка”, “головизна”, “головокружение”, “головомойка”,

“головорез”, “головотяпство”, “поголовно”, “уголовный”; с другой стороны - “главный”, “главарь”, “глава”, “главенствовать”, “главнокомандующий”, “оглавление”, “заглавный”, “обезглавить”, “возглавить”, “во главе”, “во главу” (угла)...

Полногласными и неполногласными могут быть не только корни слов, но также приставки и предлоги. Двойное их гражданство увеличивает простор для разнообразия как ритмического (сравните “чересчур” и “чрезмерно”), так и смыслового рядов (“передавать” и “предавать”).

Итак, теперь становится понятным, почему А. С. Пушкин трактовал родной язык как славяно-русский!

“Как материал словесности, - писал он, - язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайна счастлива”.

О первоначальном разводе двух традиций и последующем их взаимодействии он же высказывался следующим образом:

“Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизилась: и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей”.

Воистину счастливой выдалась судьба нашего литературного языка: ведь далеко не каждому дитяте выпадает на долю возрастая и крепнуть по пословице: “Ласковый теленок двух маток сосет”!

Конечно, плодотворное взаимодействие чисто русской, народной, и старославянской, книжной, языковых традиций развивалось не исключительно на базе полногласия и неполногласия.

Начать с того, что словарный состав русского языка изначально обогатился за счет старославян-

кой лексики. Заимствования в значительной мере состояли из речений, обозначавших отвлеченные понятия, относящиеся к общественно-политической, экономической, этической и религиозной терминологии: “естество” и “сущность”, “бытие” и “единство”, “время” и “государство”, “общество” и “брак”, “благополучие” и “ангел”, “монах”, “икона”...

Взаимодействовали обе традиции и по линии специфических для каждой способов чередования согласных звуков.

В раннем пушкинском стихотворении “Воспоминания в Царском Селе” встречаются непривычные нам сегодня слова “ночь” и “полнощный”: “Навис покров угрюмой ночи”; “Москва в унынии, как степь в полнощной мгле”. Именно этих слов в нашем активном словаре уже нет, но представлены все же обе формы: русская - “ночь”, “полночь”, “ночной” и “ночное” и славянская - “полунощный”, “еженощно”, “всенощная”, а также в выражении “денно и ношно”.

Возьмем для примера две другие группы однокоренных речений, Первая - “мочь” (что есть мочи), “невмочь”, “немочь”, “помочи”, “полномочия”, “правомочность”. Вторая - “мощь” и “мощи”, “мощность”, “немощный”, “беспомощный”, “помощь”, “вспомоществование”. И те и другие - законные насельники нашего словаря, а корневые “ч” и “щ” в них обличают прирожденных русаков либо типичных славян: они словно бы лакмусовые бумажки на родословную.

В такой же мере различаются “ж” и “жд” в словах “невежа” и “невежда”, “вожак” и “вождь”, “рожать”, “роженица”, “уроженец” - и “рождать”, “рождение”, “урожденный”; “одежка” и “одежда”; “надежа” (а от него - “надежность”, “обнадежить”) - и “надежда”. Контрастное сопоставление последней разностильной

словесной пары умело использовал поэт Игорь Григорьев в стихотворении “Письмо любимой”.

Считай, как можешь. Каждому свое.

Ты любишь жить надежно, я - надеждой.

Вот еще красноречивые параллели: “суд” - “суженый” - “осужденный”, “враг” - “вражий” - “враждебный”.

Любопытное исключение содержится в наших словарях, разрешающих говорить и писать равно как “тожество”, “тожественный”, так и “тождество”, “тождественный”...

Славянизмы проникли даже в систему грамматических форм, сложившуюся к нашему времени. Это, например, причастия на -ущ, -ющ, -ащ, -ящ, противопоставляемые исконно русским на -уч, -юч, -ач, -яч.

Нельзя обойти также различительные начальные буквенные сочетания: старославянские ра- и ла- и русские ро- и ло-. Прекрасной иллюстрацией может послужить словесная пара “разница” - “розница”.

Еще одно различие связано с начальными е- либо о-. Русским словам “озеро”, “олень”, “один” соответствовали старославянские “езеро”, “елень”, “един”. Если первые два слова напрочь уступили свое место в нашем словаре русским вариантам и попадают лишь изредка в старинных книгах, то “один” и “един” пользуются в нашей речи абсолютно равными правами. Более того: каждое из слов-двойняшек породило немало количество производных - “одинокый”, “одиночный”, “одиночка”, “одиночество”, с одной стороны, и “единый”, “единство”, “единение”, “единственно”, “единичный”, “единица” - с другой. И это не говоря уже о сонме словосложений с составными “одно” либо “едино”!

Все же наиболее плодотворные последствия для словообразовательных процессов в русском

языке, по всей вероятности, имело включение в них старославянского неполногласия: так полагал выдающийся отечественный языковед Ф. И. Буслаев.

К большому сожалению, многие из нас вкладывают в понятие “просторечие” отрицательный смысл, зачастую путая его к тому же с диалектизмами, уродующими чистый литературный язык. В этой связи чрезвычайно поучительна история борьбы А.С. Пушкина со лжеграмматистами своего времени, противниками живого народного языка. Извиняясь заранее за пространное цитирование, вынужден все же передать слово писателю Алексею Югову, автору замечательного труда “Думы о русском слове”.

“...стан врагов Пушкина (Каченовский, Сенковский, Греч, Булгарин и прочие) с пеной у рта атаковали язык его произведений, в особенности его словарь. “Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык!” - возмущались они. - “Житель Бутырской слободы” (некий ученик Каченовского) приходил в неистовство от просторечия “Руслана и Людмилы”. “Позвольте спросить, - писал он, - если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородой, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться!”.

“Чем же защищался Пушкин? Это очень и очень знаменательно: он защищал свой язык ссылкой на просторечие, на то, что так говорят “простолюдины во многих наших губерниях”. “Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка”, - заключает Пушкин, защищая слова “хлоп”, “молвь” и “топ”. “Слова сии коренные русские”. И далее: “хлоп употребляется в

просторечии вместо хлопанье, как *шип* вместо шипения” (курсив мой. - А. Ю.).

“Отвечая на попреки критиков “Евгения Онегина”, что вместо принятого в книжном языке сравнительного “как” стоит у него “что”. Пушкин пишет: “*Что звук пус-той*” вместо “подобно звуку”, “как звук”. Частица *что* вместо грубого *как* употребляется в песнях и в простонародном нашем наречии, столь чистом, приятном. Крылов употребляет “*что*””. И опять мы видим помету NB, и снова - призыв к литературной молодежи: “NB. Кстати о критиках. Вслушайтесь в простонародные наречия, молодые писатели, - вы в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах...”. Примечательны здесь те эпитеты, которые прилагает Пушкин к “простонародному наречию”: оно у него в высшей степени и чистое, и приятное. Это - вызов. Это - программа!”.

“Слово “просторечие” мы берем в пушкинском, самом положительном и обширном смысле. Просторечие есть явление общенародное. И не следует, как это часто случается в литературных спорах, смешивать его с диалектизмами. Они - явление местное, порою окружное только. А о просторечии языковеды наши единодушно и исстари свидетельствуют, что “в нем сохранилось древнейших и существенных свойств русского языка больше, нежели в современной образованной речи” (Буслаев).

“Полезно вспомнить, что еще в XVIII веке, когда просторечными словами считались слова *вполне, дельно, жадный, удача, кружка, тын, рукавица* и т. д., уже была попытка создать нормативный словарь русского литературного языка. Представляю, какая “херасковщина” утвердилась бы в литературе! Уже Ломоносова, опираясь на эти литературные нормы XVIII века, поносили за то, что он якобы наташил в литературный язык “подлых” слов, что он засоряет-де чистоту общерусской речи свои-

ми “холмогорскими” словами и речениями; обвиняли его в “привычке худого и простонародного языка”.

В заключение этой нашей главы обратимся к вдохновенным оценкам Николая Васильевича Гоголя.

“...Сам необыкновенный язык наш есть тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека, - язык, который сам по себе уже поэт...”.

САМАЯ МОЛОДАЯ БУКВА

Коль скоро логика повествования подвела нас к обстоятельному и безусловно полезному разговору о взаимовлияниях двух языковых традиций, нельзя умолчать и о необычайной, отчасти похожей на детектив, биографии одной из 33 букв русского алфавита.

В который раз (и надо надеяться - никогда не надоест!) перечитаем лирику Пушкина. Одно из самых известных и любимейших его стихотворений “Я помню чудное мгновенье...”.

В томленьи грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Спасибо благодетельнице - рифме! Иначе можно было бы не заметить ту странность, что пере-

кликающееся с “нежный” концевое прилагательное первой строки “безнадежной” не содержит в себе обязательного, по нашему мнению, ё.

Но, может статься, мы имеем дело с непонятным покамест индивидуальным исключением из общего правила, подаренным только этому слову? Наберемся терпения и откроем другое, не менее знаменитое пушкинское стихотворение - “И. И. Пущину”.

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Слова другие - “уединенный” и “занесенный”, - но с тем же изъяном: в произношении отсутствует требуемое ё.

Продолжая придирчивое чтение, отыщем у классика еще немало подобных же отступлений от норм, предписываемых нам грамматикой: “тяжелый” - “оробелой”; “звездах” - “страх”; “раскаленной” - “вселенной”; “заветный” - “искрометный”; “определенной” - “степенный”; “рев” - “гнев”.

Снять наше недоумение может единственно исторический экскурс. Дело в том, что ё - самая молодая буква нашего алфавита. Ее ввел в употребление писатель и историк Н. М. Карамзин, и произошло это знаменательное событие в 1797 году, спустя 62 года после того, как по инициативе Академии наук в отечественный алфавит была благопринята новая буква й, тоже прежде отсутствовавшая. Итак, до нововведения Карамзина ё на письме попросту не существовало!

Но... задорно и повсеместно звучало в живой народной речи!

Коротенькая, но убедительная справка,

почерпнутая из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, издания 1893 года:

“Посредством ё обозначается и вторичное о, развившееся уже на русской почве (XII - XIII вв.) из ударного общеславянского краткого е и ь (ерь), напр. веду - вел (в”ол). Для обозначения этого вторичного о нередко употребляется знак ё (в прошлом веке ю, ю: и то, и сю)”.

Именно теперь мы подошли вплотную к разрешению загадки - отсутствия ё в ряде пушкинских стихов. Ведь высокая поэзия более и долее прочих жанров письменной литературной речи сохраняла связь с исконными для нее старославянизмами всех родов и оттенков. Такова могучая сила традиции, что мы и сегодня интуитивно ощущаем особую торжественность славянского наследия в нашем языке сравнительно с русизмами, словно бы самой природою предназначенными “для повседневного обихода”. Простейший пример. Пара слов “оде́жа” и “одежда”. От первого с легкостью отпочковались бытовое “оде́жка” и снисходительно-пренебрежительное “одежонка”; со вторым такой номер не пройдет, как ни пытайся...

В результате возрастает языковый потенциал. Мы имеем параллельно возвышающееся над нами и всем сущим “небо” - и то утилитарное “нёбо”, которое во рту у каждого. “Вселенная” по объему и ценности содержания несоизмеримо с обозначением “вселённая”, как, безусловно, разнятся своими требованиями к определенному контексту слова “перст” и “напёрсток”, “совершенный” и “совершённый” (смысловые различия сейчас не рассматриваем). И невольно приходит на ум, что знаменитое учение Ломоносова о штилях - не вовсе анахронизм, что оно содержало в себе и идею, которой суждено было долгожительствовать...

Возвратимся к разговору о поэзии. В свете вышесказанного уже не удивит игнорирование ё поэтами предшествующих Пушкину поколений. В творчестве Державина можно выявить целую коллекцию примеров: “течет” - “свет”; “чревом” - “ревом”; “вселенна” - “удивленна”; “век” - “тек”; “зев” - “царев”; “воспел” - “орел”; “побед” - “живет”... При ином отношении к ё стал бы невозможен каламбур, использованный Державиным в стихотворении “Прогулка в Царском Селе”:

За нами вслед летела
Жемчужная струя,
Кристалл шумел от весел;
О, сколько с нею я
В прогулке сей был весел!

Удивляться можно другому – тому, с каким упорством поэты последующих поколений поддерживали старинную традицию. У Лермонтова можно прочитать: “осужденный” - “презренный”, “пораженный” - “униженный”, “намеки” - “человеки”. А в стихотворении “Предсказание” содержатся такие строки:

Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел...

Александр Блок самолично поставил ударение на слове “звездам”, дабы, не дай бог, его не пытались прочесть как “звёздам” (в строке “На лице, обращенном к звездам”). У него же - “облеченных” - “смятенных”, “мест” - “звезд”, “крест” - “звезд”, “нежность” - “безнадежность”.

Любопытно, что произношение с е вместо ё двух избранных слов - “звездный” и “безнадежный” (с их производными) - имеет наиболее протяженную во времени историю. Даже у Сергея Есенина читаем:

Но за мир твой, с выси звездной
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной

Незакатные глаза.

И тут есть над чем призадуматься. Между “звездам” и “звёздам”, “безнадежность” и “безнадёжность” имеется-таки очень тонкое различие, и почему бы не узаконить хотя бы за поэзией право на традиционное прочтение? Увы, наша ревнивая грамматика не всегда выступает в роли всепонимающей и благодушной матери, допускающей параллели “тожество” и “тождество”, “творог” и “творог”, “мурлычет” и “мурлыкает”, “сосенки” и “сосёнки”; она, к сожалению, может представляться и черствой по отношению к пасынкам мачехой.

В списке допущений обнаруживаем также “житьё-бытьё”, “питьё” - “житие”, “бытие”, “питие”; “колотьё” и “колотье”; “далеко” и “далёко”; “дрема” и “дрёма”; “бечевник” и “бечёвник”; “чёт” и “нечет”. Однако же привередливая наша грамматика поразительно упорствует в нежелании даровать двойное гражданство словечку “хребет” - хотя бы для смыслового различения хребта горного и позвоночника и с целью согласия о народным обыновением. Ведь в сказке П. П. Ершова “Конек-горбунок” ё в этом слове совсем не случайно!

И садится на хребёт -

Только задом наперёд.

У нашей самой молодой буквы две специальности. Она призвана обозначать либо гласную о после мягких согласных (“зелёный”) и твердых шипящих (“тяжёлый”), либо сочетание звуков йо (“ёрничать”, “приём”, “пьёт”, “съёмка”). Ё участвует в словоразличении смысловом (“путевой” и “путёвый”) и стилистическом (“тёрн” и “терние”, “терпёж” и “терпение”), а также способствует преобразованию грамматических форм: “ель - ёлка - ёлочка, ёлочный”, “стекло - стёкла”, “беречь - берёг”, “пузырь - пузырёк”... Слов с ё в нашем словаре немало.

Но, открыв почти любую книгу (исключение делается лишь в изданиях для младшего детского возраста), вы лишь изредка встретите литеру с двумя точками по верху. Считается, что е и ё легко, что называется налету, различаются нами при чтении. И только некоторая заминка при первом восприятии (“все выпили” или “все выпили”?) заслужила снисходительное разрешение на постановку двух злосчастных точек. Что тут срабатывает - стремление к экономии? Но ведь в русском алфавите всего-то две буквы обладают постоянными надстрочными орфографическими знаками (ё и й), в то время как многие европейские языки насчитывают их аж до десятка - и ничего, не унывают и не сетуют! А между тем насколько же более прозрачными для быстрого, усталого или чересчур ленивого зрения стали бы наши книжные, журнальные и газетные страницы, если бы обиженные ни за что ни про что две надстрочные точки стояли повсюду, где им положено занимать место по праву. И в первую очередь такого подарка заслуживает отечественная поэзия.

На этом можно было бы и поставить точку, если бы не эпизод в биографии самой молодой буквы, подробнее рассказанный Виктором Чумаковым в “Российской газете” за 21 января 2000 года (“Боевой товарищ алфавит”).

“7 декабря 1942, всего через несколько дней после того, как грохот тяжелых орудий возвестил о начале нашего контрнаступления под Сталинградом, происходит маленькое орфографическое чудо. В номере 341(9112) “Правды” немедленно бросается в глаза то, что она украшена многочисленными буквами Ё. И первым словом в этом замечательном ренессансе стало местоимение её в шапке справа от названия газеты: Рабочие, колхозники, советская интеллигенция! Свято выполняйте свой граждан-

кий долг перед родиной и её доблестными защитниками на фронте! А ниже - постановление о присвоении воинских званий (генералов), подписанное председателем Совета народных комиссаров И. Сталиным и управделами Я. Чадаевым от 6.12.1942, в котором фамилии удостоенных: Ильичёв, Дребедыёв, Киселёв, Королёв, Лобачёв, двое Семёновых, Сычёв и Царёв. На всех полосах этой первой газеты встречаются слова с Ё: молодёжь приводит в порядок, бомбовые удары советских лётчиков, “Возвращённый город”. А щемящее сердце стихотворение Ильи Эренбурга “Русская земля” начиналось строкой:

Мяли танки тёплые хлеба.

Так началось возвращение в печать и в письмо буквы Ё: - скажем улыбаясь, ёфикация русского правописания, к сожалению, сошедшая на нет после смерти Сталина. Сказывают убежденные сединами знатоки, что Верховный Главнокомандующий очень грубо обошелся с управделами Совнаркома Яковом Чадаевым, ибо тот принес на подпись 5 декабря 1942 года постановление, в котором фамилии нескольких доблестных генералов были напечатаны без буквы Ё. Чадаев, конечно же, позаботился, используя кремлевское телефонное право, оповестить кого нужно о желании вождя видеть Ё на письме и в печати.

И процесс пошел, хотя, как хорошо видно по газетам той суровой поры, не без скрипа. Печать была только высокая и требовалось отливать литеры, что делалось в спешке, и потому нередко встречаются очень корявенькие Ё со смещенными то влево, то вправо точечками. Сейчас кое-кто упрекает Сталина за это орфографическое деяние: “В такое тяжелое время не придумал ничего лучшего, чем ввести обязательное употребление Ё”. Но истина в другом - Верховному пришлось в ту пору преодолевать проблемы не только слабой сопротивляемости войск, но и недисциплинированности, расхлябанности,

разгильдяйства.

Нелишне напомнить и то, что в те времена наши военные столкнулись с неприятным сюрпризом: оказалось, что немецкие оперативные карты нашей территории были не только топографически более точными, чем наши, но они были безупречными и топонимически. Уж если Орёл, то Орёл, а если Березовка, то Березовка, что на Украине, а не Берёзовка, которая в Белоруссии. У нас же на картах - полная неразбериха, и, хочешь не хочешь, все это пришлось отлаживать в ходе отступления и огромных потерь населения и территории. А что же мы имеем на наших картах сейчас? Абсолютно то же, что в 1941-м. Орел, Псел, Бехово, Кишенев и т. п. Ну, а “Если завтра война, если завтра в поход...”? Снова, как в 1942-м, на время войны введем обязательное употребление Ё, а война закончится - отменим? Смотришь на современные иноземные карты нашей усеченной с юга территории и видишь на латинице все названия с Ё имеются, например, в таком диковинном написании: Orël, Olenëk. Не правда ли - серьезная демонстрация уважения к фонетике и орфографии языка потенциального противника? А мы?..”.

ЧТО НАМ СТОИТ ... СЛОВО ПОСТРОИТЬ?

Любое мало-мальски уважающее себя строительство начинается с возведения фундамента, ибо хорошо известно, что все воздвигнутое на песке имеет дурное обыкновение досрочно и печально обрушиваться. Такая же картина и в словостроении: важнейшее дело - заполучить добросовестный фундамент, роль которого в данном случае призван играть корень слова - средоточие изначального, пускай даже и весьма расплывчатого общего смысла.

Итак, фундамент налицо. Теперь в ход идут

стройматериалы - кирпич ли, бетон, доски, целостные блоки. А в словостроительном производстве - свои особенные подручные средства. В русском языке одним из таковых - и притом наипростейшим - может служить перенос ударения.

Перечтите, пожалуйста, название этой главы. Изъятое из словесного окружения “стоит” потенциально заключает в себе два различных слова-понятия: одно - от глагола “стоять”, другое - от глагола “стоять”. Как и точки над ё, знак ударения проставляется в нашей письменной речи лишь изредка. Правильно же ориентироваться помогает контекст. Иначе мы бы с вами то и дело попадали в затруднительное, а то и в комическое положение. Сравните, например, такие контрастно-разнородные словесные пары, как “писать” и “писать”; “сволочь” и “сволочь”; “духи” и “духи”; “орган” и “орган”; “лекарство” и “лекарство”; “острота” и “острота”; “мокрота” (слизь) и “мокрота” (сырость).

Когда мы говорим : “свойство” - с ударением на первом слоге, то имеем в виду качество, признак кого-либо или чего-нибудь. “Свойство” с ударным последним слогом - это, как зафиксировано в словаре С. И. Ожегова, “отношение близости между людьми, возникающее не по родству, а из брачного союза” (вспомним: “своjak”, “своjченица”, “своjственники”). Отсюда и несхожесть глагольного управления: “иметь свойство”, “находиться в свойстве”. Два совершенно разных по смыслу слова распознаваемы исключительно по ударению.

Такова же пара “провидение” и “провидение”. Первое - элемент религиозного мироощущения, означает высшее существо либо его проявление в действии; второе - всецело мирское, синоним “предвидения”

На тему словообразующих ударений поэт

Яков Козловский написал для детей целое стихотворение, загадочно озаглавленное : “О словах разнообразных, одинаковых, но разных”.

Мне слово чудно
 Изменить нетрудно:
 Поставим ударение на о -
 Исчезло чудно,
 Родилось чудно.
 Скорей, сестра, на рыб взгляни.
 Попались на крючок они.
 В ведерко руку окуни,
 Не бойся: это окуни.
 Пересохла глина,
 Рассердилась Нина,
 Не мука, а мука.
 Поварам наука.
 Косит косец,
 А зайчишка косит,
 Трусит трусишка,
 А ослик трусит.
 Иголка ходит вверх и вниз,
 Вот листья появились.
 Сосет Алёнушка ирис.
 А вышивает ирис.

“Атлас” и “атлас” (сборник географических карт и шелковая ткань), “замок” и “замок”, “молодец” и “молодец”, “скачки” и “скачки”, “здорово” и “здорово”, “старшинство” (должность, звание старшины) и “старшинство” (первенство возрастное или служебное) - перечень различных по смыслу слов, распознаваемых только по ударению, можно продолжать еще и еще. Непроставленность же ударения нередко порождает путаницу, требующую специального разъяснения, как это сделал М. Ю. Лермонтов в романе “Герой нашего времени”.

“Итак, мы спускались с Гуд-Горы в Чертову Долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, - не тут-то было: название Чертовой Долины происходит от слова “черта”, а не “чорт” (старое написание. - В. К.), ибо здесь когда-то была граница Грузии”.

Перенос ударения - лишь одно из наиболее простых словообразовательных средств. Другое - смягчение согласного звука, конечного в корне слова. Пример: “пена” и “пеня” (напрашивается также “пень”). Здесь срабатывает невидимый на письме “йот”, заложенный в самой конструкции составного звука “я”.

Впрочем, гораздо чаще смягчение корневой согласной перестает быть невидимкой - это в тех случаях, когда за дело берется настоящий профессионал, недаром получивший в грамматике соответствующее прозвище: мягкий знак. Пар одноформенных, но разносмысленных слов с твердой и мягкой конечными согласными не так уж и мало: “мол” и “моль”, “мел” и “мель”, “повет” и “поветь”, “борт” и “борть”, “гран” и “грань”, “занавес” и “занавесь”, “глагол” и “глаголь”... Как словообразователь, мягкий знак может выступать не только в гордом одиночестве, но и тесно сотрудничая со скачущим ударением: “завал” и “заваль”.

Как известно, мягкий знак имеет и другое предназначение - разъединять рядом стоящие звуки. Но, даже становясь разделительным, он способен иногда создавать новое слово: “семя” и “семья”.

Посильное участие в словообразовании может принимать порою и составной звук ё: “падеж” и “падёж”, “крестный” и “крёстный”.

Все это - и перенос ударения, и смягчительные “я”, “ь”, “ё” - средства словообразования, можно сказать, исключительные, из ряда вон выходящие и потому погоды не делающие. Гораздо более

эффективными выглядят на этом фоне чередования согласных звуков (выразительным примером может послужить пара “достучаться” - “достукаться”) и комплекс полногласие - неполногласие, о чем подробно говорилось в главе предшествующей.

От нас откатились бои за кордоны,
 Стекла в заграницы война.
 Трава не хранит, а хоронит патроны –
 Стрельбюга весне на хрена.

В этой строфе из стихотворения Игоря Григорьева “В Егорьев день” рядом поставленные неполногласное “хранит” и полногласное “хоронит” особенно наглядно иллюстрируют смысловое их различие.

В качестве словообразующих средств в русском языке могут выступать также род слова: “коробок” - “коробка”, “глоток” - “глотка”, “округ” - “округа”; множественное число по отношению к единственному: “мощь” - “мощи”, “власть” - “власти”, “лес” - “леса” (строительные), “горизонт” - “горизонты”, “осадок” - “осадки” (атмосферные); даже окончания слов, различающиеся при их склонении в том или ином падеже. Например, мы говорим “шагать в одном строю”, но “при существующем общественном строе”.

Тем не менее основными строительными материалами в русском языке безусловно надлежит признать приставки и суффиксы (иногда к ним присоединяются окончания слов), срабатывающие либо порознь, либо совместно, во взаимодействии. обстоятельный разговор об этих речевых кирпичиках у нас еще впереди, а покамест любопытно будет посмотреть, в какой мере участвуют в словообразовании различные части речи родного языка.

В том, что имя существительное способно порождать другое слово, с иным значением, нет решительно ничего сенсационного: “угол” - “уголок” -

“треугольник”. Оно же свободно становится родоначальником не только существительного, но и глагола (“тушь” - “затушевывать”), прилагательного (“стол” - “настойный” - “столовый”), наречия (“шея” - “взашей”).

Об одном наречии, облик которого не выдает с ходу тайну его происхождения, стоит сказать особо. Это словечко “очень”, ведущее родословную от существительного “око” (глаз). Существовавшая некогда промежуточная форма “очунь” тоже малопонятна и ничего для нас не проясняет. Завеса несколько приоткрывается, если принять в расчет чередование согласных к/ч: название большеглазой рыбы “окунь”, связь которого с “око” более очевидна, - по существу является тезкой слову “очунь”.

Сказанное о существительном в общих чертах относится и к другим знаменательным частям речи. Интересно, что наречия, многие из которых сами происходят от имен прилагательных, в свою очередь могут образовывать последние: “тогда” - “тогдашний”, “здесь” - “здешний”, “столько” - “столькие”, “давеча” - “давешний”, “намедни” - “намеднишний”. Припомним хотя бы строки из “Конька-горбунка” П. П. Ершова.

Мы с Гаврилой толковали

Всю намеднишнюю ночь...

Заслуживают специального упоминания забавные глаголы, порожденные личными местоимениями, - “якать”, “тыкать”, “выкать”.

Существительное “зад”, давшее путевку в жизнь прилагательному “задний” и наречиям “сзади”, “позади”, “задом”, само-то произошло от... скромного предлога “за”: в соединении с древним суффиксом “дь” этот предлог и произвел форму “задь”, означавшую “то, что находится за” чем-либо. Тот же предлог соучаствовал в рождении слова “закадычный”, означающего ныне “задушевный,

искренний, близкий”. Первоначальный же смысл был куда менее благоприличным – “собутыльник” и исходил из словосочетания “залить за кадык”, то есть попросту “напиться водки”.

Другой предлог внес свою лепту в построенные слова “бездна”, составленного из “без” + “дна”.

Вообще сращения одинаковых либо разных частей речи в единое слово - в русском языке не такая уж редкость. Таковы “никчемный”, происходящее от слияния частицы, предлога и местоимения; “осточертеть” - от приставки, числительного и существительного; “потусторонний” - от предлога, местоимения и прилагательного; “неимоверный” - от выражения “не иму веры”, то есть попросту “не верю”; “незабудка” - от “не забуду”, обыгрываемые в популярной песенке.

И тебя я, незабудка,

Не забуду никогда...

Новейшее образование “междусобойчик” вобрало в себя предлог и местоимение. В собрании пословиц и поговорок, составленном В. И. Далем, значится и такой народный афоризм: “Нисенитницу затянул (южное: бестолочь, ни то ни сё)”.

Простенькая, на первый взгляд, частица “неужели” - в действительности сама является итогом древнерусского сращения сразу троих коллег по грамматической классификации: “не”, “уж” и “ли”. Это обстоятельство еще более ясно проглядывается в старинной форме слова - “неужли”. Также и “если” - не что иное, как усеченное бывшее “есть ли”.

Любопытна последовательность, с какою формировалось современное наречие “внезапно”. Вначале старинное “запа” (ожидание) объединилось с отрицательной частицей, представ уже в виде “незапа”. Далее к двойной конструкции присоединилась третья ступень - предлог “въ”, и в результате

возникло старославянское речение “вънезапоу” (существительное поставлено здесь не в именительном, а в винительном падеже). Последнее и послужило основой для древнерусского слова “внезапно”. Примечательно, что у Г. Р. Державина встречаются и “внезапу”, и “незапно”, “незапный”.

Добавим к сказанному, что даже вставное “н”, более всего известное нам по личным местоимениям (“ему” - “нему”, “его” - “него” и т. д.), тоже способствует словоразличению. Можно “обнять” друга, но - отнюдь не “объять”. Зато последнее пригодно в выражении “объять взором” (припомним и прилагательное - “необъятный”). Оба варианта представлены в общеизвестном афоризме Козьмы Пруткова: “Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное!”.

Современный писатель Евгений Носов безбоязненно создает наречия оригинальные, однако по всем правилам вырастающие из вполне ходовых существительных, прилагательных, глаголов: “кольчужно серебрилась”, “тусино покрасневшими босыми ножками”, “толстогубо заулыбались”, “лопоухо”, “пчелино загудевшие этажи”, “птенцово раскрытый рот”, “пушечно”, “засидело потянулся”...

А способны ли быть словотворами обыкновенные междометия? Оказывается, да. Повышенно эмоциональное “ух!” подарило нам глаголы “ухать” и “ухнуть” (вспомним знаменитое бурлацкое “эй, ухнем!”), существительное “ухарь” (в известной песне - “Ехал на ярмарку ухарь-купец...”) и прилагательное “ухарский” наряду с наречием “ухарски”. От междометия, выражающего удивление, испуг или восторг, - “ах!” произошли речения “ахать” и “ахнуть”, “аханье”, “аховый”, “ахоньки”. “Ох” и “ой” выдали на-гора глаголы “охать” и “ойкать”; не забудем также существительные “охи” и “ахи”. “Ау” породило “аукать” (как аукнется, так и откликнется) и “ауканье”, “ну” - “нукать” и “понукать”. Подобного же

происхождения “фукать”, “хмыкать”, “хныкать”. А в рассказах и повестях словолюба Евгения Носова встречаются “погмыкал”, “хнык”, “с кхеком”, “тпрукал”.

В далеком собрании народных пословиц и поговорок нет-нет да и наткнешься на присказку особенного рода - с использованием старинных наименований букв русского алфавита:

Аз да буки, да и конец науки;

Фита да ижица - к ленивому плеть ближится;

Все люди как люди, а мы как мыслете;

Ер да еры упали с горы, ерь да ять - некому поднять.

Названия букв не только становились персонажами поговорок, они порождали также полноценные слова. По поводу глагола “похерить” в этимологическом словаре М. Фасмера сказано следующее:

“Похерить “перечеркнуть, загубить, выключить”. Первоначально семинаристское выражение, от названия буквы х “хер”, сокращение от херувим (см.). Ср. владыка решение консистории с и н и м х е р о м п е р е ч е р к н у л и (Лесков, Соболяне)”.

И действительно, кривой крест, каковым воспринимается зрительно эта буква, легко наводит на мысль о перечеркивании.

Что касается букв фиты “F” и ферта “Ф”, то и их самостоятельная жизнь в нашей разговорной речи различительно связана с самим их начертанием. Так, выражение “стоять фертом”, то есть “руки в боки”, явственно проистекает из конфигурации “подбоченившейся” буквы. Фертом в просторечии называют самодовольного человека, чаще к тому же франта.

А вот фита, по внешнему облику - тот же ферт, но упавший на бок, послужила поводом к возникновению словечка с отрицательным наполнением:

“фетюк” (разиня). Фетюком, как мы знаем из поэмы Н. В. Гоголя “Мертвые души”, имел обыкновение обзывать ближних своих налево и направо грубиян и забияка Ноздрев. Досталось однажды и зятю дебошира:

“Пусть его едет, что в нем проку?” сказал тихо Чичиков Ноздреву.

“А и вправду!” сказал Ноздрев: “смерть не люблю таких растепелей!” и прибавил вслух: “ну, чорт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк!”.

Там же дано авторское примечание: “Фетюк - слово обидное для мужчины, происходит от *F*, буквы, почитаемой неприличною буквою”.

В старину и само слово “фита” имело хождение в народном просторечии. Об этом можно судить по свидетельству В. И. Даля:

“Фита, школярный грамотей, дошлый писака. // Бранн. разиня, баба. // Болотный кулик авдотька”.

Фита произвела на свет и насмешливое слово “фитюлька”, которым принято обозначать предмет малозначимый, несущественный. Непосредственным поводом к тому послужили, вероятно, малочисленность слов с фитой и, соответственно, редкость ее употребления.

Положительно, нет такого разряда слов в русском языке, который не внес бы свою, пусть и небольшую, лепту в словообразование. Не исключение - и имена собственные.

Слова “простофиля”, “фофан”, “фэфёла”. “матрёшка”, “подкузьмить”, “объегорить” происходят от имен Филимон, Феофан, Феофила, Матрена, Кузьма, Егор. Просторечный синоним апоплексического удара - “кондрашка”, - как полагают исследователи, ведет родословную от имени Кондратия Булавина, предводителя крестьянского восстания в XVIII столетии. “Архаровцы” - от фами-

лии московского обер-полицмейстера и губернатора Н.П. Архарова (1742-1814). Разновидность мужской блузы - “толстовка” - обязана своим названием писателю Л. Н. Толстому. В названии настойки - “ерофеич” - увековечено отчество винооторговца. Примеры можно при желании продолжить.

Однако вернемся к тому, с чего начинали. Главнейшим потенциальным резервом словотворения были, есть и будут в русском языке приставки, суффиксы и окончания. Они же в основном определяют и сегодняшнее завидное богатство родной речи.

Интересно, что почти в одних и тех же выражениях об этом с гордостью высказывались в свое время и выдающийся литературный критик, и известный российский поэт.

В. Г. Белинский:

“...русский язык необыкновенно богат для выражения явлений природы... В самом деле, какое богатство для изображения явлений естественной действительности заключается только в глаголах русских, имеющих виды! Плавать, плыть, приплыть, отплыть, заплывать, поплыть, всплыть, наплыть, подплыть, поплавать, поплыть”...

В. А. Брюсов:

“Сила русского глагола в том, что школьные грамматики называют видами. Возьмем четыре глагола одного корня: стать, ставить, стоять, становить. От них при помощи приставок пред, при, за, от и др., флексии возвратности и суффиксов “многочисленности” можно образовать около 300 глаголов... Таковы: статья, ставиться, становиться, встать, вставить, вставать, вставляя, достать, доставить, достоять, доставать, доставлять, достаи-

вать, доставливать, достаться, доставиться, достояться, доставаться, доставляться и т. д.”.

Не случайно то совпадение, что для показа возможностей словообразования избран именно глагол. Однако подобные же многострочные ряды можно составить и из имен существительных и прилагательных. Если принять на вооружение формулу поэта Константина Бальмонта: “мысль - зерно, а слово - стебель”, то как раз приставочно-суффиксальный механизм превращает корень слова - зерно в буйную и ветвистую поросль побегов.

ПАСТЬ РАЗИНУЛА, А ПОТОМ ЗАИНУЛА

Приставка - значит, к чему-то приставляется, вроде веранды или какой другой пристройки к дому. Так оно и есть. А дом в нашем случае - знаменательная часть речи: глагол, существительное, прилагательное, местоимение, наречие.

Приставка - малютка, неказиста с виду, и много ли от нее может быть проку? Казалось бы, в словаре нашем достаточно дельных самостоятельных речений - вот и пользуйся ими в свое удовольствие, бесприставочными, голенькими. “Ходи” как заблагорассудится, “гляди” себе по сторонам, “бери” что понравится, “садись” на скамеечку, коли устал... ан нет, много-то не находишься, не нагладишься, не наберешься и не насидишься - подступит вдруг скука невыносимая. Омертвеет все как-то, обезжизнеет. Утеряются привычные ориентиры, исчезнут направления “от” и “до”, “под” и “над”, провалятся в тартарары темп движения и его продолжительность, не останется меры количества и качества, пропадут в густейшем словесном тумане все начала и все концы...

Без приставок, в особенности глагольных, - как

без рук. Нет, что ни говорите, гениального ума был тот, кто их придумывал. Только вот о том, кем, как и когда придумано, мы ровным счетом ничегошеньки не ведаем, да и ведать не можем.

С приставками жизнь сразу становится намного веселее. В дружбе с ними можно даже на одном словокорне построить вполне осмысленную фразу, например: “Я не собираюсь заниматься разбирательством правильности выбора тобой твоего избранника”. Неуклюже? Занудливо? Что ж, с этим можно в конце концов и смириться... От примера-самоделки перейдем теперь к отечественной классике. Писатель С. Т. Аксаков, “Детские года Багрова-внука”, трогательная сцена прощания малолетки-сына с дорогой и любимой матерью.

“Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в иступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком; “Маменька, воротись!”. Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить; я успел перебежать через двор и выбежать на улицу...”.

Ребенок побежал (начало движения), перебежал (пересек, преодолел определенное замкнутое пространство) и, наконец-таки, выбежал (завершил движение). Ну-с, умные головы, а как бы, интересно, вы сумели преподнести читателю или слушателю эту картину во всей динамике развития, не воспользовавшись снисходительной помощью малявок-приставок?..

Для разнообразия следующий пример пускай будет поэтическим. Стихотворение “Сукин сын”, принадлежащее славному перу Сергея Есенина.

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака.
Что была моей юности друг.

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен.
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть своей близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души,
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню любую.
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
 И, как друга, введу тебя в дом...
 Да, мне нравилась девушка в белом,
 Но теперь я люблю в голубом.

Как ни греховно разъять, по выражению Н.В. Гоголя, этот есенинский шедевр анатомическим ножом, но в интересах дела приходится... В стихотворении добрых три десятка приставок при завидном их разнообразии: вы- и в-, при- и про-, от-, под-, за-, о-, по-, не-, до-, у-, из-, с-, целый вернисаж! Не будь этих маленьких указателей тончайших нюансов - и невозможно даже представить масштабы ущерба, который понесла бы исповедальная есенинская лирика.

В занимательной книге “От двух до пяти” писатель Корней Чуковский привел подборку детских придумок, которые нельзя читать без доброй улыбки.

“Вот еще несколько детских глаголов, записанных мною в разное время. В этих глаголах меня особенно восхищают приставки, виртуозно придающие каждому слову именно тот оттенок экспрессии, какой придает им народ:

- Смотри, как на лужил дождь!
- Ой, какой пузырь я выпузырила!
- Дай мне распакетить пакеты.
- На тебе кочергу, покочергай.
- Собака пасть разинула, а потом зазинула.
- Видишь, как я хорошо приудобился.
- Погоди, я еще не отсонилась.
- Мама сердится, но быстро удобряется.
- Весь мост залошадило.
- На что это ты так углазилась?

Повторяю: замечательны в детских глаголах приставки. Они показывают, как чудесно ощущает ребен-

нок назначение этих маленьких *за, вы, у, на, рас, об* и т. д.

...Все эти приставки придают русской речи столько богатейших оттенков. Чудесная ее выразительность в значительной мере зависит от них”.

Стихийное словотворчество граждан от двух до пяти характерно тем, что загадочным на первый взгляд образом нередко смыкается напрямую со старинным словоупотреблением. “Удобрение” имело некогда не известное ныне значения “украшение”, “успокоение”, “смягчение”, которые задним числом совершенно реабилитируют вольный поиск малолетки-лингвиста, сочинившего формулу “мама... удобряется”. Существовало в прежние времена и неведомое нам теперь словечко “зинуть”, родственное нашим добрым знакомцам “зиять” и “зевать”. Означало это позабытое речение - “раскрыть”. Такой именно старинный смысл позволил А. С. Пушкину употребить в поэме “Граф Нулин” слово “разинуть” применительно не ко рту, как полагалось бы понынешнему, а... к кошачьим когтям.

Разинет когти хитрых лап

И вдруг бедняжку цап-царап...

Александр Солженицын, с его отменным уважительным отношением к так называемым устарелым словам русского языка, не колеблясь употребил и бесприставочную форму этого глагола: “зинуло вдруг ему, что вся неуступчивость ее... - совсем не кокетство, а страх”. Вообще наличие в современном слове приставки автоматически указывает на то, что когда-то оно бытовало в речи и в бесприставочном виде. Отчасти о том может свидетельствовать классическая литература: “И как сердца прекрасные скудели” (В.С. Курочкин); “на вид казистый”, “взрачностью лица” (Н.В. Гоголь); “Мир прежний сякнет” (Валерий Брюсов); “солнца зимнего утешный свет” (Анна Ахматова).

В сказке П.П. Ершова “Конек-горбунок” читаем:

Мы и слыхом не слыхали,

Чтобы лезя похорошеть!

А мы-то при наличии в лексиконе легального “нельзя” слова в бесприставочной форме попросту не мыслим!

Любопытными изысками в этом направлении характерно оригинальное творчество поэта Бориса Слуцкого.

По мелочам везло,

счастливилось, бывало.

Я - интеллигент

тонкокожий и победимый.

Маловато думал я о боге.

Видно, он не надобился мне.

Все это, увы, наводит на грустные размышления. Предав забвению множество выразительных бесприставочных глаголов, не обеднили ли мы тем самым собственную речь без достаточных к тому оснований?..

Наглядный урок, который следовало бы усвоить, памятуя об удивительной ребяческой интуиции, - безбоязненное и вместе с тем достаточно логичное применение приставок *там* или *таких, где* либо *какие* в обиходном разговоре не употребляются. Этому же можно поучиться и на примере народных пословиц и поговорок.

Женитьба есть, а разженитьбы нет.

И надулся, да не отдулся.

Худой поп свенчает - и хорошему не развенчать.

Кой бес вомчал, тот и вымчит.

От нас отшатнулся, а к вам не пришатнулся.

Здесь замечательный эффект создают контраст-

тные пары приставок. По образу и подобию народных поговорок построен один из мини-диалогов в повести Александра Солженицына “Раковый корпус”.

“ - То есть ка-ак?! - почти взревел Русанов.

- Вот та-ак! - отревел ему и Костоглотов”.

Для Солженицына более, чем для сонма нынешних прозаиков, характерны пристальное внимание к приставкам и творческий подход к использованию их в речи не только персонажей, но и авторской. Для примеров не хватило бы многих и многих страниц, упомянем здесь лишь некоторые: “спорхнул со стола” (обычное употребление глагола - в форме “вспорхнул”), “отлежаться и отлизаться”, “доубеждая”, “опрозрачить”, “всё дослышивающими ушами”, “помилело”, “сознакомились” (замена привычного “по” на “со” привносит свежесть восприятия), “отлистул”, “пересоветовался”, “истончалась и стончилась”, “разощурился” (обратное к “сощурился”), “по своей отобщенной тропке”, “отпыхалась от бега и возни” (обратное к “запыхалась”), “обстрадавшийся”, “неошибочно” (осуждение распространенного “безошибочно”)...

Что дает писателю такое словоупотребление?

Примелькавшееся и изрядно стершееся от частого употребления слово начинает жить заново. Оно не только звучит свежо, но и позволяет писателю с помощью экономных средств добиваться максимальной точности передаваемой мысли.

Если же от прозы обратиться к поэзии, то первым приходит на ум Владимир Маяковский. Вот уж в чьем творчестве - настоящий фейерверк нестандартной и впечатляющей приставочности! Открыв почти на любой наугад странице томик его стихотворений и поэм, вы сразу же выделите оригинальнейшие пассажи: “раструбливай”, “испленен”, “за-

нежен”, “изжажданной”, “бесптичь”... А в стихотворении “Блек энд уайт” игра глагольными приставками “в” и “вы” с противоположными значениями помогает созданию выпуклого зрительного образа.

Много
 за жизнь
 повымел Вилли -
 одних пылинок
 целый лес, -
 поэтому
 волос у Вилли
 вылез,
 поэтому
 живот у Вилли
 влез.

Из более близких к нам по времени поэтов сознательным, со тщанием обдумываемым подбором приставок отличался Борис Слуцкий. Снова – лишь несколько характерных примеров.

За привычку летать
 люди платят отвычкою плавать,
 за привычку читать
 люди платят отвычкою слушать...

Я отшивался без трений и прений.
 Вновь пришивался: была не была.

Отпустили, словно в отпуск.
 Пропустили, дали пропуск.
 Допустили, оформили допуск.

И - напишу, точнее - опишу.
 Нет - запишу магнитофонной лентой...

Образно говоря, приставки осчастливливают собою слишком строгие и однотонные по сути сво-

ей словеса, придавая им смысловое, эмоциональное и ритмическое многоцветие. Это хорошо понимали наши предки, что без труда обнаруживается при внимательном знакомстве с пословичным наследством: “Недобранка лучше перебранки”; “Век изжил, всё прожил - горб нажил”; “Тычь, потычь, перетычь, Ильич, притыкай, Фомич”.

Своеобразная игра слов, основанная на смене приставки, придает немало прелести популярной эстрадной песне “Эти глаза напротив”.

Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз...

Чтобы наглядно представить всю обширную гамму тончайших нюансов, которую даруют нам приставки, предложим два ряда слов, родственных глаголам “чувствовать” и “пугать”.

Предчувствовать, сочувствовать, прочувствовать, почувствовать, восчувствовать, расчувствоваться, перечувствовать.

Испугать/ся/, напугать, запугать, припугнуть, попугать, отпугнуть, спугнуть и вспугнуть, распугать, перепугать.

Замечание об ориентировании в пространстве, походя сделанное в начале этой главы, - совсем не преувеличение. Благодаря глагольным приставкам мы действительно обретаем благу возможность воспринимать “от” и “до”, “куда” и “откуда”. Для примера ограничимся одним гнездом - глагола “бегать”: убежать, отбежать, подбежать, прибежать, разбежаться, забегать и забегать, набегать, оббежать, перебежать, избегать и избегать. Это ли не богатство, которым остается только умело пользоваться!

Помимо придания смысловой оттеночности приставки - одни или в братском сотрудничестве с

суффиксами - могут также создавать совсем новые слова с самостоятельными значениями. Да еще в каком обширном ассортименте!

Поделка, подделка, безделка, выделка, проделка, отделка, сделка, заделка, переделка.

Прилив, отлив, отливка, подлива, полив, полива, разлив, розлив, слив, перелив, пролив, залив, налив.

Приложение, предложение, положение, заложение, разложение, уложение, наложение, отложение, сложение, расположение, обложение, возложение, переложение.

При одинаковых корне и общей конструкции слова в этих группах понятийно воспринимаются как полнейшие чужаки одно другому!

Поступок может быть как добрым, благородным, самоотверженным, так и противоправным, злонамеренным. А вот проступок всегда и однозначно оценивается отрицательно.

Одеть можно только человека, а надеть допустимо лишь какой-либо из предметов одеяния - шапку, пальто, пиджак, рубашку, платок или галстук. К сожалению, эти две формы глагола в нашей речевой практике сплошь и рядом употребляются не по назначению.

Между раскрасить и разукрасить велика ли разница? Невелика, но только на слух! Ибо раскрасить значит расписать красками, а разукрасить - наделить какими-то украшениями.

Слова встать и восстать, столь сходные по своему внешнему оформлению, из-за резко разошедшегося к нашему времени смысла воспринимаются ныне, как словно бы и не родственные!

Пример такой же словесной пары можно найти в драме А. С. Пушкина "Борис Годунов". По-

мните: корчма на литовской границе, в ней нашли приют бродяги-монахи Мисаил и Варлаам и Григорий Отрепьев. Монахи заняты винопийством. Варлаам затягивает песню. Григорий держится настороженно и отмалчивается. Подвыпивший монах обращается к нему:

“В а р л а а м (Григорию). Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?”.

Оба глагола - приставочные формы от “тянуть”, однако ничтожно малая звуко-письменная разница меж ними (в одну-то букву “д”!) не соответствует громадной смысловой разности: первый относится к песенному действию, второй - к питию.

Отсюда, между прочим, напрашивается вывод, что к приставкам следует относиться с предельной осторожностью, иначе возможен нежелательный, не предусмотренный говорящим либо пишущим эффект.

Илья Ильф - тот вполне сознательно добивался комизма, когда взял да и подменил в глаголе приставку по- на у- во фразе: “Нужно унизить горный хребет” (“Записные книжки”), - но на то он и писатель-юморист!

Большинство наших приставок - одинарные, но имеются и двойные, и даже тройные, трехсложные: “поприна”, “пообо”... Одни из них равно взаимодействуют с любой частью речи, другие - преимущественно с глаголом, отчего даже и носят официальный титул глагольных. Но всегда надлежит иметь в виду, что каждая из приставок - яркая и своеобразная индивидуальность. У всех своя рабочая специализация; зачастую таковых бывает даже несколько, на радостный для словотворчества выбор. И о каждой без исключения находится что поведать особенного, любопытного и поучительного,

Чем не интересно, например, двуличное поведение нашего не- в различных обстоятельствах его при-

ставочной жизни? Обычно “не” образует слова-антонимы, то есть противопологаемые по смыслу: стоит присоединить эту скептическую приставку к любому слову, как тут же понятие, им обозначаемое, поменяет свой смысловой знак на обратный. “Недруг” - противник “другу”, “несчастье” противопоставляется “счастью”, “невеселый” - отменный синоним “грустного” или “печального”, “тоскливого”, и так далее. Но, присоединяя то же коварное “не” к слову, обзаведшемуся еще прежде приставкой без-, получаем эффект, не вполне укладывающийся в известную формулу “отрицание отрицания”, каковую следовало бы ожидать. “Небесполезный” означает не безоговорочно “полезный”, а лишь “приносящий или могущий принести со временем некоторую пользу”, притом, возможно, и весьма небольшую...

Пикантность возникающего при этакой двуслойности положения усугубляется тем обстоятельством, что в обычном употреблении порознь приставки не- и без- являются как бы конкурентами. За отдельными исключениями соперничающие структуры с той либо с другой – равнозначимы, сравните: “некорыстный” и “бескорыстный”.

Не без своей странности и приставка о-. Она способствует превращению объекта или субъекта в нечто совершенно иное: окаменеть, остолбенеть, осоветь, одурачить. Если понимать эти слова в их прямом, а не в переносном значении, расшифровка окажется презабавной: превратиться в камень, столб, сову, сделать кого-то дурачком...

Красочный рассказ об одной старинной приставке содержится в историческом романе Валентина Иванова “Русь Великая”.

“Еще сеют сурожь. Приставка “су” по-русски означает смесь. Суглинок - смесь глины и песка, в котором больше глины. Супесь -такая же смесь с преобладанием песка. Сурожь - рожь с пшеницей. Рожь

крепче, неприхотливее, ржаная солома выше пшеничной. Поднявшись от смеси семян выше пшеницы, рожь защищает сестру от засушливых ветров, от чрезмерности зноя, и пшеница просит меньше влаги для своей соломы, лучше наливает зерно.

Кто придумал смесь хлебов и слово? Кто скажет? Однако “сурожь” - слово чисто русское. Есть два города, называющиеся Сурожем. Один - в Таврии, на берегу Русского моря, не так далеко от пролива, другой - на Руси”.

И еще о приставках. Звукописьменная разница между “пре-” и “пере” минимальна, но как же далеки одно от другого однокоренные слова “препона” и “перепонка”!

Наконец о неоднозначном восприятии нашим и иностранцев разнообразного обилия в русском языке приставок говорит в авторском вступлении к книге “Путешествие по карте языков мира” профессор А.А. Леонтьев.

“Моя профессия - обучение людей иностранным языкам. Английскому, французскому - русских школьников. Русскому - студентов из США и Италии, Польши и Венгрии, Монголии и Мали, Вьетнама и далекого Мадагаскара.

...А иностранные студенты ломают себе голову над очевидными для нас с вами различиями между прыгать, попрыгать, прыгнуть, допрыгнуть, выпрыгнуть и перепрыгнуть...”.

МЕЛОЧИШКА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕ ПРОЖИТЬ

Мелочишкой, - конечно же, по всамделишной их малости - назвал суффиксы и флексии (то бишь окончания слов) Владимир Маяковский в очень известном стихотворении “Разговор с фининспектором о поэзии”.

Говоря по-вашему,

рифма -
 вексель.
 Учесь через строчку! -
 вот распоряжение.
 И ищешь
 мелочишку суффиксов и флексий
 В пустующей кассе
 склонений
 и спряжений.

Мелочишка мелочишкой, а к суффиксу более всего подходит меткое народное определение: мал золотник, да дорог. И что, интересно, стали бы делать без этойкой необходимейшей мелочишки не только многоуважаемые писатели и поэты, но и все мы - рядовые армии говорящих и пишущих на родном языке! Ведь именно малые сии составляют наряду с приставками основной словостроительный материал: такие разносмысленные слова, как “веник”, “венок”, “венец”, “венчик” – суффиксальные порождения одной основы “вить”...

Нетрудно почувствовать разницу между парами слов “пропавший” и “пропавший”, “небрежность” и “небрежение”, “конник” и “конюх”, “павший” и “падший”, “содержание” и “содержимое”, а ведь они отличаются только суффиксами.

“Пир”, “пиршество”, “пирушка” - речения опять-таки однокоренные. А чем они разнятся? Первое безэмоционально, оно лишь фиксирует понятие “большой, или богатый, обед”, второе дополнительно свидетельствует о размахе пира, его роскошности, с почти обязательным приглашением многих гостей. Третье,

напротив, ужимает масштаб “пира” до размеров сравнительно скромного приятельского застолья.

А теперь познакомимся с обширным семейством, во главе которого по праву старшего числится существительное “стрела”: “стрелка”, “стрелок”, “стрелочник”, “стрельница”, “стрелец”, “застрельщик”, “стрельба”, “стрельбище”, “стрелковый”, “стрелять” (в нескольких значениях), “подстрелить”, “стреляться”, “стреляние”, “выстрел”, “стрелочка”, “стреляный”, “застреленный”, “стреляющий”, “стрелявший”, “постреленок”... Во все эти разнообразие словеса жизнь вдохнула именно суффиксы.

Сам-то Маяковский, как убедительно показывают его стихи, за пресловутой мелочишкой охотился вполне профессионально и на редкость добычливо, В его “Евпатории”, например, - сплошь “евпаторьяки”, “евпаторийцы”, “евпаторьяне”, “евпаторёнки”, а в придачу к ним - “евпаторячьи” и “евпаторство”. В другом стихотворении - “Военно-морская любовь” - в числе действующих лиц фигурируют “миноносица”, “миноносочка”, “миноносица”.

Поэт не останавливается даже перед пересадкой чужих суффиксов от слов-доноров! “Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!” (вместо “мёрзлой”; а невольная ассоциация прихватывает прилагательное “мерзкий”), “сквозь рев стариков злючий”, “мужики-санаторники”, “буржуеныши”, “зверики”, “стихачество”. Иной раз Маяковский отважно принимал на себя ответственность за своевольную ликвидацию общепризнанного суффикса: “Идем запутавшемуся миру на выручу” (вместо “на выручку”), “легкомыслы головенке” (вместо “легкомысленной”). Изобретал сам, где казалось необходимым: “калеки и калекши”, “свисточный спор”, “лошадих”, “парижаками”, “улитье”, “стрелёнка”, “мелким лайцем”. С фамилиями обращался без всяких церемоний: “луначарство”, “Иваново рыльце”, “чемберленьи”, “глава в крученыховском аде” (от фамилии Крученых)...

Набор выразительных “личностных” суффиксов продемонстрировал в одной коротенькой фразе “Мертвых душ” незабвенный Н. В. Гоголь: “Они все говоруны, кутилы, лихачи, народ видный”.

В братском сплочении с приставками суффиксы выстраивают непреодолимый барьер между двумя однокоренными, однако страшно далекими по смыслу понятиями в строфе из песни Владимира Высоцкого.

Здесь не камера - палата,
Здесь не нары, а скамья.
Не подследственный, ребята,
А исследуемый я.

А у Александра Солженицына в повести “Раковый корпус” все те же неприметные и неутомимые работяги-суффиксы создают в крохотном, двустрочном абзаце целую вереницу запоминающихся образов.

“Личная жизнь!.. Как личина какая-то оползающая. Как личинка мёртвая сброшенная”.

Не прочь поиграть и потешиться суффиксальным хороводом и наш отечественный фольклор. В собрании пословиц и поговорок В. И. Даля веселят слух и ласкают взор такие, к примеру, перлы народного словотворчества: перводан, первончики, первинчики, первачики, перванчики, первечики . . .

Надо заметить, что далекие наши предки понимали толк в суффиксах. Недаром же они, дабы не происходило нежелательной путаницы, от пищали-оружия образовали прилагательное “пищальный”, а от пищали-свириели - “пищальский”. Так же и “недельный” значило в старину “неделимый”, “неделеный”, а прилагательным от слова “неделя” (воскресенье) было “недельский”. Наряду с определением “скотский”, обнимавшим оба главных, знакомых и нам значения слова, существовали и раздель-

ные понятия: “скотий” - прилагательное от “скот” в прямом смысле и “скотинный”, “скотинский”, “скотильный”, равно значившие “нечистый, мерзкий”.

Давайте еще раз вместе порадуемся тому, сколь велики бывают различия даже в однокоренных речениях, свершаемые посредством маленьких и скромных трудяг. А для этого сопоставим словесные ряды: “привечать” - “приветствовать”; “смирный” - “смиренный”; “чувствительный” - “чувственный”; “ребяческий” - “ребячливый”; “задок”, “задник” - “задница”; “молочина” - “молодчик” - “молодец”; “верткий” - “вертлявый”; “водный” - “водяной” - “водянистый”; “понятный” - “понятливый”; “согласие” - “соглашательство”; “боровок” - “боровик”.

Доктор филологии А.В. Федоров в предисловии к 6-му изданию книги Льва Успенского “За языком до Киева” пояснял разницу между понятиями “занятный” и “занимательный”.

“Занимательное” - это вовсе не то же, что “легковесное” или просто “занятное”... “Занимательность” - свойство, с помощью которого можно не только заинтересовать, но и увлечь трудным и, казалось бы, “сухим предметом”.

А И.Г. Милославский в книге “Как разобрать и собрать слово” останавливается на разности слов “умник” и “умница”. Первое - “едва ли уместно по отношению к взрослому человеку, интеллект которого мы хотели бы похвалить. В этом случае уместнее слово умница. А слово умник лучше употребить, говоря о детях или, быть может, в шутовском разговоре”.

“Ветренный” мы скажем о погоде или, переносно, о легкомысленном человеке, у которого “ветер в голове”; “ветряной” - о двигателе, использующем силу ветра, “ветряный” - о ветряной оспе, болезни.

А посмотрите, какое разнообразие смысловых значений запечатлено в определениях, созданных благодаря суффиксам на базе одного слова - “масло”: “масляным” может быть насос, пятно на одежде, на воде, еще мы говорим - “масляные краски”; “масленный” – причастие, глагольная форма, подразумевающая действие, производимое с маслом, в переносном же значении допустимы выражения типа “масленные глаза”. “Масленица” (масленная неделя) породило прилагательное “масленичный”; “масличный” с ударением на первом слоге - “дающий масло” (масличные культуры в сельском хозяйстве), а с ударением на втором слоге - производное от “маслина” (оливковое дерево, а также его плод). А имеется еще в нашем словаре и определение “маслянистый” - “жирный”.

Подключение однобуквенного - к сразу же и радикально меняет смысл слов: “булава” - “булавка”, “заслон” - “заслонка”, “клич” - “кличка”, “сума” - “сумка”, “болван” - “болванка”, “лимон” - “лимонка”, “скрип” - “скрипка”, “скоба” - “скобка”, “снос” - “сноска”, “улов” - “уловка”, “выход” - “выходка”, “нажива” - “наживка”.

Суффиксы порождают целые семейные гнезда: “дитя”, “дитятя”, “дитятко”, “дитенок”, “дитё”, “детеныш”, “детка”, “деточка”, “детушка”, “детище”, “детина”, “детинушка”, “детвора”, “детинец”, “детва”, “детишки”, “детство”, “детский”; “дева”, “девушка”, “девица” и “девица”, “девочка”, “девчонка”, “девчурка”, “девчушка”, “девчоночка”, “дивчина”, “девонька”, “деваха”, “девка”, “девственница”, “девичья”, “девичник”, “девичество”, “девчата”, “девичий”, “девический”, “девчачий”, “девчоночий”, “девственный”, “простой”, “простецкий”, “простоватый”, “простак”, “попросту”.

Различия между родственными словами, как мы имели возможность убедиться, могут быть весьма существенными (“советник” и “советчик”, к примеру), но

могут сводиться к тонкой смысловой либо экспрессивной и стилевой оттеночности: “старик” - “старец” - “старина” - “старюка” - “старичина” - “старичок” - “старикан” - “старикашка” - “старикашечка” - “старинушка” - “старичишка” - “перестарок” - “престарелый”; “струсить” - “струхнуть”; “пустяковый” - “пустячный”.

Как и приставки, суффиксы в большей или меньшей степени специализированы. Например, на профессию либо должность человека указывают “ист” (машинист), “арь” (токарь), “чик” (наладчик), “щик” (доменщик, кладовщик), “ник” (печник). Суффикс “к”, довольно разноплановый, можно рассматривать и как “ягодный”, стоит вспомнить чернику, бруснику, костянику, голубику. Не случайно также созвучие специфических обозначений мясо-рыбных продуктов: говядина, телятина, свинина, курятина, осетрина, белужина, лосятина, зайчатина... Суффиксы “ость”, “есть”, “от”, “изн” могут свидетельствовать о свойстве, качестве: “прилежность”, “кривизна”. Характер служебных обязанностей уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов понятен из самих их названий. Стоит лишь оговориться, что уменьшительность отнюдь не непременно соседствует с ласкательностью.

Так, уменьшительные суффиксы нередко участвуют в переводе слов из общего лексикона в разряд специальных, профессиональных. Такие речения обладают обыкновенно правами двойного гражданства, то есть употребительны там и тут. Это “ножка” у стола или гриба, а также у ребенка или у симпатичной вам девушки; “носок”, надеваемый на ногу, и тот, что синонимичен “носику”, который и сам может быть как у ребенка, так и у чайника; “плечики” - “маленькие плечи” и одежда вешалка; “спинка” - у человека, пиджака и дивана; “бровка” тротуара; “ручка” натуральная (от “рука”), а так-

же дверная и та, которую пишат; “бородка” у ключа; “щечки” у стрелкового оружия и многие-много другие.

В книге В.В. Одинцова “Лингвистические парадоксы” наглядно демонстрируются различия между словами общелитературными и специальными.

“Мы можем сказать: Рабочий взял лопату. Ребенку купили лопатку. Лопатка - это маленькая лопата. Но имея в виду медицинский термин, обозначающий широкую треугольную кость в верхней части спины, мы только в шутку можем сказать: У ребенка - лопатка, а у взрослого - лопата. Кулачок, который находится на распределительном валу двигателя, может быть и большим, и маленьким. Но и большой кулачок - все кулачок, а не кулак”.

Вот ведь какое свершается превращение: попадая в разряд терминологических слов, типичный уменьшительно-ласкательный суффикс теряет не только свою ласкательность, но заодно с нею также и уменьшительность, которая становится мнимой, чисто формальной!

Для темы нашего разговора представляют также интерес размышления писателя Алексея Югова, которым он предается в книге “Думы о русском слове”.

“Грамматисты утверждают, что дозволены с суффиксом -ин только относительные (прилагательные. - В. К.) от имен, имеющих значение лица: Катин, мамин. Но народ в своей языковой работе давно опроверг это, свидетельством тому наши фамилии: Бедин, Звездин, Победин, образованные от предметов или понятий, а не от людей; “молниина стрела” - сказано в “Повести о взятии Рязани” о Батые”.

Не смущался, преступая вышеупомянутое грамматическое правило, и Владимир Маяковский, в поэтическом арсенале которого имеются: “лавры звоны”, “не дослушал скрипкиной речи”, “домовых”, “зверьем кри-

ком”, “поэтинога сердца”, “язычы кончики”, “веселье карнавалово”, “цилиндровым глянецем”, “штычыим блеском”.

Любопытное употребление “личного” суффикса находим в знаменитом очерке Н.С. Лескова “Леди Макбет Мценского уезда”: “На шестую весну Катерины Львовнинова замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину”.

По всем правилам, следовало бы говорить и писать “замужества Катерины Львовны”. Однако Лесков добавил к отчеству персонажа дополнительный суффикс “ин”. Причем новоявленное “Львовниного” обрело и новое окончание, в то время как у имени “Катерины” оно осталось прежним. Получился некий разнотык!

Подобное же встречаем в повести современного писателя Юрия Гончарова “Нужный человек”.

“Василий Петрович служил на элеваторе инспектором по качеству, на станции Коренево, до которой от Степан Егорычевой деревни считается двадцать верст”.

Склоняющиеся таким образом отчества попадают в этой повести и далее: “Степан Егорычева дядю”, “Василь Петровичева табака”. Обратите внимание: в отличие от лесковской “Катерины” имена мужские вовсе перестают склоняться - “Степан”, “Василь” (усеченное для удобопроизносимости “Василий”).

Нужно иметь очень чуткое ухо, чтобы не ошибиться, преобразовывая слова с помощью суффиксов. У Ильи Ильфа в его “Записных книжках” задействована находка, достойная писателя юмористического жанра: “выдвиженщина”. Слово образовано от популярного некогда “выдвиженец” (в моем Пскове так был назван даже завод!) - как ори-

гинальный дубликат к полноправному “выдвиженка”. Комизм же новообразования заключается в том, что суффикс “щин” в сочетании с предшествующим слогом дал неожиданный гибрид, имеющий собственный смысл, - “женщина”!

“Грибник” - слово, имеющее все права гражданства. Захоти мы трансформировать его применительно к женщине, напрашивается суффикс –ица, только несколько укороченный по понятной причине (образчики - “рукодельница”, “мастерица”). Но слово “грибница” уже имеется в нашем словаре - и с совершенно иным, специальным значением. А это значит, что наша попытка обречена на неудачу...

Суффикс! Право же, я люблю тебя. Именно в тебе, а не в пресловутых словесных искажениях по неграмотности заключена истинная народность, самая суть пристрастного отношения народа к своему языку. *Крошево, мешанина, поветрие...* Никогда не поверю в холодную нейтральность русского суффикса!

Друзья мои, я в суффиксы влюблен.
 Без них слова и чопорны, и узки.
 Сколь очерствел бы вдруг язык наш русский,
 Когда бы не был ими наделен!

Скажу - “теплынь” - и негою объят.
 “Пастьба” - простор лугов мне в очи глянет.
 С “березонькою” сердце мягче станет,
 А с “чертовщиною” не друг я и не брат.

Да, в малых сих, чей непобеден вид,
 Многозначительность великая сквозит!
 Да-да, суффиксы - это не только словостроительный материал, они обладают собственной душой, если можно так выразиться. На одном-един-

ственном примере это прекрасно показал поэт Глеб Горбовский в стихотворении “Прелестное слово”.

Не знаю, какая причина
тому, что из многих одно –
крестьянское слово кручина
волнует меня, как вино.

Неужто все дело в напеве,
когда сочинитель земной
кручину по лапушке-деве
сравнил с подколодной змей?

Что было в той музыке - пищей?
Реки сокровенный изгиб?
Застрявшее в соснах кладбище?
Иль ветра осеннего всхлип?

Причина останется песней,
крестьянского сердца мечтой.
А слово с годами - прелестней.
Как месяц над тихой водой.

Кручина, лучина, пучина...
Крушины врачующий куст.
И слово, без явной причины,
летающее в душу из уст!

А теперь вернемся к началу главы, к сентенции Владимира Маяковского в его “Разговоре с фининспектором о поэзии”. “И ищешь мелочишку суффиксов и флексий...”. Ну, с суффиксами мы, кажется, разобрались, а какое отношение к мукам поэтического творчества могут иметь флексии — подневольные указатели грамматических падежей?

Оказывается, в сложном процессе словообразования флексии тоже не всегда выдерживают стро-

гий нейтралитет. Так было еще и в старину, о чем может засвидетельствовать, например, “Словарь древнерусского языка”, составленный усилиями И. И. Срезневского. Именно окончания обеспечивали понятийную разность слов “походь” (выступление на войну) и “похода” (походка); “огородь” (сад, огород) и “огорода” (изгородь, забор).

То же мы видим и сегодня. Можно сказать “в ходе выступления” и “на ходе событий”, однако контекст не позволит замен одного окончания на другое в выражениях “в ходу” и “на ходу”... О разнице слов “образы” и “образа” уже говорилось.

Можно по утрам чистить зубы, но никак не зубья. Напротив, у граблей или бороны - зубья, которые не поддаются замене на зубы. Та же разница в парах слов “суки” и “сучья”, “крюки” и “крючья” (пусть не смущает читателя чередование согласных “к” и “ч”).

Во многих случаях флексии участвуют в словотворительстве на пару с суффиксами, с ударениями, а то и совместно с теми и другими.

Вот еще несколько контрастных примеров слов с окончаниями-словотворами: понятый и понятой, проводы и провода, путёвый и путевой, складный и складной, домовый и домовой, поводы и поводья, учителя и учителя, большой и больший, тока и токи, цвета и цветы, хлеба и хлебы, пропуска и пропуска, меха и мехи, счета и счеты...

Корни - это подземная часть растения. Родительный падеж множественного числа - корней.

Коренья - тоже корни, но лишь - некоторых корнеплодов, употребляемых в пищу, а более всего - лекарственных растений. Родительный падеж множественного числа - кореньев.

Разница между этими двумя словами усугуб-

ляется еще и тем, что первое имеет переносные, метафорические значения, а у второго они начисто отсутствуют.

Печение - процесс выпекания; печенье - название кондитерского изделия.

Еще более капризным поведением отличается слово “колени”, представленное во множественном числе. “Колени” говорится исключительно в применении к ногам человека. “Колена” могут быть у реки, которая резко и круто меняет свое направление; применима эта форма и к родословию человека (“во многих коленах”), а также к пассажирам в птичьей пени, в песне и пляске. Конструкция “коленья” жестко привязана к объектам, имеющим деление на составные звенья (труба, ствол бамбука).

Строгая грамматика не допускает вольного использования каждого из этих вариантов. Однако же поэтам с их метафорическим мышлением позволено многое, и у Владимира Маяковского фиксируем такие строки:

...а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленами выкидывала 44.

А как правильно говорить и писать: “листы” или “листья”? Вопрос незамысловатый, многие ответят на него так, как предписывают правила грамматики. “Листы” годятся к бумаге, книге, всякого рода пластинам: из жести, фанеры и прочим. “Листья” - монополярная принадлежность растений. И что же тут может быть неясного? Но в поэзии классическая традиция пренебрегает таким разделением. “Листья” - “листы” встречаются у очень многих поэтов - как прошлого, так и современных. Для образчика приведем лишь одну строфу из стихотворения Аполлона Майкова.

Не ветер, вея с высоты,

Листов коснулся ночью лунной,
 Моей души коснулась ты –
 Она тревожна, как листы...

БЕЗЕНЧУК-КЛАССИФИКАТОР

Читавшие веселую книгу Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев” не могли не запомнить мрачноватую фигуру гробовых дел мастера Безенчука. По случаю кончины своей тещи к нему в одночасье заявился Ипполит Матвеевич Воробьянинов, и вот какой содержательный случился меж ними разговор.

“- Умерла Клавдия Ивановна, - сообщил заказчик.

- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук. - Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдает...

- То есть как это считается? У кого это считается?

- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: “А наш-то, слышали, дуба дал”.

Потрясенный этой странной классификацией

человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

- Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

- Я - человек маленький. Скажут: “Гигнулся Безенчук”. А больше ничего не скажут. - И строго добавил:

- Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у меня комплекция маленькая ...”.

Обратите внимание на то, сколько в этом небольшом отрывке разноплановых синонимических слов и выражений: умереть, преставиться, отдать богу душу, сыграть в ящик, приказать долго жить, перекинуться, протянуть ноги, дать дуба и, наконец, более редкостное и потому далеко не каждому знакомое - гигнуться.

Однако всей похоронной палитры не исчерпал и сам многопытный Безенчук. Если не делать разницы между литературной речью и грубоватым просторечием и жаргоном, перечень синонимов можно существенно пополнить: опочить, почить в бозе, упокоиться, скончаться, окончить дни свои, отдать концы, окачуриться, откинуть лапти (копыта), скопытиться, загнуться, околеть, подохнуть, уснуть вечным сном, отмучиться, уйти от нас и уйти в мир иной, как у Владимира Маяковского в стихотворении “Сергею Есенину”.

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.

Другой российский поэт - Константин Бальмонт - использовал еще один лаконичный синоним.

Едва Владимир отошел ...

Русский язык издревле богат подобозначиями - так в старину именовались речения, сходные по заключенному в них смыслу. За примерами используемых нами сегодня синонимов далеко ходить не

приходится.

В одну компанию с глаголами “убежать”, “сбежать” просятся односмысленные родственники “удирать” и “дать деру”, “смазать пятки”, “/за/дать стрелкача”, “тикать”, “пускаться наутек”, “смыться”, “улизнуть”, “ускользнуть”, “умотать”, “смотаться”, “отчалить”, “оторваться”, “дать тягу”, “улепетывать”, “взять ноги в руки”, “скрыться (из виду)”, “улетучиться”, “испариться”, “пропасть из глаз”, “с глаз долой”, “исчезнуть”, “провалиться (как сквозь землю)”, а то еще - “задать лататы”...

К глаголу “проглядеть” тесно примыкают “просмотреть”, “прозевать”, “прошляпить”, “проворонить”, “профукать”, “просвистеть”, “сротозейничать”.

Не менее выразительны примеры с именами существительными: “спор”, “прения”, “пререкание”, “препирательство”; “несчастье”, “беда” или “бедствие”, “невзгода”, “напасть”, “поруха”; “радость”, “восторг”, “ликование”; “ложь”, “вранье”, “враки”, “неправда”, “измышление”, “выдумка”, “напраслина”, “навет”, “извет”, “клевета”.

Очень близки по смысловому наполнению имена прилагательные “некрасивый”, “непривлекательный”, “малосимпатичный”, “неказистый”, “невзрачный”, “отвратный”, “безобразный”, “уродливый”, “страховидный”, “страхолодный”; “печальный”, “поникший”, “как в воду опущенный”, “расстроенный”, “понуры”, “грустный”, “тоскливый”, “огорченный”, “подавленный”, “закручинившийся”, “невеселый”, “нерадостный”, “мрачный”, “смурной”.

Большой выбор подобозначий предоставляет мир наречий и наречных выражений: “вдруг”, “неожиданно”, “нежданно-негаданно”, “внезапно”, “скоропостижно” (чаще - о смерти), “скоропалительно”, “как гром среди ясного неба”, “как снег на голову”;

“чересчур”, “слишком”, “с лихвой”, “через край”, “чрезмерно”, “сверх ожиданий”, “наудачу”, “напропалую”, “на авось”, “наугад”. Следующий синонимический ряд побьет, вероятно, все рекорды: “прекрасно”, “превосходно”, “славно”, “здорово”, “отлично”, “божественно”, “неподражаемо”, “чудесно”, “замечательно”, “великолепно”, “потрясающе”, “ошеломляюще”, “восхитительно”, “сказочно”, “волшебно”, “прелестно”, “изумительно”, “блестяще”, “блистательно”, “умунепостижимо”, “ослепительно”, “очаровательно”, “чарующе”, “бесподобно”, “дивно”, “обворожительно”, “сногшибательно”.

В русском языке синонимичными могут быть не только знаменательные части речи, но даже и так называемые служебные слова. В роли противительных союзов, например, вполне взаимозаменяются “а”, “но”, “да”, “однако”, “однако же”, “все же”, “все-таки”, “все ж таки”, “тем не менее”, “при всем (при том)”, “напротив”, “наоборот”, “между тем (как)”, “вопреки тому”.

Равнозначны и соединительные союзы “и”, “да”, “тоже”, “так же и”, “равно как и”. Сравнимую смысловую нагрузку несут в себе слова “итак”, “следовательно”, “поэтому”, “потому и”, “потому как”, “постольку”, “таким образом”, “значит”, “стало быть”, “выходит, что”, “так что”, “отсюда и”.

С одинаковым успехом можно использовать в нашей речи любой из следующих вариантов: “какой-то”, “какой-либо”, “какой-нибудь”, “кое-какой”. На этот раз в качестве синонимов выступают частицы “то”, “либо”, “нибудь” и “кое”.

Не проглядывается также заметных различий в употреблении одного из сходственных предлогов. Допустима взаимозамена выражений “из-за болезни”, “вследствие болезни”, “по причине болезни”, “ввиду болезни”, а при положительном содержании

словесной конструкции - “благодаря (случаю, помощи и т. д.)”.

Полюбуйтесь на разнородные синонимы, плотно заселившие одну-единственную поэтическую строку Бориса Слуцкого.

Зазря, за так, задаром пенсию не дают.

Неисчерпаем резерв синонимов, образуемых посредством отрицательной частицы “не”, нередко переходящей в ранг приставки: “враг” - “неприятель”, “плохой” - “нехороший”. Поэтической иллюстрацией к этому сюжету может послужить двустрочие из популярной песни, исполнявшейся эстрадной певицей Роксаной Бабаян,

Старо, как мир, старо, как мир,

Как мир, не ново...

На лукавом сопоставлении хитроумно подбираемых подобозначий зиждется добродушный юмор некоторых русских народных пословиц.

Кабы знал, так бы ведал.

Где дорога, там и путь.

Что голому, что нагому - не легче.

Что спине, то и хребту.

Не поминай плешивого перед лысым гостем.

Гляди в оба, зри в три.

Не хвали меня в очи, не брани за глаза.

Не пьян, так хмелен.

Что кургузому, что бесхвостому - все одно.

Не бей по голове, колоти по башке.

В последней в ряду пословице (поговорке? при сказке?) - сразу две пары синонимов: “бей” - “коло-ти” и “по голове” - “по башке”.

Нечего и доказывать, что обилие в том или ином языке синонимов одна из важных составляющих общего его богатства. На этом особо останавливается А. А. Брагина в книге “Синонимы в лите-

ратурном языке”.

“Избыточность - это, вредящая языку, или оправданная необходимость? ...Признаком истинного богатства языка рассматривали синонимы и М. В. Ломоносов, и Н. М. Карамзин”. И далее: “Когда говорят о богатстве языка, то обычно как на бесспорное доказательство ссылаются на обилие и разнообразие синонимов”.

А теперь предоставим слово В. Н. Кретовой, автору любопытнейшей статьи “Как называют любимых” в журнале “Русская речь” (№4 за 1978 год).

“Любимый/ая/, возлюбленный/ая/, милый/ая/, дружок, любовь, симпатия, миленький, желанный/ая/, миленок, миленочек, лада, зазноба, милашка, милаша, любезный/ая/, любя, любушка, присуха, милушка, милка, дорогой, ненаглядный, родной, драгоценный, бесценный. Диал. словари и произведения нар. поэтич. творчества, отражающие местную речь, включают также: ухажер, ухажерка, кавалер, залетка, забава, дроля, дусеня, матаня, сударушка.

Нар. поэзия: детка, кровиночка, ягодиночка, малиночка, земляниченка, розочка, незабудка, картиночка, помидоринка, голубенок”.

Исследование групп синонимов на различную их экспрессивность находим в статье Н.И. Хреновой “Словарь синонимов” (“Русская речь”. №4 за 1976 год).

“Синонимы слова бездельник, например, несут в себе яркую экспрессивность и определенную стилистическую окраску: лентяй (разг.), лодырь (разг., пренебр.), лоботряс (прост., презр.), балбес (прост., презр. и бран.), шалопай (разг.), шалопут (прост.). повеса (устар.).... Если бездельник, лентяй, лодырь, лоботряс, балбес, шалопай и в наши дни несут ту же стилистическую окраску, что и раньше, то та-

кие слова, как шалопут, повеса, ограничены в своем употреблении дополнительной стилистической окраской.

Пересечение микро (кроме общего) значений. 1. Бедный (не имеющий средств к существованию, неимущий), нищий (усилит.); 2. Бедный (отличающийся бедностью; характерный для бедняка, бедноты), скудный, нищий (усилит.), нищенский (усилит.), убогий (характеризует крайнюю степень бедности); 3. Бедный (ограниченный в каком-либо отношении), небогатый, скудный, нищий (усилит.), убогий (усилит.). 4. Бедный (в дореволюционной деревне в России; не имевший достаточно средств для ведения собственного хозяйства), маломощный, маломочный (обл.). Слово же бедный в значении человека, оказавшегося в крайне трудном положении и вызывающего сочувствие, сострадание, отнесено в ряд синонимов с определяющим словом бедняка”.

“... достаточно взять такой синонимический ряд, как: плакать, рыдать (сильно и громко плакать), реветь (разг.), выть (разг., усилит.), скулить (прост.), хныкать (разг.), хлюпать (прост.), нюнить (прост., пренебр.), рюмить (прост.) и рюмиться (прост.), лить (или проливать) слезы, обливаться слезами, ревя (или ревом) реветь (прост., усилит.), реветь (или выть) белугой (разг., усилит.), реветь благим матом (разг., усилит.), чтобы увидеть, какое богатство возможностей существует в русском языке для обозначения одного действия в зависимости от стиля и экспрессивной окраски!”.

Подобозначия помогают избежать скучной монотонности нашей речи, расцвечивают ее, делая более яркой и красочной.

Блистательно использовал их в своих произведениях великий писатель Н.В. Гоголь, о чем можно составить четкое представление хотя бы по такому небольшому, всего в один абзац, отрывку из

поэмы “Мертвые души”.

“О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, - он показал, что ему не безызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре - и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком”.

Интересно, что всего лишь несколькими строками ниже читатель гоголевской поэмы встречается с дополнительными синонимами той же группы: “изъяснялся”, “отзывался”, “сказал”...

Автор “Лингвистических парадоксов” В.В. Одинцов передал в своей занимательной книге примечательный рассказ поэта Виктора Бокова.

“Мы подошли с учительницей Полиной к дому бабки Труновой, чтобы поговорить с ее внучкой, не сыграет ли она роль в пьесе. Бабка появилась на крыльце с курицей, браня ее за какую-то оплошность.

- Где Люба? - спросил я.
- По батожья ушла.
- По что?
- Ну, по столбцы.
- По что?
- Ну, по петушки.
- По что? По что?
- По стебени.

- Не понимаю Вас.

- Ах, батюшка, какой ты бестолковый. По щавель!”.

Разве не замечательно - пять слов у этой крестьянки для названия одной вещи, тогда как мы и одного иной раз не знаем”.

Наверняка в областнических говорах, словно в резерватах, сохраняются еще и по сию пору многие старинные синонимические речения. Среди них есть великолепные образчики, но они, увы, в общелитературный язык не вхожи. Остается надежда на писателей, чутких к меткому народному слову.

В давние времена подобозначий было не меньше, если не более. К примеру, для обозначения понятия тяжелого имели хождение синонимы “тяжесть”, “тягость”, “тягота” и “тягета” (однокоренные слова, заслуживающие особого выделения в группу). Последнее слово начисто исчезло из речевого обихода. Второе и третье остались главным образом как составные устойчивых фразеологизмов. В результате монопольным по существу обладателем бывшего некогда общим для четырех вариантов смысла остается “тяжесть”.

Другой пример. Наряду со словом-победителем сегодняшнего дня - “лихорадка” - в старину то же понятие выражали и синонимы “трясавица”, “трясыца”, “лихоманка” и великолепное по экспрессии “врагуша”. В литературную речь они, к сожалению, не вошли.

Много синонимов - это всегда прекрасно. Но любым богатством надобно еще уметь правильно распорядиться. В подобозначиях же заключено, кроме обаяния, еще и некое коварство. К ним в высшей степени подходит хитрущая сентенция, заключенная в иронической народной пословице: “Федот, да не тот”. Имея очень близким один общий смысл, синонимы тем не менее различаются, и порою весьма значительно, не только сти-

листически, мерой экспрессии, но и смысловыми оттенками.

О тонкостях такого рода умудренный своим литературным опытом предупреждал еще автор “Недоросля” - Д. И. Фонвизин.

“Старо то, что давно было ново; старинным называется то, что ведется издавна. Давно то, чему много времени прошло. В настоящем употреблении ветхим называется то, что от старости истлело или обвалилось. Древне то, что происходило в отдаленнейших веках... Старый человек обыкновенно любит вспоминать давние происшествия и рассказывать о старинных обычаях; а если он скуп, то в сундуках его найдешь много ветхого... сих примеров столько ныне, сколько бывало и в древние времена”.

Выходит, “старый”, “старинный”, “давний”, “ветхий” и “древний”, при всей очевидной смысловой родственности, располагают в нашей речи каждое собственной нишей. И бездумный перескок из одной такой ниши в другую категорически исключается.

Еще любопытный пример, взятый из фонвизинского “Опыта российского сословника”:

“Робкий бежит назад, трусливый нейдет вперед; робкий не защищается, трусливый не нападет. Нельзя надеяться ни на сопротивление робкого, ни на помощь трусливого”.

Очень четко эти два синонима разделены у С.Т. Аксакова в такой его фразе: “Я сказал уже, что был робок и даже трусоват...”.

Нет спору, слова “базар” и “рынок” - синонимы. Объединяет их общий смысл - “место розничной торговли”. Потому мы без тени сомнения вправе сказать и “Я пошел на базар”, и “Я пошел на рынок”. Однако уже “книжный базар” и “книжный

рынок” совсем не равнозначны. В первом случае мы подразумеваем распродажу книг в конкретном малом месте; во втором - насыщенность продаваемых книг на обширной территории, вплоть до целой страны. А в выражениях “рыночная экономика”, “рыночные отношения”, “рыночная стоимость” замена на “базарный” категорически недопустима. “Рынок” имеет дополнительные отвлеченные значения, “базар” лишен таковых начисто. И не случайно метафоры, связанные с более приземленным, бытовым словом “базар”, снабжены отнюдь не положительным смыслом: “базарить”, “разбазаривать” (кстати будет припомнить и разводящее спорщиков, не в меру горячих, категорическое “Кончай базар!”).

Столь же глубинные расхождения у пары синонимов “ложь” и “неправда”. Первое категорично, второе подспудно резервирует возможность лжи неполной, частичной или, во всяком случае, непреднамеренной.

Для нас, нередко с высокомерием отворачивающихся от прекрасных старинных слов, представляет интерес рассуждение писателя Алексея Югова о смысловых оттенках наречий “намедни”, “недавно” и “давеча”.

“Знаменательно, что временное наречие “намедни”, наречие общерусское, ввел в литературный язык еще Пушкин. При этом следует отметить, что просторечие “намедни” он применил не где-либо в сказке, а в “Евгении Онегине” (в “Путешествии Онегина”).

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...

Это ведь только кажется иному, что “намедни” с легкостью и полностью заменяется наречием “недавно”. Да, действительно: “намедни” означает “незадолго”, “недавно”, но при условии считать не

часами, а днями. И русский человек, не оторвавшийся от народа, понимает это, как понимал Пушкин. А вот когда в просторечии (также общерусском) произносится “даве”, “давеча”, то здесь разумеют тоже “недавно”, но этого же дня, то есть считая на часы. Такова различительная тонкость народного языка!”.

“Путь” и “дорога” - тоже безусловные синонимы, имеющие совпадающим одно, главное для обоих слов значение. Недаром же испокон живут в нашем лексиконе неразлучные словесные парочки: “пути-дороги” и “путь-дорожка”, - отлично памятные по многим лирические песням. Обе составные в этих словосочетаниях решительно равноправны!

Различие же между двумя понятиями заключается главным образом в большей способности первого к отвлеченности, отстранению от чисто “дорожной” конкретики. “Путь” гораздо чаще, чем “дорога”, может быть разъясняем как “направление”. И не случайно у “пути” больше переносных значений. “Путем” может оказаться, между прочим, наречием со значением “как следует, толком” (“Все идет путем!”) и даже... предлогом в значении “посредством” в такой, например, фразе: “Это доказано путем логических построений”.

“Еще не мало пути и дороги придется им пройти...” – читаем у Н.В. Гоголя, и здесь два слова-побратима уже полностью отъединены одно от другого. А в поэме Игоря Григорьева “Обитель” понятия “путь” и “дороги” уже не просто разводятся по разным нишам, но и едва ли не противопоставлены: “ - Что делать? Путь твоим дорогам!”. То же - в одном из его лирических стихотворений: “Полночь без луны, / Путь мой без дороги”. Ничего себе синонимы!

“Лишь тоска да печаль” - в песне оба понятия синонимичны, как и фольклорное “грусть-тоска”. Примерно в таком же понятийном единстве нахо-

дятся слова “страх” и “ужас”, “стыд” и “срам”. Но единство не перечерчивает тонких смысловых различий, кои в основном замечаются по линии экспрессивности, количественной наполненности. И, надо полагать, поэтому Борис Слуцкий счел допустимым написать такие вот строки.

И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.

У него же противопоставляются по степени возрастания заключенного смысла понятия “бояться” и “страшиться”.

Не боялся, а страшился
этого паяца:
никогда бы не решился
попросту бояться.

Даже абсолютные, казалось бы, двойники - слова “клики” и “крики” - могут быть разделяемы благодаря эмоционально-стилевым различиям, как это сделано Александром Солженицыным в его эпопее “Красное колесо”: “Наконец через клики и крики поднялся долгожданный Керенский”.

Смысловое расстояние между высокостильным “лик” и низкостильным “лицо” понятно каждому без специальных комментариев. Поэтесса Марина Цветаева нашла, однако, изумительную форму для показа этой различительности.

И - двойника нащупавший двойник –
Сквозь легкое лицо проступит - лик.

Синонимия вырастает естественным путем из многозначности слов, которая, кстати сказать, сама по себе тоже свидетельствует о богатстве и развитости языка. Отдельные из многих смысловых от-

тенков могут перекрещиваться, образуя синонимический ряд, причем рядов таких может оказаться два и более. Например в одном из рядов к слову “недалекий” окажется слово “близкий”, а в другом - “тупой, глуповатый, лишенный кругозора”. У одного из поэтов, работающих в жанре сатиры, есть на этот счет показательное двустишие.

Чтобы стать тебе близким,
Надо быть недалеким.

У глагола “чаять” искони два основных значения - “ожидать” и “надеяться”. Это обстоятельство и предопределило расхождение по разным синонимическим рядам производного от этого глагола наречия “нечаянно”.

Когда мы произносим: “Извините, я толкнул вас нечаянно”, то вкладываем смысл “не нарочно, не специально, не преднамеренно”. Иное значение имеет то же слово в общеизвестном песенном отрывке: “Любовь нечаянно нагрянет, / Когда ее совсем не ждешь”. Во втором случае “нечаянно” предстает в значении “неожиданно, внезапно”, ибо немислимо же предположить, чтобы юноша или девушка не чаяли-надеялись на приход хорошей большой любви, не зная лишь одного - когда точно это случится. Да и в заключительном во фразе “не ждешь” удостоверяется именно такое толкование.

Синонимичность может и исчезать с течением времени. Характерный пример - судьба старинных речений “сень”, “тень” и “стень”. Во всех трех существительных имелось некогда перекрещивающееся значение - “тень”. Оно давало себя знать еще и в пушкинское время. В перенасыщенных славянизмами и вообще стариннословием “Воспоминаниях в Царском Селе” находим такое:

И там, где роскошь обитала

В сенистых рощах и садах.

Мы с вами сказали бы, конечно, - “в тенистых”. В первых двух словах первородное значение уцелело по сей день. Одинаково правомерно говорить: “под сенью ив” и “в тени деревьев”. С одной лишь оговоркой: “сень” - принадлежность стиля высокого, торжественного. Третье слово видоизменилось в “стена” и первобытное общее для троицы значение утеряло. Хотя в народных говорах еще употребителен глагол “застить” со значением “заслонять”, близким к “затенять” (вспомним некрасовское “Не засти, Кузяха”). А у русского поэта, творившего на рубеже XVIII-XIX веков, - Г.Р. Державина в стихотворении “Облако” можно прочесть:

Застенивает солнца зрак...

Как видим, синонимы могут умирать. Но могут и рождаться!

Разумеется, таковыми чаще всего становятся создаваемые постоянно новые слова, а также иностранные заимствования, вступающие в органические связи с миром аборигенной лексики. Однако случается, что обретают синонимичность понятия давно в языке существующие.

“Нужно” - “то, в чем испытывается нужда”.

“Необходимо” - в общем то же самое, но в своем первородном, гораздо более конкретном значении - “то, чего невозможно обойти, избежать, уклониться”.

Потому-то и смог Н.В. Гоголь употребить в поэме “Мертвые души” несуразное с нашей нынешней точки зрения выражение “необходимо ей нужно”. А с гоголевских времен первородный конкретный смысл наречия “необходимо” потускнел настолько, что оно превратилось в чистейший синоним слова “нужно”, да еще и успело обрести черты

заправского канцеляризма...

Подобно паре “нужно” - “необходимо” не изначально являются синонимами слова “отлично” и “хорошо”. Первое имело поначалу значение “отлично” - что в хорошую, то и в дурную сторону, все едино. Это видно из фразы, которую мы позаимствовали у С.Т. Аксакова: “кумыс приготовлялся отлично хорошо”.

В том или ином синонимическом ряду каждое из составляющих его слов обладает индивидуальными особенностями, собственным неповторимым “лицом”. Среди подобозначий всегда найдутся более “холодные” - чопорные, бесстрастные, суховато-официальные: их именуют нередко книжными. Имеются “теплые” - привычно-уютные не только на письме, но и в устной речи, вплоть до глубинного просторечия. Для соответствующих же экстраординарных надобностей отыщутся в богатейшем русском словаре и синонимы из категории “горячих”, даже поистине “раскаленных”. Это своеобразная специализация по эмоциональному наполнению, индивидуально требующая особого стилистического контекста. Вот почему следует соблюдать предельную осторожность, выбирая подходящий к случаю синоним пусть даже из очень большого их количества.

Вспомним совместно стихотворение М.Ю. Лермонтова “Нет, не тебя так пылко я люблю...”, на слова которого создан прекрасный романс. Вот последняя строфа этого замечательного стихотворения:

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие.
В устах живых - уста давно немые,
В глазах - огонь угаснувших очей.

Надо хорошо вникнуть в общий смысл стихотворения, чтобы стало как божий день ясно: было бы самым настоящим кощунством поменять местами

высокостильное “очи” с низкостильным и обыденным “глаза”...

Стилевая разнохарактерность рядом поставленных в строку синонимов великолепно просматривается в таком отрывке из стихотворения Игоря Григорьева “Глушь”:

И глядеть, и взирать, и смотреть

С пересохшим улыбчивым ртом.

В этой троице глагол “взирать” - высокопарный книжный, “смотреть” - безразлично-нейтральный, а “глядеть” - общеупотребительный бытовой. Соседство же их в одной строке долженствует подчеркивать всеохватность чувства лирического героя.

Главу о российских подбозначиях уместно будет завершить глубокомысленным высказыванием маститого лингвиста прошлого - Ф.И. Буслаева.

“Смешение синонимов, в употреблении одного на место другого, принадлежит позднему периоду языка, когда живое впечатление уступило место понятию и когда, следовательно, различные точки зрения на предмет, выражаемые синонимами, были подведены под общие понятия о самом предмете. Напр., не обращая внимания на то, что прилаг. прекрасный означает превосходную степень от слова красный (т. е. хороший) и что прилаг. прелестный происходит от гл. прельстить (обмануть), эти речения употребляем мы одно вместо другого на том основании, что подвели их под одно общее понятие о том, что нравится вообще.

Определяя точный смысл каждого синонима, мы не только достигаем точности в уразумении самого понятия, словом выражаемого, но и придаем отвлеченному понятию живость первоначального впечатления”.

Так писал более века назад Ф.И. Буслаев. А

современный поэт Игорь Григорьев достиг упомянутого языковедом эффекта, смело поставив рядом с живым первоначальным впечатлением - кратким прилагательным “точные” - отвлеченное понятие “точно”, равнозначное бесстрастным “как” и “словно”:

Но точны, точно дважды два,
Как завтра, нерушимы...

МАРК ТВЕН И МНОГОЭТАЖКИ

Порожденный ироничной фантазией знаменитого чешского писателя Ярослава Гашека персонаж - brave солдат Швейк знавал в своей бурной жизни немало мелких неприятностей. Одной из них стало задержание его комендантским патрулем за кражу курицы. Украл он ее буквально из-под носа у супругов-венгров по фамилии Иштван. Поскольку докладная, составленная по факту кражи, писалась по-немецки, “в оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово” - сыронизировал автор. Какое же, хотите узнать? Иштвансупруги!

Такое, оказывается, вполне допустимо в немецком языке.

Однако еще ранее, чем чешский писатель, вовсе потешался над странными немецкими словосложениями американский юморист Марк Твен “Иные из них, - свидетельствовал он, - так длинны, что их видишь в перспективе”. Алфавитными процессиями обозвал Твен эти удивительные грамматические сооружения и с неиссякающей энергией продолжил свой критический разбор.

“Эти длинные штуки едва ли можно считать словами, это скорее словосочетания, и человека, их придумавшего, следовало бы убить. Это составные слова с опущенными дефисами. Отдельные их элементы можно найти в словаре, но только в свободном, рассеянном состоянии. Вы можете выловить их поодиночке и кое-как уразуметь их слитное значе-

ние, но это скучное и хлопотливое занятие.

...Самое обычное рядовое предложение... состоит из многотажных слов, сочиненных тут же, по мгновенному наитию, и не предусмотренных ни одним словарем, - шесть-семь слов наращиваются друг на дружку просто так, без швов и заклепок (разумей, дефисов)".

Понимая, что недоверчивый читатель может, чего доброго, и не принять на веру столь разоблачительные заявления, Марк Твен озаботился документальным их подтверждением.

“Для примера приведу сообщение из отдела городской хроники, напечатанное в маннгеймской газете.

“В третьегоднядвенадцатом часу ночи в небезызвестномнашему городу трактире “Возчик” вспыхнул пожар. Когда огонь достиг аистомнаконькекрышисвитого гнезда, оба аистородителя его покинули. Но как только в бушующем океанепламени загорелось и самое гнездо, быстровернувшаяся аистихамать ринулась в огонь и погибла, осеняя птенцов крылами”.

Даже тяжеловесные немецкие обороты не в силах умалить величия этой картины и, наоборот, выгодно оттеняют его. Заметка датирована прошлым месяцем. Я не воспользовался ею раньше, так как ждал вестей об аистеотце. Я жду их и поныне”.

Далее верный неистребимо иронической манере Марк Твен изложил свои рекомендации мученикам от лингвистики.

“В-пятых, я упразднил бы в немецком языке непомерно длинные составные слова или потребовал бы, чтобы они преподносились по частям - с перерывами на завтрак, обед и ужин”.

Как нетрудно убедиться, внутренний протест американца вызывали два решающих обстоятельства: первое - неконтролируемая длиннота немецких словопостроений, а второе - отсутствие каких-либо швов и заклепок, которыми бы составляемые в солидную очередь слова разумно скреплялись. Блестяще найденный писателем термин “составные” употреблен им совершенно оправданно.

Слава богу, русскому языку незнакомы подобные многоэтажные построения, чувство меры ему не изменяет: два, от силы три слова, и basta. При этом не забыты и надлежащие - надежные и понятные - скрепы: дорогие сердцу Марка Твена дефисы (перекаати-поле, матьи-мачеха, иван-да-марья, не-тронь-меня, а также многочисленные образования типа “ярко-синий”, “бело-голубой”, “потихоньку-полегоньку”), но главное - соединительные гласные “о” и “е”, специально предназначенные для этой цели; вертопрах, червоточина, лежебока, головокружение. В группе сложных имен существительных, в которых первая часть - глагольная, место обычной соединительной гласной занимает не менее благозвучное “и”: вертихвостка, горицвет, скопидом, сорвиголова.

Невозможно отрицать существенную роль сложных в словообразовании. По самым скромно-приблизительным подсчетам они составляют не менее одной сороковой части всего населения отечественного словаря, а это, согласитесь, не так уж и мало!

Кроме того, словосложение - очень мыслемкий и потому экономный способ образования новых, комплексных понятий. Попробуйте-ка описательно выразить содержание таких, например, сложных слов: “летопись”, “сумасброд”, “грехопадение”, “зимородок”, “злопахатель”, “хлебосол”, “толстосум”, “чревоугодие”. Если это и удастся, то лишь за счет неизмеримо большей странности. Но даже и “землетрясение”, одинаковое по

длинноте с описательным “трясение земли”, удобопроносимее последнего.

Но дело не ограничивается смысловостью, экономией и благозвучием. Сложные слова обогащают нашу речь также стилистически и эмоционально. Какие прекрасные встречаются среди них экземпляры - солнцестояние, смехотворный, гостеприимство, опростоволоситься, жизнерадостный, коленопреклонение, самовар, злободневный, победоносный...

В литературный язык вошли многие сложные слова, которые достались нам по наследству от древности и являются переложением с греческого (чревоуветание, велеречивость), а также хотя и более поздние, но образованные по образцу церковнославянизмов. Но словосложения были свойственны и самому древнерусскому языку. Об этом писал Ф.И. Буслаев.

“Еще до введения христианства в России наш язык употреблял слова сложные, как это видим из собственных имен: 1) языческих божеств, напр., Дажбог, Стри-бог; 2) людей, напр., Володи-мир. Свято-слав; 3) городов, напр., Нов-город...

...В древнерусском языке, рядом с упомянутыми переводными словами, употребляются и чисто русские сложения, как нарицательные, так и собственные имена. Напр., в Ипатьевском списке: Держи-слав, Толи-гневич. Наричательные имена в “Слове о полку Игореве” - “в моем тереме златоверсем”, “на своем златокованом престоле” и проч. В древнерусских стихах “терема златоверховаты”, “пески рудожелтые”. В просторечии употребляется много слов чистого русского сложения. Некоторые стали общим достоянием языка: напр., душегрейка... краснойбай... рукоделье... челобитье; другие - известные только в областных говорах: ледо-плав, лис-

то-пад (месяц), лихоманка, резко-став, худо-умный... и мн. др.”.

Среди вышедших из употребления старинных словосложений - “скоромолвление” (болтливость), “простоумный” (неученый), “победо-любие” (соревнование), “худодушный” (малодушный), “точнообразный” (подобный), “умодвижение” (мысль), “самокормие” (пропитание своим трудом), “смехословец” (весельчак), “рукосмотрение” (гадание по руке), “средоложение” (промежуток).

“Скотолубие”, возвращающее нас во времена, когда скот являлся главным мерилем богатства, означало “корыстолюбие”, а “ухозвон” может послужить указателем древности народной приметы, основанной на звоне или шуме в ушах.

Интересны также “средовеч” (человек средних лет), “мимоход” (прохожий, а то и просто чужой), “худорек” (заика, косноязычный), “ухопослухатай” (шпион, сыщик), “умовредный” (вредоносный).

А не наводят ли на мысль о немецком “аисти-хамать” такие старинные словосложения: “брато-чадо” (сын брата), “браточада” (дочь брата), “братъсестра” (брат и сестра)?..

Вернемся, однако же, в сегодняшний день. Если со вниманием пролистать любой словарь, то можно заметить, что особенно обширны группы сложений, в которых первая часть - общая для всех. Она представлена такими словами, как “много”, “мало”, “разно” и “равно”, “благо”, “добро”, “просто”, “зло”, “само”, “велико” и некоторыми другими. Словосложений с участием “благо”, например, - без малого полсотни! Эти составные хотя и не могут отождествляться с обычными приставками, но отчасти выполняют их роль со знаком качества - больше, меньше, положительно, отрицательно.

Вероятно, из-за своей мыслиемкости сложные словесные конструкции собственного изобретения популярны у писателей-прозаиков и в особенности у поэтов.

Здесь сад на улицу, здесь многодачие...

О, речка, речка - быстротечка!

Ряды березок удочкообразных.

Это цитаты из стихотворений Игоря Северянина. А одному из них он дал заглавие - "Десятидневная", отталкиваясь, конечно, от привычного - "девятнадцатилетняя". У него же встречаются "лесофеи", "морфеи", "златоприческа"...

В этом пристрастии сходятся, пожалуй, поэты всех направлений и стилей: у Марины Цветаевой: "нагловзорый", "самовол", "гробокопа"; у Константина Бальмонта: "жизнедатель", "тупоумцев", "серполикая", "желтоогромный", "птицебыстрая", "первочасье"; у Бориса Слуцкого: "миролом", "долговолосье", "аэрогром", "эпохоупорных"...

Прозаики тоже не избегают при случае соблазна укоротить и освежить словесные характеристики с помощью сложных слов. У Евгения Носова, например, можно встретить "белокальсонников", "чужепришельцев", "разновсячину", "мелкошажье", "прямоспинно", "маломерковое", "тонкотравные", "копноподобные", "мелкоклетчатый", "крутогорый", "краевоствольный", "зеленошелая", "крутосоленые". Однако наиболее характерную особенность этого замечательного современного писателя являют излюбленные им спаренные прилагательные, причем не однородные, а разноплановые. Вот лишь несколько выразительных образчиков: "твердолобо-упорных", "устало-ласковым телом", "заспанно-округлой щеке", "старушечьи-длинное... пла-

ть”, “низкобрюхий паровозик”, “натужно-красная”, “за-таенно-невидимый”, “неприятно-чужое”, “незнакомо-замкнутое”...

“Лунно-седые” и “лунно-голубой” - два неравнозначных цветоопределения, хотя и порожденных общим светом луны. Еще более разительны используемые писателем языковые возможности, когда выстроишь в один ряд встречаемые в его повестях и рассказах парные комбинации определений, общая составная которых - “радостный” или “радостно”. Судите сами.

“Радостно-увлеченная”, “стыдливо-радостное”, “радостно-счастливое”, “щемяще-радостно”, “радостно-бунтарский”, “радостно-беспокойной”, “азартно-радостный”, “радостно-тихое”, “радостно-смятенной”, “пугово-радостным”...

Согласитесь, эта емкая дефисная форма позволяет автору, избегая многословия описательности, создавать нужную ему и понятную, доходчивую гамму чувств и ощущений своих персонажей.

ЗАГАДКА СТРЕКОЗЛА

Для животных, наиболее к нам приближенных и имеющих хозяйственную ценность, у нас есть специальные слова, обозначающие их пол. Особенный почет проявился в щедрости, с которой счастливики наделены названиями, происходящими не от одной, а от разных основ: “курица” и “петух”, “корова” и “бык”, “овца” и “баран”, “свинья” и “боров”.

В иных же случаях выручают суффиксы: “лев” и “львица”, “гусь” и “гусыня”, “заяц” и “зайчиха”.

Но имеются среди животных и обделенные нашим вниманием, к каковым можно отнести, например, змей, рыб, насекомых и большинство пернатых. Из их названий - “гадюка”, “карась”, “таракан”, “ласточка” - не поймешь, то ли это “он”, то ли “она”.

слова, пытались в свое время создавать новые формы глаголов. Державин сочинил глагол ручиться (от слова “ручей”), Жуковский - обезмышить, Кольцов - пилатить, Гоголь - обыностраничь, многолюдеть, оравнодушеть, Гончаров - байронствовать, Щедрин - душедряньствовать, умонелепствовать.

Порою такие неологизмы создавались для выражения иронии, когда автор и сам сознавал всю нарочитую несуразность сочиненного слова.

Таково, например, двустышие, которое приписывалось Пушкину:

Я влюблен, я очарован.

Словом, я огончарован.

Таковы почти все новые глаголы, которые вводил в свою речь Достоевский: афонить (от названия горы Афон)... апельсинничать, лимонничать, амбициозничать, и проч. Все, - за исключением двух: джентльменничать и стушеваться.

Только эти два и удержались у нас в языке. Большинство же промелькнуло и забылось, как, например, герценовский глагол магдалиниться.

- М а г д а л и н и т с я молодой человек.

Таковы же у Чехова: тараканить, этикетничать, пересобачиться, каверзить, окошкодохлиться.

И в “Воспоминаниях” Кони:

“Он выпивши был - у нас престольный праздник, ну он и напестолоился”.

Все это слова-экспромты, слова-однодневки, которые и не притязали на то, чтобы внедриться в язык, войти в общий обиход, сделаться универсально пригодными. Созданные специально для данного случая, они чаще всего культивировались в домашних разговорах, в частных письмах, в шуточных стихах и умирали тотчас же после своего появления на свет”.

Примеров слов-однодневок (и не одних только глаголов), порожденных писателями, можно приводить сколько угодно. Это и гоголевские “омедведила тебя захолюстная жизнь”, “праздношатайка”, “бессапожье”, “шаркатель по паркетам”, “всевидец”, “копнитель неба”, “громкопечно”, “зеленолиственные”, а также развернутое:

“На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки - и заварилась каша”.

У Льва Толстого: “...надоело мне писать ковыряшки, да еще скверные”; у Чехова: “бумагопожиратели”, “я искусился”, “пьесопекарня”, “драмописец”, “тюрьмоведение”, “испанистая терраса”; у Блока: “”Ступай, надменный чужевер”, “Утреет. С богом! По домам!”; у Есенина: “Высоко стоит злотравье”; у Слуцкого:

Шаг на месте давно сменился

Шагназадом, обратным, попятным.

Вот выставка некоторых новообразований Игоря Северянина:

И только губы весенеют –

Затем, чтоб я их алость пел...

Заосенел мой сад...

Накорзинив рыжики и грузди...

И вот потек он ручейково...

Опять весна пришла и трелят соловьи...

... прозеванный гений...

И души хрупотней стекла.

К ненужью вынуждающей нужды...

И Фофанов в своих веригах,
В своих лохмотьях - мне любей!

Количество неологизмов, сотворенных Владимиром Маяковским, просто не поддается учету.

Говорит Ю.С. Сорокин (“Русская речь”, №4 за 1976 год):

“Белинский был и смелым неологизатором. Он предложил в своих сочинениях немало слов, если не всегда изобретенных самим критиком, то впервые в его сочинениях употребленных в качестве отчетливых терминов, стали затем общеупотребительными: миросозерцание, художественность и т. п.”.

А вот лишь немногие из новоизобретений, рассыпанных по произведениям Александра Солженицына: “шитейных” (дел), “революционерство”, “кишение”, “другоданную жизнь”, “кровожадия”, “передышанный воздух”, “безмужие”, “главная ослаба”, “подкрадкой”, “лежебочила”, “остроуглыми”, “нехоть”, “невпродёр”...

Явственное остережение, обращенное к авторам неологизмов, содержится в “Записных книжках Ярослава Голованова”, опубликованных недавно:

“Читал в “Огоньке” рассказ Жени Добровольского “Крупные неприятности”. И совсем уже поверил, что рассказ хороший, когда подметил одну точную строчку: “...с мягким чмоком вколлот топор в бревно...”. Свежо! А через страницу читаю: “...он утирает нос, как-то у него это очень ловко, с мягким чмоком получается...”. И рассказ для меня разрушился. Вижу уже не картину, а чертеж. У Чехова, Бунина, Набокова и таких, и куда лучше, “мягких чмоков” - бездна. Они их не жалеют, не берегут, на смену им от соприкосновения с жизнью сразу приходит что-то обновленное, единственное,

неповторимое, как само это соприкосновение...

Нет, мы не писатели. В лучшем случае - литераторы, т.е. люди, умеющие грамотно объяснить свои мысли, не более. Писательство же есть таинство”.

Константин Бальмонт - тот в свое время прямо и с явственной гордостью провозгласил:

Много слов я создаю,
В этом радость для меня, -
Я - кую!

Да ведь и не только признанные словокузнецы, поэты и прозаики, но и мы с вами - рядовые армии глаголящих - в разговорах наших, в дружеской переписке не избегаем соблазна изобрести собственное речение. Происходит это чаще всего походя, невзначай, в порядке срочно возникающей импровизации. Примерно столь же естественно, как слетали вольнонайденные словечки с бойкого языка Домны Платоновны в очерке Н.С. Лескова “Воительница”.

“... - Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят? (Слова собеседницы Домны Платоновны - В.К.).

... -Что это ты, - отвечаю, - себя так уж очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя да с мужьями живут”.

Стихийное словотворчество бытовало во все времена. Пример его находим в историческом романе Валентина Пикуля “Фаворит”.

“Русские называют иноземцев “асеями” (от I say) – с л у ш а й, а те зовут русских “слиштами” (от присказки - слышь ты!)”.

Вспоминается также Козьма Прутков, утверждавший, что гораздо удобнее вместо иностранного слова “аудиенция” говорить понятно по-русски “уединенция”...

К словоизобретательству нас понуждает стремление выразиться как можно точнее и образнее, и притом немедленно, не лагая, как говорится,

за словом в карман.

Те же причины, думается, лежат в основе оригинального словоупотребления многих представителей прессы. Вот только некоторые новации газеты “Комсомольская правда”: “Все буквы равны. Но некоторые – равнее!” (заголовок), “все досказуемо” (по аналогии с “доказуемо”), “животворит” (при наличии общелитературного прилагательного “животворный”), “ответец” (по подобию бытующего “вопросик”). Это, разумеется, тоже неологизмы-однокоренки, выполняющие разовую, если можно так выразиться, задачу привлечь внимание, заинтересовать читателя.

Вообще же каждая эпоха и каждый исторический период порождают свои утилитарные неологизмы, призванные обозначить возникающие в обществе новые предметы или явления. Другое дело, что зачастую существование таковых кратковременно. Вместе со своей эпохой или периодом уходят и они.

Вспомним хотя бы 1950-е годы - время массовой и едва ли не оголтелой борьбы со “стилягами”, “стиляжничеством”, “стиляжничеством”. Эти новообразования тогдашней нашей действительности не сходили со страниц газет и журналов, звучали изо дня в день по радио. Ныне же их вряд ли услышишь иначе, как в воспоминаниях ветеранов...

Поучительна также судьба определений “чекист”, производных от него “чекистский”, “почекистски”. О возникновении слова рассказывается в романе М. Алданова “Бегство”.

“В ту пору внезапно откуда-то выскользнуло и разнеслось по России слово “чекист”: официально полагалось говорить: “разведчик”, - это название было хорошее, военное, что всегда ценилось в партии. В новом же слове был чрезвычайно неприятный оттенок: нечто порочное и хихикающее. Впервые при Ксении Карловне произнес, с кривой усме-

щечкой, это слово один из ее сотрудников; оно сразу ей не понравилось”,

Ксения Карловна сама занимала ответственный пост в Чрезвычайной Комиссии – ЧК, с 1917-го по 1921 год выполнявшей задачи борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Новоявленное словечко порождено сокращением названия этой грозной организации. И очень показательно, что первоначально оно не встретило одобрения у самих чекистов. Впоследствии же слово приобрело исключительную популярность, надолго пережившую саму ЧК: чекистами именовались работники службы государственной безопасности. Похоже, однако, что сегодня и этот, столь утвердившийся в нашем словаре неологизм все более уходит в прошлое.

Большинство возникающих новых слов остается анонимами. Точно так же далеко не обо всех из них можно с большей или меньшей точностью сказать, каково время их возникновения. Относительно прозвища “щелкопер”, оказавшегося в этом отношении удачливым, вопросов не возникает: установлено, что оно появилось в XVIII столетии на базе выражения “щелкать пером”.

Имеются в нашем сегодняшнем лексиконе, - хотя их и наберется не так уж много, - и именные словоизобретения-долгожители. О некоторых из них стоит упомянуть.

Известный писатель и историк Н.М. Карамзин впервые употребил слово “промышленность” (во фразе “Везде знаки трудолюбия, промышленности, изобилия”). Не надеясь, как видно, на добросовестность потомков, он сам позаботился о своем авторском праве и присовокупил нижеследующее примечание: “Это слово сделалось ныне обыкновенным; автор употребил его первый”.

Карамзину принадлежат также введенные им в речевой оборот слова “достопримечательность”, “утонченность”, “подозрительность”, “первоклассный”, “человечный”.

Существует мнение, что слово “паровоз” по образцу соответствующего немецкого создал редактор петербургской газеты “Северная пчела” Н. Греч (1836 г.).

Не менее, чем Карамзин, гордился своим словотворчеством Ф.М. Достоевский. Вот что писал он в “Дневнике писателя” об истории появления глагола “стушеваться”:

“... всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И однако во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек - я, потому, что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз - я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 г., в “Отечественных записках”, в повести моей: “Двойник, приключения господина Голядкина””.

Автором целой серии вошедших в наш словарь неологизмов был еще один русский писатель – М.Е. Салтыков-Щедрин. На его счету - “благоглупости”, “пенкосниматель”, “злопахательство”, “мягкотелый”, “головотяп”.

Своя история у слова “особь” - более, впрочем, профессионального, нежели общелитературного. Обстоятельства его создания раскрыл сам автор - М.А. Максимович (1804-1873), ботаник, а позднее профессор русской словесности.

“Individuum - В русском языке нет еще слова, которое удобно заменяло бы сей термин, во всех его значениях. Обыкновенно переводят его прилага-

тельным именем *неделимое*; другие пишут просто *индивидуум*, *индивидууи*; иные называют его *единицей*; потом стали употреблять ближе к предмету слова: *особое*, *особность*, *особа*. Последнее слово могло бы совершенно заменить *individuum*, но *usus tyrannus* так усвоил его одним людям, притом знатным и важным, что лошадь, дерево, камень - невозможно назвать *особами*. Однако ж корень сего слова именно тот, от коего должно производить русское существительное имя для выражения *individuum*, и от коего есть очень выразительные русские слова, например *особняк*, *особиться*. - Мне кажется, что для сего можно употребить слово *особа* усеченно - *особь*, как в народном русском языке слово молва сокращается в молвь, употребленное Пушкиным”. (*Usus tyrannus* – обычай-тиран).

Развернутая и весьма убедительная аргументация! Она заставляет задуматься над тем, сквозь какую разветвленную систему фильтров должно пройти новосочиненное слово, прежде чем очищенным, без сучка и задоринки, встать в один ряд со старожилками нашего словаря!

По свидетельству современников М.А. Максимовича, ему же принадлежало авторство новообразований “своевременный” и “полногласие”.

Какое бы новообразованное речение ни рассматривать с надлежащей придирчивостью, всегда его укоренению в речи сопутствует очевидная, как говорят - назревшая необходимость в нем. Так произошло и со сложным словом “отсебятина”, прокомментированным в “Толковом словаре” В.И. Даля.

“Слово К. Брюллова: плохое живописное сочинение, картина, сочиненная от себя, не с природы, самодурью”.

Выйдя из художнической среды, “отсебятина” стало популярным в самом широком плане: под это понятие подводится все, что не согласуется с задачей,

целью, предписанием, командой. Думается, слишком сузил значение слова словарь С.И. Ожегова: “Собственные слова, вставляемые в чужую речь, требующую точной передачи”.

Нередко новые слова входили в быт не без сопротивления законодателей языка, Так, в 1789 году один из критиков возмущался неологизмами писателя П. Львова, которыми мы с вами безмятежно пользуемся по сию пору:

“Что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие слова, как, например, себялюбие, себялюбивый... и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен...”.

Новые слова в языке народном рождаются постоянно. Отбор их производят высшие судьи - потребность и время, преодолевая, если в том случается необходимость, любое сопротивление законников от лингвистики. Прекрасно высказался на сей счет еще Н.М. Карамзин:

“Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новыя, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны; мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют; надобно только открыть или показать оныя”.

Последнее глубокое соображение Карамзина могло бы послужить и своеобразным эпиграфом ко всему следующему разделу этой книги.

ПРЕЛЕСТНЫЕ НЕСУРАЗИЦЫ ЧТО ОГОРОШИЛО БИСМАРКА

Что же такое, в самом деле, могло огоршить, то есть сильно озадачить или, если хотите, загнать в тупик, прусского посла в России, когда он по прибытии в нашу северную столицу начал добросовестно брать уроки русского языка у бедного и невероятно талантливого студента Петербургского университета В. Алексеева?

А знаете – н и ч е г о!

Не торопитесь расценить такой ответ как неуместную шутку - обратимся лучше к страницам исторического романа Валентина Пикуля “Битва железных канцлеров”.

“Все шло замечательно, пока не напоролись, словно на подводный риф, на обычное русское словечко “ничего”.

- Как это “ничего”? - не понимал Бисмарк и от своего непонимания просто осатанел.

Сколько ни толковал ему Алексеев, что ничего - это, в общем-то, и есть ничего, не хорошо и не плохо, а так, средне; жить, значит, можно, - Бисмарк продолжал не понимать.

- Ничего - это фикция! - бушевал посол...”.

На первый взгляд, бушевал будущий железный канцлер воинственной и самоуверенной Пруссии вроде бы совсем понапрасну. Ведь наше “ничего” - не какая-нибудь загадка лингвистики. Это всего-то-навсего родительный падеж от бесхитростного местоимения “ничто”. Правда, местоимение это породило внушительный глагол “уничтожить”, тогда как древнерусский тезка “ничто” - “ничже”, в свою очередь, произвел на свет не менее впечатляющее “уничужение”. Однако же полновесные эквиваленты русскому местоимению “ничто” испокон имеются не только в немецком, родном для Бисмарка, но и в

других языках. Так в чем же тогда загвоздка?

Истинная подоплека упрямого недоумения прусского посла раскрывается на последующих страницах романа. Сыр-бор загорелся, оказывается, не из-за самого каверзного словца, а по причине крайне несообразного его использования в речи россиян.

“- Значение слов “авось” и “ладно” я освоил, - признался Бисмарк (в беседе с российским канцлером А.М. Горчаковым. – *В. К.*). - Но не понял слово “ничего”. Русские при встрече на вопрос о жизни отвечают, что живут “ничего”. Сейчас, когда я ехал во дворец, извозчик на повороте вывернул меня на панель, я стал ругаться, а он отряхивал на мне пальто со словами: “Ничего... это ничего”. Между тем из словаря я уже выяснил, что “ничего”... ничего, и только!”.

Отчасти соблазнившись хвастливой оговоркой персонажа, ну как можно удержаться и не пожертвовать плавностью и последовательностью нашего повествования ради попутной, однако немаловажной пояснительной справки!

Слова “ладно” и “авось”, о которых в пылу возмущения упомянул прусский посол, тоже широко представлены в бытовой речи россиян. Первое из них свидетельствует о покладистости собеседника и может быть истолковано как обыкновенное “да” или “хорошо, будь по-твоему”. Второе же слово заряжено подспудными сомнениями, неуверенностью, однако при этом дышит также затаенной надеждой на грядущую удачу, везение. Его смысл лишь весьма приблизительно передает выражение “может быть”.

В русском лексиконе имеется и еще одно, не названное Бисмарком, но столь же популярное и многозначительное словечко “небось”. Оно ведет родословную от “не бойся” и означает “вероятно, долж-

но быть”.

Вот эти-то “авось” с “небосем” смело могут быть причислены к важным составляющим русско-го национального самосознания, что с блеском подтверждают народные пословицы и поговорки.

Авось небосю родной брат.

Авоська веревку вьет, небоська петлю закидывает.

Держался авоська за небоську, да оба в яму упали.

Авоськал, авоськал, да и доавоськался,

Авосою не верь вовсе.

Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь.

Вспомним также к месту фразу из басни И.А. Крылова: “да понадеялся на русский авось”. В поэме современного поэта Игоря Григорьева - то же определение: “В замшелом “авось” деревенском”. Наконец у Александра Солженицына в повести “Раковый корпус” читаем:

“Сама-то для себя она пробавлялась русским авосем: а может обойдется? а может только нервное ощущение?”.

Но самая хлесткая характеристика прилипчивого словца принадлежит, по-видимому, перу поэта Бориса Слуцкого, который не поскупился посвятить ему целое стихотворение.

Все было на авосе.

Авось был на небосе.

Все было оторви да брось.

Я уговаривал себя: не бойся.

Не в первый раз вывозит нас авось.

Полуторки и те с дорог исчезли,

телеги только в лирике живут,

авось с небосем да кабы да если

спасибо, безотказные, везут.

Пора включить их в перечень ресурсов,
я в этом не увижу пережим –
пока за рубежом дрожат, трясутся,
мы говорим: “Авось!” - и не дрожим.

Теперь должно быть понятно, что и “авось”, и “небось” - молочные братья нашему же “ничего”: они словно бы олицетворяют великое народное долготерпение, предстывая в то же самое время неким знаменем утешительности, надежды и веры.

Возвращаясь к злоключениям прусского посла, не грех будет полюбопытствовать, чем же они завершились. А вот чем: эпизод с неловким извозчиком так подействовал на впечатлительного Бисмарка, что он незамедлительно заказал для себя серебряный перстень, в печатке которого было четко выгравировано непутевое русское словечко, доставившее ему такую массу хлопот и треволнений. Оценим же посольский жест по достоинству: навряд ли отыщется в исторических анналах еще хотя бы один пример подобного рода!

Вообще иностранцам в России можно искренне посочувствовать: своенравное “ничего” почасту и в самых невероятных обстоятельствах и сочетаниях слетает с уст природных россиян. По-хозяйски бесцеремонно обосновалось оно и во многих народных пословицах.

У одного ничего, у другого совсем чисто.

У кого ничего, а у нас пуще того.

За ничто ничего не купишь.

Голова с печное чело, а мозгу совсем ничего.

Ничего-то у нас и дома много.

Ничего-то и у нас припасено.

Две последние в перечне народные сентенции по-своему обыграл в содержательной книге “За языком

до Киева” писатель Лев Успенский.

“Заметьте, что некоторые на тот же пустой вопрос (“Как поживаете?”. – *В. К.*) отвечают: “Да ничего”, но при этом рискуют получить давно уже изобретенную отповедь: “ничего” у нас своего много; нам ваше “чего” интересно””.

Лукавые выражения с “ничего” поистине вездесущи в народной речи. Потому-то не могли они проходить мимо уважительного внимания особенно чутких к родному слову писателей-классиков. Н. В. Гоголь оставил нам образчики подобного словоупотребления в своих бессмертных творениях. Вот лишь несколько примеров, извлеченных из поэмы “Мертвые души”.

“Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. “Ничего, ничего”, сказала хозяйка”.

“...и он, как говорится, ничего и они ничего...”.

“...это сущее ничего...”.

Не чурались природной лукавой многозначительности популярного словечка и российские поэты.

У И. С. Никитина:

Жгучий холод пахнул

- Все равно для него:

По колено в снегу,

Говорит: “Ничего!”.

Скажите, не напоминают ли вам эти простые строчки того незадачливого извозчика, который по оплошке вывернул на панель прусского посла?..

У А.С. Пушкина:

Дверь отворилась, входит граф;

Наталья Павловна, привстав,

Осведомляется учтиво,

Каков он? что нога его?

Граф отвечает: ничего!

И снова бросается в глаза, до чего же схожи об-

стоятельства: на косогоре коляска опрокинулась на бок, молодой граф повредил ногу и теперь, увы, вынужден хромать... А всей разницы - то только, что не кучер барину, а сам он произносит пресловутое “ничего”.

У К. Д. Бальмонта:

“Ну, что же, ты счастлив?” - “Да что ж... Ничего”.

О да, ничего нет нелепей!

А в процитированном выше двустишии - обратите внимание! - многомерное русское “ничего” предстает сразу под двумя своими неоднозначными личинами.

У В. В. Маяковского:

Говорит кому-то:

“Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!”.

У С.А. Есенина:

Ничего, родная! Успокойся.

Примеров набралось уже, кажется, с лихвой для того, чтобы можно было сделать обоснованный вывод: наше “ничего”, почти универсальное по возможностям использования в речи, - чисто русское, национальное достояние. Но сюрпризы и на том не кончаются.

В басне И. А. Крылова “Лягушка и Вол” происходит примечательный диалог между поименованными в самом заглавии двумя персонажами.

- Пополнилась ли я? - Почти что ничего.

Если бы русское “ничего” на самом деле оставалось простой фикцией, как изволил выразиться господин Бисмарк, то разве же применимы были бы к нему понятия меры и степени? Пустота ведь и есть пустота, для которой, как принято говорить, не существует ни дна ни крыши... Но выражение “почти что ничего” предполагает, напротив, количествен-

ное измерение так называемой фикции!

В лексиконе русского человека немало и иных вариантов такой измерительности: “ровно ничего”, “ровным счетом ничего”, “совсем ничего”, “всего ничего”. В эту же потешную компанию настоятельно просится, конечно же, и забавное гоголевское “сушее ничего”.

Возможность взвешивания понятия на воображаемых весах отчетливо сквозит и в бессмысленном для иностранца, но очень широко распространенном в нашей разговорной речи словосочетании “ничего себе!”. К привычным странностям самого слова “ничего” здесь добавляется и другой алогизм: а почему, собственно, “себе”, а не, к примеру, “ему”, “тебе”, “вам”, “им”?..

“Ничего себе!” говорится обыкновенно в том случае, когда чего-либо (количества, качества, действия, состояния) много, даже очень много. А если, наоборот, слишком мало? Тогда русский человек вправе выразиться или описательно: “почти (что) ничего”, - или, еще доходчивее, с использованием суффикса уменьшительности: “ничегошеньки”. Стало быть, чего-то вовсе нет, не оказывается в наличии, нетути...

Разумеется, как “ничего себе!” превосходит количественно обыкновенное “ничего”, точно так же “ничегошеньки” регистрирует минимальную степень последнего. Вот вам и кажущаяся фикция, круглый нуль, бездонная пустота!

Еще один сюрприз подарил Александр Солженицын читателям своей повести “Раковый корпус”. Один из горемык, насельников палаты ракового корпуса, по прозвищу Ефрем Поддуев спрашивает новобранца больницы Павла Николаевича Русанова, а тот несколько свысока и не без самодовольства ответ-

ствуует Поддуеву:

“ - Слышь, браток, у тебя рак – ч е г о? - спросил он нечистым голосом.

- Ни ч е г о. У меня вообще не рак”.

Странным показалось это разделение вроде бы нераздельного? Да, конечно. Ну а как на месте автора повести поступили бы вы, грамотный читатель? Повинуясь первому же безотчетному порыву, воссоединили бы две половинки разъятого не по правилам слова? Но ведь тогда потеряется истинный смысл ответа!

Надо заметить, что разделение “ничего” в отрывке - лишь кажущееся: таковым оно воспринимается только на слух. В действительности же здесь мы имеем дело с самостоятельным местоимением “что”, поставленным в родительном падеже. На письме, дабы не случилось нечаянной смысловой путаницы, автор не случайно воспользовался разрядкой подозрительного слова.

А теперь кстати придется пример воистину противоправного разделения слова. Эту возможность предоставляет современный же автор - писатель Евгений Носов, в одном из произведений которого употреблено крамольное “с самого позаранку”. Всем известно, что наречие “спозаранку” пишется слитно. А вот Носов взял да и разделил его! Спрашивается, чем вызвано это нарочитое нарушение грамматических правил? Вероятно, тем, что “с самого спозаранку” что называется не звучит, второе “с” воспринимается на слух как лишнее. Так целесообразность в каждом конкретном случае преобладает над жесткой универсальной правильностью.

Однако возвратимся к прерванному изложению. Говорится, и недаром, что со стороны зачастую многое

становится виднее; “большое видится на расстоянии”. Вот и наше родимое “ничего” - слово для самих россиян настолько обыденное и примелькавшееся, что странноватая его многосмысленность никого уже и ничуть не смущает. Мы попросту с ним прочно свыклись и потому в смысл не вдумываемся, а произносим по наитию. Зато уж немца Бисмарка при первом столкновении “ничего” смутило, да еще как! Даже много лет спустя после пребывания в России он не запамятовал каверзного словца, как о том можно судить по ремарке в историческом романе М. А. Алданова “Истоки”.

“ - “Ничего”, - неожиданно по-русски сказал он вернувшемуся графу Лимбургу. Бисмарк немного знал русский язык. Слово “ничего” - быть может, не только в русском смысле - было его любимым, и он часто изумлял им иностранцев”.

Небезынтересно поэтому и объективное, со стороны, мнение представителей другой европейской нации - англичан. Его привел в романе “Бегство” писатель Марк Алданов. Ситуация, в нескольких словах, такова: сотрудники британского посольства наперебой обмениваются свежими впечатлениями от последних событий в бурлящем котле революционной России:

“ - В сущности большевики унаследовали традиции царизма.

- У нас все это было бы конечно, невозможно.

- Вспомните русское ничего... В душе каждого славянина есть мистическое начало, которое и сказалось теперь с такой силой у большевиков”.

РОДСТВЕННИКИ НА СЛОВАХ

Неизвестно доподлинно, привелось ли Отто фон Бисмарку в пору обучения русскому языку держать в

руках томик с поэмой Н. В. Гоголя “Мертвые души”. Не составляет особенного труда, однако же, представить воочию, какое множество разных закавык, подобных трагикомическому столкновению с российским “ничего”, предуготовили для любого иностранца несравненные ее страницы.

Наверняка споткнулся бы прусский посол, попытавшись, к примеру, самосильно разобраться в родственных отношениях некоторых персонажей.

““А что, брат”, говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка. “Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!””

И чуть ниже по тексту:

““Врешь, врешь!” сказал Ноздрев, не давая окончить ему: “врешь, брат!””.

Выговаривалось все это для Чичикова, нечаянного гостя помещика Ноздрева, человека в губернии нового, прикатившего в собственной бричке из бог весть какого далека. А между тем, если только не подвел добротный в общем-то русско-немецкий словарь, собеседники приходились один другому... брудерами, то бишь кровными братьями. Вот новость так новость!

Еще большая, прямо-таки кромешная, путаница содержится в рассказе о визите того же Чичикова к местной помещице по прозвищу Коробочка.

“Здравствуйте, батюшка. Каково почивали?” сказала хозяйка, приподнимаясь с места...”.

Ага, стало быть, Чичиков - папа этой самой помещицы. А она, соответственно, - его дочь, доченька, дочурка. Да и ничего бы в том особенного, только вот до столбняка смущает авторское определение возрастного ценза деревенской дамы: “женщина пожилых лет” и даже попросту “старушка”. Ну может ли,

скажите на милость, дочь быть старше собственного отца?! Чичиков же, как явствует из предыдущего, не только не дряхлый старец, но, как говорят в народе, мужчина еще в полном соку. Пойдите, пойдите-ка: да ведь он же вдобавок еще и натуральный холостяк, по сию пору лишь подыскивающий себе достойную пару! Дочь холостяка? Гм... Впрочем, дети случаются и вне брака, чем черт не шутит... Однако возраст, возраст, о майн готт!

Утренняя беседа заночевавшего накануне заезжего барина с приветливой хозяйшкой продолжается в том же ключе.

““Хорошо, хорошо”, говорил Чичиков, садясь в кресла. “Вы как, матушка?””.

Что за наваждение? Так Коробочка вовсе не дочь Чичикову, а совсем напротив того - породившая его самого мамаша? Оно-то, ежели принимать в расчет те же обоюдные лета, гораздо более и подходит на истину. А как быть с противоречием в двух обращениях? Остается предположить, что прежде в текст поэмы вкралась авторская досадная обмолвка либо типографская опечатка - мало ли их лепят налево и направо в печатных изданиях.

Но последовавший немедленно за тем потрясающий ответ старушки-помещицы окончательно сбивает с панталыку:

““Плохо, отец мой!””.

И уже вчистую пропадает всякий интерес к причине плохого сна Коробочки (а мучила ее, всю-то ноченьку не давая забыться во сне, несносная боль в пояснице), лишь сверлит мозг разъединственный застрявший в нем, подобно занозе, сакраментальный вопрос: так кто же, черт их обоих побери, эти двое друг другу - мать и сын или же, все-таки, отец и дочь?!

Зная бешеный темперамент Бисмарка, позволено предположить, что, именно дочитав до этого ту-

пикового места в поэме Гоголя, он всенепременно зашвырнул бы злополучный томик в самый дальний угол, разразившись при этом отборнейшей тевтонской бранью...

Таков очередной из бесчисленных парадоксов своеобразной русской речи.

Родственники на словах поражают одновременно как своим разнообразием, так и неожиданной свободой применения подобных обращений в живой речи. К примеру, “батьюшка” и “батенька” могут быть обращены равно к самым разновозрастным собеседникам, вплоть до малого ребенка. Так же и “матушка”. Правда, “батя”, “отец”, “папаша”, “мать” и “мамаша” чаще все-таки адресуются к людям, чей возраст заметно превышает возраст говорящего.

Что касается обращения “брат”, которым с такою безмятежной легкостью щеголял гоголевский Ноздрев, то и у него имеются выразительные варианты: “братец” (братец ты мой), “братишка”, “братишечка”, “браток” (не “братик”!), грубоватое “братан”.

В то время как обращения предыдущего ряда довольно редко выступают также и в форме множественного числа (папаши, мамыши, отцы родные), то эти - сплошь и рядом: братцы, братишки... В просторечии в ходу также собирательное “братва”.

В литературе о войне частенько можно встретить “родственные” обращения раненых к своим спасительницам на поле боя либо к обслуживающему персоналу медсанбатов и госпиталей: “сестрица” и “сестричка” (“сестренка”, как легко улавливается нашим слухом, - из другого смыслового ряда). К слову сказать, не вовсе случайно, надо думать, за медицинскими работниками закрепились в русском языке именно “род-

ственные” обозначения: “сестра милосердия” (самое старинное, но - вопреки С. И. Ожегову - отнюдь не устарелое), “медсестра” и - реже – “медбрат”. Навряд ли просто объяснить иностранцу и звание санаторной “сестры-хозяйки”. А кто такая, по-вашему, “старшая сестра” в наших больницах? Ведь не обязательно же она взрослее своих коллег-медсестер, да и вовсе она им не родная сестра... Скорее звание это может быть сравнимо с армейским “старший лейтенант”!

Вспоминается кстати общеизвестная формула православия - “братья и сестры во Христе”. Она имеет, конечно же, самое прямое отношение к нашей теме.

Незнакомую старую женщину у нас ничтоже сумняшеся титулуют бабкой, бабушкой, бабулей и бабусей, соответственно так и обращаясь к ней при случае; старого мужчину - дедом, дедушкой, дедулей. В русском обычае называть собеседников и атрибутами более дальнего родства: тетей, теткой, тетенькой и - дядей, дяденькой, дядечкой. Помните запевку знаменитого стихотворения М.К. Лермонтова “Бородино”?

“Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана...”.

Русская разговорная речь изобилует подобными обращениями. Не могла не отразить это ее свойство классическая отечественная литература. Обратимся к такому признанному мастеру диалогов, каковым, без сомнения, был писатель Н. С. Лесков.

“Вошел старик, белый как лунь и немножко сгорбленный.

- Чай-сахар, купцы почтенные! - сказал он,

- Просим покорно, дедушка! - ответил ему приказчик...”.

Эпизод почерпнут из коротенького рассказа Лескова “Разбойник”. В очерке “Воительница” приятель так непринужденно обращается к своей приятельнице:

“ - Домна Платоновна! Как это вы, матушка?”.

А она - к нему, в свою очередь:

“ - А ведь это, батюшка, никому не запрещено верить-то; верь, сделай одолжение, если тебя охота берет”.

В другом месте очерка Домна Платоновна в разговоре с тем же собеседником-приятелем пребывала явно в дурном расположении духа. Этим обстоятельством, наверное, и объясняется некоторая перемена тональности.

“ - Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне: я знаю, какие все вы шельмы”.

Далее в очерке последовало знаменательное и почти философское рассуждение, в котором Домна Платоновна, неутомимая воительница, наделила “родственными” обозначениями уже не каких-то отдельных личностей, а целиком женский пол и весь как есть мужеский.

“ - Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа: “на, мой сокол, тебе”, готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат, шаматон, этим и пользуется”.

Ваш брат... Наша сестра... Экая, в самом деле, глобальность определений! А ведь эти разговорные выражения живут в нашей речи по сегодня. К ним можно причислить и вариации на ту же тему: ваша сестра и наш брат, а также свой брат и противоположное не свой брат.

“Сынок”, “дочка” и “доченька”, “внучка” и “внучек” - еще дополнение в и без того не короткий перечень “родственных” обращений к чужим, посторонним собеседникам.

Истоки примечательной разговорной традиции надлежит искать в седой славянской древности. Ведь именно так, дружески-фамильярно, обращался к своим слушателям певец-сказитель, автор древней лирико-эпической поэмы “Слово о полку Игореве”.

Пристало ли нам, братья,
начать старыми словами
печальные повести о походе Игоревом,
Игоря Святославича?..

Боян же, братья, не десять соколов
на стадо лебедей напускал...

Начнем же, братья, повесть эту...

“Кто старь той отец, а кто младь той брат” - заповедовала внукам и правнукам Псковская Первая летопись под 1265 годом. Внуки-правнуки не подвели: столетия спустя В. И. Даль в знаменитом Толковом словаре русского языка отмечал: “В беседе человека средних лет честят дядей, как старика дедушкой, молодого братом, а иногда и сыном”.

Полностью соответствует летописному завету и речь старшего богатыря в пушкинской сказке - “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался;
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: “Что за диво?
Все так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,

Дядей будешь нам на век.
 Коли парень ты румяный,
 Братец будешь нам названный.
 Коль старушка, будь нам мать,
 Так и станем величать.
 Коли красная девица,
 Будь нам милая сестрица”.

Многозначителен также старинный славянский обычай побратимства. Побратимами и посеичас называют друг друга люди, не состоящие в кровном родстве, но вступающие в подлинно братские отношения, обыкновенно после совместно пережитых бед и несчастий. Существуют, как известно, даже города-побратимы. Правда, и в этом плане первородство остается за русской древностью, красноречивым свидетельством чему может служить цитата на сей раз из Новгородской Третьей летописи: “Назваша братомъ младшимъ Новугороду Псковъ”.

В продолжение традиции предков - такой пример. Бывшие республики в составе СССР, ныне независимые государства, на протяжении десятилетий привычно именовали себя младшими братьями по отношению к брату старшему - России...

В старину повсеместно бытовало канувшее ныне в пучину забвения название-обращение “мамка”, “мамушка”. Относилось оно либо к кормилице (женщине, кормящей грудью не свое дитя, как разъяснял В. И. Даль), либо к няньке ребенка, либо к лицу, совмещающему обе обязанности - кормить дитя грудью и осуществлять присмотр за ним. Необязательное либо неполное совпадение функций отражает старинная колыбельная песня: “Вырастешь велик, будешь в золоте ходить, будешь в золоте ходить, нянюшек и мамушек в бархате водить”.

Исчезло из речевого обихода и обозначение “дядька”, относившееся к воспитателю ребенка мужского пола в дворянских семьях. В словаре В. И. Даля о нем сказано; “приставленный для ухода или надзора за ребенком, пестун; к каждому рекруту в полку также приставляют дядьку, из старых солдат. У кого есть дядька, у того цело дитятко”.

Подобный наставник не без иронии охарактеризован в повести А. С. Пушкина “Капитанская дочка”.

“С пятилетнего возраста, - читаем в повести, - отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году научился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля”.

Между прочим, и к пятилетнему Петруше Гриневу Савельич - в соответствии с обычаем помещицей дворни - обращался не иначе как “батюшка Петр Андреич”...

Как мы знаем, и на воинскую службу молодой Гринев был отправлен доброхотами-родителями в сопровождении и для неусыпного надзора дядьки Савельича.

Вспоминается также пушкинское: “с ними дядька Черномор”. С ними - то есть с дружиною, состоящей из тридцати трех богатырей, которые, “чешуей как жар горя”, выходят на берег из волн морских.

В далевском собрании российских пословиц и поговорок отыщем и такую, которая в особенности высвечивает интересную нам сейчас более всего прочего своеобразную тональность; “Бог батяка, Государь дядька!”. В отличие от слов-двойников, не отягченных суффиксом “к”, - “батя” и “дядя”

- их суффиксальные варианты воспринимаются нами ныне как более или менее пренебрежительно-уничтожительные: адресаты вполне могут даже на них и обидеться! Очевидно, что в старину дело обстояло совершенно иначе.

Любопытна стоящая особняком и популярная поныне старинная идиома “батюшки мои!”. Как и двойник “батюшки-светы!”, выражает она ничего более, как простое изумление или испуг, то есть может быть смело приравнена к междометиям.

Родственники на словах нашли себе на диво многоликое применение в русской фразеологии. Так, мы говорим нередко: отеческое (не путать с отцовским!) внушение; материнская забота - в тех случаях, когда в роли условной матери предстают посторонняя, но добрая и ласковая женщина, или же целый коллектив, или даже вся страна оптом; маменькин сынок (так иронически именуют неженку, избалованного донельзя мальчика либо юношу, не непременно будучи лично знакомы с его матерью, которая в действительности может быть и женщиной весьма строгих правил); братская (ни в коем случае не братнина) помощь и братская (то есть общая для всех погибших на поле сражения) могила. Последний ряд как бы дополняют широкоупотребительные понятия “братство”, “братание” и “брататься”, а также “братия” (компания, содружество, а в первоиздании своем - монашеская община одного монастыря).

МИЛЫЙ, МИЛЫЙ, СМЕШНОЙ ДУРАЛЕЙ...

Вас обозвали дураком, и вы, что вполне естественно, глубоко обиделись. Но оскорбление наверняка покажется еще непереносимее, если вакантное

место простого “дурака” займут более грубые вариации того же ругательного прозвища: “дурень”, например, или “дурачина”, или дуrolом”, а применительно к особе женского пола - “дурища”. Так что и однозначно ироническая русская пословица - “Целых два чина: дурак да дурачина” - подпадает под действие старинного и безошибочного правила, гласящего, что в каждой шутке имеет место быть и зная доля истинной правды...

Ну а что можно сказать о прозвище “дурачок”? При его произнесении происходит мгновенная перемена, маленькое чудо: из откровенно бранного слово становится разве что любовно-укоризненным, и не более того. Так любящая и снисходительная к чужим слабостям мамаша назовет, бывает, малолетнего дитяню своего, не искусенного еще покамест во многих и неизбежных жизненных сложностях. Впрочем, того же звания может быть удостоен и юноша, в устах милой девушки.

Существуют в нашем языке, кстати, и еще более нежные варианты того же прозвища - “дурашка”, “дурачок”, а также равнозначимые синонимы “глупенький”, “глупыш”, “глупышка”, “глупышечка”, “несмысленш”. Точно так же сравнительно с грубым “дура” гораздо более смягченными представляются “дурочка” и даже отдающее панибратством “дуреха”.

Между прочим, наш многосказочный Иванушка-дурачок, такой симпатяга и во всем невероятно везучий, уже своим своим необыкновенно широким бытованием в русском фольклоре с лихвой реабилитирует данное ему не без лукавого умысла прозвище.

Ну, наступило, кажется, самое подходящее время достать с книжной полки “Словарь русского языка” С. И. Ожегова. Слово “дуралей” снабжено в нем пометами “разг., пренебр.” (то есть “разговорное, пренебрежительное”). И вот нам с вами повод задуматься: а так ли уж это бесспорно?

Нет, пожалуй, надобности открывать по этому поводу специальную научную дискуссию, призовем лучше на высокую роль третейского судьи поэта, который как никто чутко воспринимал малейшие оттенки народного говора. Итак, Сергей Есенин, “Сорокоуст”.

Видели ли вы,
 Как бежит по степям,
 В туманах озерных кроясь,
 Железной ноздрей храпя,
 На лапах чугунных поездов?

А за ним
 По большой траве,
 Как на празднике отчаянных гонок,
 Тонкие ноги закидывая к голове,
 Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
 Ну куда он, куда он гонится?
 Неужель он не знает, что живых коней
 Победила стальная конница?

Каждому понятно, что поэт ничуть не склонен презирать, ругать “дуралея” и что эта кличка - из разряда тех же, которыми иная добросердечная мать награждает своего ненаглядного дитяню-несмышленища!

Наши уменьшительные суффиксы демонстрируют слитное единство функций: умалять - и лелеять. Любя или же просто любясь кем-то или чем-нибудь, мы зачастую как бы со стеснительностью оправдываем перед собой и окружающими свое нежное чувство тем, что сознательно приуменьшаем объект, на который оно изливается. Маленькое - значит в нашем представлении непременно слабое, возможно даже и вовсе беспомощное, беззащитное,

а потому в любых обстоятельствах и при всех условиях нуждающееся не столько в пересудах, сколько в покровительстве, в сочувственном понимании и, если требуется, в прощении.

Так для любящих родителей пусть и вполне взрослые сын либо дочь, даже если они и сами давно уже люди семейные, а также независимо от степени удачливости в жизни, все едино остаются в известном смысле малыми детьми, по-прежнему нуждающимися в родительской опеке...

В русском языке уменьшительно-ласкательных суффиксов не два-три, а множество. Для первого знакомства с их разнообразием обратимся хотя бы к близким каждому понятиям, определяющим степень родственных отношений между людьми.

Любимую мать можно называть нежно по выбору: “мамочка”, “мамонька”, “маменька”, “маманька”, “мамаша”, “мамашенька”, “мамашка”, “мамуля”, “мамуленька”, “мамулечка”, “мамушка”; отца – “папочка”, “папенька”, “папуля”, “папулечка”, “папуленька”. “папаша”, “папашка”, “папашенька”, “папашечка”, “бятенька”; дочь – “доченька”, “дочушка”, “дочурка”, “дочечка”, “дочурочка”; сына – “сыночек”, “сыночка”, “сыниска”, “сынуля”, “сынулька”, “сынулечка”, “сынуленька”; сестру – “сестренка”, “сестрица”, “сестричка”, панибратски – “сеструха”; брата – “братик”, “братец”, “братишка”, “братишечка”, “братушка”, “брательник”, “братан” и “братуха”.

Свой особенный набор суффиксов и у каждого из собственных имен, как мужских, так и женских; Ванюша, Ванюшка, Ванюшенька, Ванюшечка, Ванек, Ванятка, Ванечка; Мишенька, Мишутка, Мишуля, Мишулька, Мишуленька, Мишатка; Вовик и Вовочка; Галочка, Галенька, Галинка, Галюша, Галюшенька; Павлик, Павлуша, Павлушенька; Верочка, Веронька, Верунька, Верушка...

Народное добросердечие бесконечно. Оно готово, кажется, распространяться на все и вся, независимо от одушевленности либо неодушевленности предмета речи. Очень немного отыщется в русском языке таких понятий, по отношению к которым невозможно было бы речевыми средствами выразить свою умиленность или сострадание. Сплошь и рядом проявляется эта особенность речевого строя россиян в фольклоре, в частности в пословицах и поговорках.

Ни запорца, ни подворотенки.

Заплаточки с лоскуточками беседуют.

Сошка сошенька, золотые роженки!

Хорошулька на водульке, дурнышка на яичках.

У нас девушки растрепушки, молодушки в-
ронушки, ребяташки галченятушки, старушечки
горбушечки.

Только у молодца и золотца, что пуговка оловца.

Свой глазок - смотрок.

Ныне гуляшки и завтра гуляшки - находишь-
ся без рубашки.

Девушка не травка, не вырастет без славки.

Своим умком - своим домком.

Умереть, не в помирушки играть.

Были бы побрякунчики, будут и поплясунчики.

Сам шатун, дети пошаточки.

У всякой избушки свои поскрыпушки.

Блошка банюшку топила, вошка парилася, с
полка ударилася.

Ой-ой-ошеньки! болят боченьки; бока болят, а
лежать не велят.

Купчик голубчик - деньголупчик (деньгу лу-
пит).

Любовь да совет - так и нуждочки нет.

Нивка, нивка, отдай мою силку.

Нет лучшей игры чем в переглядушки.

Гореленько, пекленько, солоненько, вкусненько, холодненько, кисленько (*русский стол*).

Оказывается, даже такие неудобные по своей громоздкости либо в силу отвлеченности заключаемого смысла слова, как “подворотня”, “переглядка”, “слава”, “нужда”, “сила”, при желании поддаются уменьшительности. Многие пословичные ласковости кому-то могут даже показаться чересчур смелыми: “добычка”, “неволькой”, “норовок”, “раздумице”, “уговорец”, “невзгодка”, “вприпадочку”... Но ведь и в русских былинах, перенасыщенных уменьшительностью, находим немало удивительного: “ле-сушки”, “питьице”, “раночки” (от “рана”), “людушки”, “утрушко”... Вообще уменьшительность - характерная и очень важная составная колорита всех жанров народного художественного творчества.

Создавая знаменитого своего “Конька-горбунка”, его талантливый автор П.П. Ершов очень многое перенял из старинных русских народных сказок, песен, былин, пословиц. Не обошел он вниманием и удачно применил в тексте “Конька-горбунка”, в частности, специфический набор присущих нашему фольклору изобразительных средств. Так, на вооружении автора в изобилии оказались уменьшительно-ласкательные суффиксы. В сказке П. П. Ершова находим: “что есть мочушки ревет”; “это службишка, не служба”; “светик”; “хлопнул гривкой” и такой вот умильный пассаж:

Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет...

Интересно, что Пушкину вообще не было свойственно увлекаться в своем творчестве уменьшительно-ласкательностью, - если, конечно, оставить в стороне его “Сказки”. Но вот в стоящей особня-

ком иронично-игривой поэме “Домик в Коломне” он использовал этот прием с нарочитым постоянством. Там мы найдем “хороводец”, “вершинки”, “чепчик”, “голубицу”, “косыночку”, “резвущку” и “красотку”, “лесок” и “вечерок”, “лачужку”, “старушек”, “минуточку”, “зеркальце”, “вдовушку”, “юбочку”, ну и, разумеется, “ручки” и “ножки”.

Стихотворение Марины Цветаевой, озаглавленное “Ахматовой”, целиком построено по законам фольклора. Изобилует оно и суффиксами уменьшительно-ласкательности. Но в особенности изобретательна Цветаева в обращениях непосредственно к своему адресату.

Кем полосынька твоя
Нынче выжнется?
Чернокосынька моя!
Чернокнижница!

Дни полночные твои,
Век твой таборный...
Все работнички твои
Разом забраны.

Где сподручники твои,
Те сподвижнички?
Белорученька моя,
Чернокнижница!

Не загладить тех могил
Слезой, славою.
Один заживо ходил –
Как удушенный.

Другой к стеночке пошел
Искать прибыли.

(И гордец же был - сокол!)
 Разом выбыли,

Высоко твои братья!
 Не докличешься!
 Яснооконька моя,
 Чернокнижница!

А из тучи-то (хвала –
 Диво дивное!)
 Соколиная стрела,
 Голубиная...

Знать, в два перышка тебе
 Пишут тамotka,
 Знать, уж вскорости тебе
 Выйдет грамотка:

- Будет крылышки трепать
 О булыжники!
 Чернокрылонька моя,
 Чернокнижница!

“Чернокосынька”, “белорученька”, “яснооконька”, “чернокрылонька” - все ласковые эпитеты словно почерпнуты из глубин русского фольклора.

Зная эту пленительную особенность истинно народной речи, даже самый придирчивый читатель сможет уже без подозрительного недоумения и досады принимать такие новообразования Владимира Маяковского, как “плевочки”, “осочки”, “покорненько”, “плачики”, “лонце”, “канареица”, “с ложкицы”, “пламечко”, “тысячка”, “с балконца”, “мненьице”, и массу им подобных, рассыпанных во множестве по его стихотворениям и поэмам. Ведь в том нет ни малейшего противоречия исконной народной традиции!

Не менее смелые образы можно встретить в поэзии Бориса Слуцкого.

Своим стильком плетения словес

Не очарован я, не околдован.

У Слуцкого же находим неожиданно-сострадательное определение инвалида:

Безногий мальчишка, калечка...

Пристрастное отношение к уменьшительно-ласкательным суффиксам обнаруживается и у ряда нынешних поэтов, чье творчество глубоко проникнуто духом не показной, а истинной народности, подлинной русскости, если можно так выразиться, К их числу несомненно принадлежит и земляк автора этой книги, пскович Игорь Григорьев. У старшего моего друга-поэта имеется такое, например, показательное четверостишие:

Без жаленья, без оглядки,

Без возвратушки...

Неотпразднованы Святки

К нам во вратушки!

У него же - другие нестандартные уменьшительности: “звездинка за звездочкой прячутся звезды” и “ух ты, ухоньки”. Последнее выражение находится в полном ладу с народными “ох-охонюшки”, “аханьки да оханьки”, “хиханьки и хаханьки”, в которых остроумно задействованы уменьшительные междометия.

Золотые россыпи уменьшительно-ласкательности, так свойственной русской речи, поражают беспримерной всеохватностью. Примеров с именами существительными, думается, по самому ходу изложения приводилось уже предостаточно. И все-таки обратимся к творчеству еще одного мастера-современника - Евгения Носова.

У него в рассказах и повестях можно встретить такое: “тракторок”, “молнийки”, “костерика”,

“по холмушкам”, “стропильца”, “дровца”, “бодрым бежком”, “инфарктик”, “костыликом”, “напевенкой”, “посевичик усов”. Из произведения в произведение кочуют излюбленные построения: “с сипотцой”, “с гордецой”, “с галдецей”, “с бодрецой”, “со старческой хрипотцой”, “с вязкой мокрецей”, “с краснинкой”, “с юродинкой”, “без нахалинки”,

Что касается имен прилагательных, то превращать их в уменьшительно-ласкательные проще простого. “Милый- миленький”, “молодой - молоденький”, “малый - маленький - малюсенький- - малешенький - махонький” обыкновенны и привычны в нашей речи - как устной, так и письменной.

Не в пример седой старине в нынешнее время остаются почему-то в загоне уменьшительные формы прилагательных кратких - “младшенок”, “беленок”, “худенок”, “богатенок”, “здоровенок”. А посмотрите, сколь дивно расцветивают они драгоценное пословицное наследство, оставленное нам нашими далекими предками!

Молоденек - зеленек.

Яство сладенько, да ложка маленька.

Личиком беленок, да умом простенок.

Великонек, да плохонек; а маленек, да умненек.

Миленек - и не умыт беленок.

Родился малешенок, вырос глупешенок.

Моя девка умнешенька, прядет тонешенько, точёт чистешенько, белит белешенько.

Без труда поддаются уменьшительности многие наречия, в первую очередь те из них, что произведены от качественных прилагательных. Но не только они: “пешком - пешочком”, “посередке - посередочке”, “втихомолку - втихомолочку”, “боком - бочком”, “вволю - вволюшку”, “спозаранку - спозараночку” и такие экзотические, как “там - тамоч-

ка” и “тут - туточки”. Нередко вылетает из наших от-
важных уст бодрое “отличненько”.

У наречия “легко” сразу два варианта уменьши-
тельности в запасе: “легонько” и “легонечко”; у “рано”
и “тихо” - даже по три: “раненько - ранехонько - ране-
шенько”; “тихонько - тихонечко - тихохонько”. Пос-
леднее памятно большинству из нас по известному сти-
хотворению В.А. Некрасова “Зеленый шум”:

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят...

В зависимости от собственного сиюминутно-
го настроения или каких-нибудь внешних обстоя-
тельств мы вольны также сказать на выбор: “ут-
ром” - или “утречком”, “вечером” - либо “вечер-
ком”, а то и “вечерочком”, как в популярной в не-
давние еще времена эстрадной песенке:

Встретишь вечерочком
Милую в садочке -
Сразу жизнь становится иной.

“Мало - маленько - маленечко”, “много - многова-
то - многонько”, “немного - немножко - немножечко”,
“столько - столечко”, “/ни/сколько - /ни/сколечко”, “только
- толечко” (вспомните у Маяковского - “А Марките то-
лечко моргните...”), “чуть - чуток - чуточку - чутеньки”...
Подобные словесные цепочки можно приводить, как го-
ворится, пачками!

И даже ироническое “впередик” в одной из
журнальных заметок (“Времечко” - впередик!) при
всем своем нарочитом комизме разве не является
как бы доказательством от противного - того фак-
та, что русский язык позволяет почти неограничен-
но образовывать уменьшительные формы наречий?

А вот образчики уменьшительно- ласкатель-
ных речений, относимых к иным грамматическим

категориям: местоимения - “такусенький”, “никогошеньки” и “ничегошеньки”; порядковое числительное – “первенький”; междометия - “аюшки”, “баюшки”, “батюшки” и более пространное “батюшки-светы”, “ей-богушки” (можно, оказывается, услышать в просторечии и этокое!), “спасибочко”; частицы - “ладненько” и “нетушки”.

В рассказе “Варька” Евгения Носова продемонстрирована уменьшительность, связавшая воедино целых три (!) слова: частицу, предлог и местоимение: “ни-зачтошеньки”...

И вот еще поразительный пример всеохватности, почерпнутый из письма радиослушателя: “Ниночка Степановна”. А, каково?

Однако самое, пожалуй, замечательное в своей самобытности явление связано с русским глаголом. Вчитайтесь повнимательнее в незатейливые строчки детского стишка:

Баю-баю-баиньки,
В огороде зайньки!
Зайки травоньку едят,
Деткам спатеньки велят.

На фоне общей умиленности (“баиньки”, “зайньки”, “зайки”, “травоньку”, “деткам”) неожиданное “спатеньки” звучит вполне в унисон. Так-то так, однако же слыханное ли дело - ласкательность речетворца по отношению не к предмету или его признаку, а к совершаемому действию?

С такого же недоуменного, но и явно риторического в то же время вопроса начинает свое рассуждение на эту тему писатель Алексей Югов в интереснейшей книге “Думы о русском слове”.

“Кажется, ну как можно дать ласкательный, уменьшительный вид... глаголу? А русская мать-крестьянка или нянюшка бесстрашно разрешает этот вопрос: склонясь над засыпающим или при-

хворнувшим ребенком, она говорит ему: “Спатеньки хочешь?” или “Питеньки хочешь?””.

При желании столь оригинальный словарь для общения с самыми маленькими можно дополнить другими глаголами: “гулятьеньки”, “вставатеньки”, “зватеньки” (например во фразе-вопросе, обращенном к малышу: “Как тебя зватеньки?”), “писаньки” и “каканьки”, -досконально, надо полагать, знакомыми всем без исключения нашим молодым мамам.

Разумеется (повторимся), такой словарь - не для широкого и тем более не для всеобщего пользования. Он приспособлен исключительно для общения взрослых с маленькими детьми. Но что нам-то из того? Главное - пример представляет особенную ценность как наглядное пособие по уяснению необычайной гибкости нашего родного языка и его практически безграничных потенциальных возможностей.

Еще один уникальный образчик такой потенции удалось почерпнуть в сокровищнице русского просторечия. Это глагол “здороваться”, - может, кому-либо из читателей доводилось слышать в разговоре? Уменьшительный суффикс “к” в слове сразу уничтожает присущую вообще глаголам некую эмоциональную нейтральность. Не поздороваться, а именно поздороваться можно не с первым попавшимся прохожим, а только с людьми уважаемыми; по большей части - с хорошо знакомыми, а то так даже и непременно со знакомыми добрыми. При необходимости допускается просто поздороваться и с заведомым неприятелем; но уж никак не поздороваться!

Другие глагольные формы, казалось бы, вовсе не подвержены уменьшительности. Однако вот вам пример причастия “умытьенький” из рассказа Евгения Носова “Течет речка...”:

“... - Да неужто, скажет мамка, это наш Пав-

лулька такой чистенький да умытенький? - приговаривала по другую сторону Ивицы Нюрка”.

И еще. Старинная форма деепричастий на “учи”, “ючи” - “глядючи”, “смеючись”, “умеючи” - в наше время, утерав в широте употребления, обогатилась новым подспудным качеством уменьшительно-ласкательности.

Нелишне заметить, что в старинном лексиконе уменьшительно-ласкательных словес насчитывалось навряд ли меньше, нежели в сегодняшнем. “Железцем” (от “железо”) называли, например, наши предки железный наконечник стрелы. Многие образчики незнакомой ныне уменьшительности уже знакомы читателю по приведенным ранее народным пословицам и поговоркам.

Только вот по форме своей словеса эти зачастую отличались от таковых же по смыслу теперешних. Что поделать: как видно, и на суффиксы, а не на одни лишь предметы одежды или украшения в различные эпохи существует собственная предпочтительная мода!

Так, наша сегодняшняя “козочка” оказывается на поверку прапраправнучкой древней “козицы”, а прапрапрабабушкой современной нам с вами “метелки” следует считать старинную “метлицу”. В глубоком лингвистическом прошлом затерялось уменьшительное “стадце” (от “стадо”), не говорим мы больше и “одеждица” (от “одежда”). Редко можно ныне услышать или прочесть симпатичное “путик” (от “путь”). Нашим привычным “часик” и “часок” соответствовало “часец” предков. Предшественниками нынешнего уменьшительного “топорик” были “топорок” и “топорец”. Из бывших некогда равноправными составными в парах слов “озерок” - “озерко”, “островец” - “островок”, “ле-

сец” - “лесок”, “городец” - “городок” до нас благополучно дожили только вторые варианты.

Если мы сегодня употребляем иногда ласковое название “полюшко”, причем обыкновенно - в песенно-лирическом контексте, то наши практические пращуры имели на своем вооружении обиходное “польце”, указывавшее попросту на малый размер поля. Огород-невеличка наших многочисленных теперь дачников-горожан, ограниченный скромными сотками, достоин именоваться огородиком, в то время как некогда такое угодье по справедливости заслуживало наименования – огородец. Сегодня и “огородец”, и “польцо”, как раз в самых старинных своих значениях, сохраняются лишь в некоторых областных говорах, но никак не в общеупотребительном литературном языке.

Итак, иные из уменьшительно-ласкательных конструкций прошлого можно бы отнести к потерям языка, которые неплохо было бы и возродить? Но имеются и примеры иного плана.

Обратимся к авторитету знатока русской истории С. М. Соловьева. В его рассказе о молодости будущего самодержца Петра I содержится любопытный для нас с вами факт:

“Вот первое письмо его к матери из Переяславля, когда ему было 17 лет; форма письма обычная в то время с употреблением уменьшительных уничижительных слов, как по-тогдашнему следовало писать детям к родителям: “Сынишка твой, в работе пребывающий, Петрушка, благословения прошу, и о твоем здравии слышать желаю”.

“Петрушка” рядом с “сынишкой”, по форме вроде бы ласкательные, по существу были тогда знаком уничижения говорящего либо пишущего: вот такой парадокс! Интересно, что этот господство-

вавший в России обычай ликвидировал не кто иной, как великий реформатор Петр I, как о том повествовал тот же историк С. М. Соловьев.

“...Петр возвышал и достоинство человека вообще: запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать пред царем на колени, зимою снимать шапки пред дворцом. Петр говорил: “Какое же будет различие между богом и царем, когда воздается равное обоим почтение?”.

Коль скоро разговор наш затронул старинные обычаи и правила, обратимся вновь к пословицам и поговоркам - подлинному кладезю не только народной вековой мудрости, но одновременно и речевых сокровищ.

На чужбинке, словно в домовинке (*и одиноко, и немо*).

Ерофеич (имеется в виду, конечно, не человек с таким отчеством, а спиртовая настойка под таким необычным названием. - В. К.) часом дружок, а другим вражок.

Странное впечатление оставляют по себе эти две народные пословицы: ведь уменьшительно-ласкательностью наделены в них понятия с явственно отрицательным смыслом! Нелегко нам примириться с самой возможностью такого видимого благодушия по отношению к злой разлучнице - чужбине, знаку ухода человека в мир иной домовине (гробу), наконец к ненавистному врагу... И добро бы то были единичные исключения в нашем обширнейшем фольклоре, но в действительности - ничего подобного.

Читаем дневниковую запись Льва Толстого, помеченную 23 января 1902 года.

“Чудные стихи:

Зачал старинушка побряхтывать,

Зачал старинушка покашливать,
 Пора старинушке под холстинушку,
 Под холстинушку да и в могилушку.

Что за прелесть народная речь! И картинно, и трогательно, и серьезно”.

Картинно? Да, вне всяких сомнений. Для истории болезни фольклорного персонажа - старинушки найдены доходчивые в своей простоте и убедительности определения,

Трогательно? Ну еще бы: ведь в четверостишии рассказывается не о каких-нибудь преходящих пустячках, речь в нем - о самой жизни и смерти человека!

Серьезно? Серьезнее и быть не может. Здесь мы встречаемся с совершенно особенным, философическим отношением наших пращуров к любым проявлениям человеческого бытия, не исключая и наиболее горькие из них, - как к некоей закономерной неизбежности. Законы же природы опротестовывать не только бесполезно, но даже кощунственно!

Отсюда - полное отсутствие в стихе какого-либо душевного надрыва, жалоб на судьбу немилостивую, а тем более бунтарства, уступивших место спокойному повествовательному, примирительному тону. Отсюда же и равно благожелательные “старинушка”, “холстинушка” (подразумевается саван - одежда мертвецов) и сама венчающая всякое земное существование, но отнюдь не жуткая и проклинаемая “могилушка”...

Пословичные “чужбинка”, “домовинка” и “вражок”, а также общеизвестное фольклорное “смертушка” зародились в недрах все той же народной философии,

В отношении к понятиям, обозначающим непримиримые, казалось бы, и взаимоисключающие крайности, проявилась необычайная широта рус-

ской души. Добросердечие к богу, например, - естественно, оправданно и ни в каких пояснениях не нуждается. А потому никого не может смутить умиленное обращение к нему – “боженька”. Но почему точно так же беззлобны и мягкосердечны по оформлению слова “чертик”, “чертенок”, “чертушка”, даже - в определенном контексте – “чертяка”, а вместе с перечисленными обозначениями и синонимичный им “бесенок”, и “дьяволенок”?..

Может быть, разгадать загадку помогут строки из “Песни о Руси” Игоря Григорьева?

В жарком сердце столько вьюжного,
В строгом лице добродушного –
Не постичь, не разгадать.

Как убеждаемся, загадка остается неразгаданной... Думается, именно об этом парадоксе национального мышления, хотя и в несколько иной плоскости, писал в романе “Герой нашего времени” М. Ю. Лермонтов.

“Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает невероятную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения”,

ЕДИНОУТРОБНЫЕ ЧУЖАКИ

Умненькой головке трехлетней Танюши уже доступны кое-какие причинно-следственные связи в общественной жизни. А иначе как же смогла бы она додуматься до такого смелого утверждения:

- Мы ходим на прогулку, - мы п р о г у л ь щ и к и !

Танина сверстница ей в сообразительности ничуть не уступит. Она вот только что, сию мину-

ту, с превеликими усилиями и старанием распутала неподатливую веревочку и теперь объясняет на радостях всем при том присутствовавшим:

- Мама, я такая р а с п у т н и ц а!

И еще один пример прелестной детской логики из всего множества их, собранных в книге писателя Корнея Чуковского “От двух до пяти”:

- Бабушка! Ты моя лучшая л ю б о в н и ц а!

Конечно же, словотворчество малышей научно. И все-таки оно заслуживает не только снисходительной улыбки взрослых дядей и тетей. Впору всерьез призадуматься над удивительным языковым явлением: от одной и той же основы могут, оказывается, рождаться понятия противоположного свойства, как безусловно положительные, так и резко отрицательные. Не кроется ли за этим нечто большее, чем простая случайность? Вот ведь и в популярной нынче песне Вячеслава Добрынина уже не дитя малое, неразумное, а вполне зрелый лирический герой сокрушенно сетует на непонятную ему лингвистическую двойственность:

Но и горькое слово “любовники” -

От медового слова “любить”...

Медовое слово, увы, произвело на свет не одних только клейменых суровой общественной моралью близнецов - “любовник” и “любовница” (а в милом нашем просторечии тот и другой купно именуются полюбовниками). На его нечистой совести также “прелюбодеяние” - понятие, определившее собою один из смертных библейских грехов человеческих.

А наряду с тем - какая поистине блистательная свита родичей с обратным эмоциональным знаком: “любимый” и “любезный”, “любящий”, “любой”, “любование”, “любимчик” и “любимец”, “любител”

и “любительский”, “любушка” и “излюбленный”” “возлюбленный”, “любовно” и “полобовно” плюс к ним масса словосложений с тем же корнем - “любвеобильный”, “любознательность”, “любопытство”, “книголюб”, “человеколюбие”, “любо-дорого”...

Надо сказать, что в старину речений второго профиля было ничуть не меньше нынешнего. Заслуживают упоминания хотя бы некоторые из тех, что вовсе не знакомы нашему современнику: “любеник” (возлюбленный), “любимик” (любимец), “любленик” (друг), “любление”, “любивый” (любящий, благосклонный; милосердный; склонный, пристрастный). Это самое “любивый” - ключ к наилучшему пониманию родословной сложных слов “самолюбивый”, “себялюбивый”, “вольнолюбивый”, “правдолюбивый”, “женолюбивый” и им подобных.

Старинная поговорка “Кому село Любово, а кому горе лютое” четко разграничивает положительное понятие “любый” и отрицательное “лютый”. А между тем слова эти, по авторитетному мнению исследователей-языковедов, исходно и близко родственны. Родство основывается на общем древнейшем содержании - “возбужденный”. Уместно пояснить в этой связи, что в старину “лютый” было словом куда более многозначным: это и “дикий, свирепый”, и попросту “злой”, и “жестокый”, и “трудный”, и “рьяный”, и “постыдный”, и “вредный”. И отнюдь не все из этих значений можно засчитать в безоговорочно отрицательные.

Подобных кажущихся несуразностей в родном языке немало. Например, со словами “благо”, “блаженство” связаны эмоции самые приятные, чего никак не скажешь о существительном “блажь”, глаголе “блажить” и, отчасти, о прилагательном “благой”, поскольку оно имеет как бы два лица: “добрый” (отсюда сложные слова “благочестие”, “бла-

гоговорный”, “благоухание”, “благородство”, “благоразумие”, “благосостояние”, “благотворительность” и т. д.) - и “недалекий, туповатый”.

А благому дураку
Недостанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки, -

убежденно рассуждают умные братья Ивана-дурака в сказке П. П. Ершова “Конек-горбунок”.

“Не блажи” (то есть “не дури”) - читаем в комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума”. А вот строка Владимира Маяковского, который использовал часто употребляемое в народе выражение: кричать “благим (а не просто) матом”. В этом случае “благой” равнозначно слову “громкий”.

Просторечное “блажной” означает “взбалмошный, неуравновешенный”, что, согласитесь, не очень-то лестно для адресата. А вот прилагательное “блаженный” имеет два абсолютно расходящихся смысла - “невозмутимо счастливый” и... “глуповатый”.

“Мразь”, “мерзкий”, “мерзавец” - с одной стороны. “Мороз”, “изморозь”, “морозильник”, “мороженое” - с другой. Невзирая на различную эмоциональную окрашенность, мы те и другие слова справедливо числим родственниками по происхождению.

Приблизительно в таком же соотношении пребывают понятия “стыд”, “стыдиться”, “стыдоба”, “постыдный” - и “студить”, “простуда”, “студень”: все это слова одного корня. “Брань славна, луче есть мира студна” - из этой летописной фразы явствует, что в древности “стыд” и “студ” еще не размежевались в смысловом отношении. С точки зрения предков вполне правомерно употребление слова “стыдь” в значении “стужа”. Подспудно мы это родство продолжаем ощущать и сегодня, а потому не так уж чтобы очень режет нам слух строка

из стихотворения Эдуарда Багрицкого “Арбуз”:

Не пить первача в дорассветную стыдь...
хотя сами-то в общении между собою сказали бы
“стынь”.

Мы вправе отозваться с похвалой, даже с восхищением об умелом танцоре: “вот лихо сплясал!” (то есть с огнем, задором, молодецки) и - “на лихом коне” (значит, на резвом). “Залихватская песня” - удалая, разгульная: тоже не хула, а скорее похвала. Но ведь “лихо” равнозначно слову “зло” или слову “беда”, и недаром же эта основа породила столь многочисленную дурноосмысленную поросль: “лихоманка” и “лихорадка”, “лихоимство”, “лиходей”, “лихолетье”... В старину лихими людьми аттестовали разбойников и грабителей с большой дороги. И как не припомнить дожившее до наших дней “не поминайте лихом”!

Двоесмыслием отмечены и производные от глагола “клясть(ся). “Клятва”, “клятвенно”, даже “заклинание” находятся как бы по одну сторону раздельной баррикады, а слова “проклятия”, “заклятый”, просто “клятый” и “проклятый”, “проклятуший” - по другую (“Распроклятая ты мошка!” - помните по сказке А. С. Пушкина о царе Салтане?).

В виршах XVII столетия, принадлежащих перу небезызвестного в истории отечественной Симеона Полоцкого, неожиданно натываемся на несообразность, которая даже читателя неприхотливого способна сбить с панталыку.

Срам честный лице девы украшает...

Ну, во-первых, с каких это пор срам стал честным? А во-вторых, уж что-что, но никак не срам может украсить милое девичье личико!

Недоразумение разрешается просто. Во времена Симеона Полоцкого слово “срам” имело не

одни только знакомые и привычные нам значения “позор” и “оскорбление”, но и вполне благоприличный смысл: “стыдливое смущение”. Так что дева из виршей ничем себя не осрамила, она была стеснительной, как и положено любой девушке юных лет.

Положительный смысл слова затерялся во тьме веков, и слово таким образом превратилось в однозначно бранное.

Еще одну лингвистическую загадку загадывают нашему современнику речения с общим корнем “чуд”.

Открыв словарь, мы найдем в нем, во-первых, целый ряд слов с безоговорочно положительным смыслом. Это “чудо”, “чудный” (“Я помню чудное мгновенье...” у А. С. Пушкина), “чудом” (уцелел, спасся), “чудесно”, “чудотворный”, “чудодейственный”. Имеются также как бы среднезначные слова: они предполагают некоторую неопределенность эмоционально-смыслового статуса или отклонение от нормы, однако не злостное, а скорее вызывающее удивление. Это “чудной” и “причудливый”, “причуда” (равнозначное “капризу”, “блажи”), “чудак”, “чудило”, “чудик”, “отчудить”, “чудачество”, “чудаковатый”, “причудиться” и “почудиться”. Но невероятным образом сосуществуют в русском языке со всеми предыдущими и слова с откровенно устрашающим содержанием: “чудище”, “чудовище”, “чудовищно” и “чудовищный”.

Для того чтобы мало-мальски разобраться в первоисточках смысловой двойственности, обратимся в первую очередь к историческим свидетельствам.

Объясняя русское наименование северной народности - чуди (память о ней сохраняет в своем названии Чудское озеро), выдающийся российский историк В. О. Ключевский писал следующее:

“То же впечатление мирного и уступчивого племени финны произвели и на русских. Древняя Русь все мелкие финские племена объединила под общим названием чуди. Русские, встретившись с финскими обитателями нашей равнины, кажется, сразу почувствовали свое превосходство над ними. На это указывает ирония, которая звучит в русских словах, производных от коренного чудь - чудить, чудно, чужак и т. п.”

Любопытное рассуждение, не правда ли? Хотя вряд ли оно охватывает все планы далеко не простой проблемы. И потому очень важное значение приобретает свидетельство, которое содержится во вводной статье С. Я. Серова “Великая поэма Севера”, предпосланная к одному из многих изданий замечательного карело-финского эпоса “Калевала”.

“То, что в “Калевале” Похьёла отождествляется с исторической Лапландией, кстати, говорит лишь о том, что в то время, когда были записаны руны, у большинства певцов и их слушателей преобладало такое представление. Лапландские колдуны были знамениты не только среди соседей-карел, но и в России. После убийства Лжедмитрия I, - когда объявились следующие самозванцы, по Москве ходили слухи, что Гришка Отрепьев воскрес, так как был колдун, а чародейству выучился “у лапонцев”. Впрочем, и карельские колдуны на Руси пользовались не меньшей силой (в “Калевале”, кстати, их заклинания сильнее похьёланских). Курбский объяснял жестокость Ивана Грозного тем, что тот родился при помощи нечистой силы: его отец “Василий с законопреступною женою, юною сущюю, сам стар будучи, искал чаровник презлых отовсюду, да помогут ему к плодотворению... О чаровниках же оных так печашася, посылающий по них тамо и овамо, аж до Корелы... и оттуда прово-

жаху их к нему”.

Добавим к этому, что первоначальной фонетической формой слова “чудо” было “кудо”, породившее такие слова, как “кудесник” (чародей, колдун), “кудешский” (суеверный, языческий), “кудити” (хулить, а также оскорблять или портить).

Связь с колдовством, чарами многое объясняет. Ведь и такие понятия, как “очарование” (первоначально – колдовство), “волшебный” (от “волхв” - колдун), “обворожительный” (от “ворожить”, колдовать), “обаяние” (первоначально - колдовство с помощью слов), претерпели почти такую же трансформацию во времени, как и “кудо” в “чудо”. В результате произошло позднейшее переосмысление.

После всего сказанного уже не могут вызывать недоумения такие порождения древней основа, как “чудовище” и “чудовищный”. Гораздо более мотивированными предстают в итоге и слова, так сказать, среднего ряда - “чудить”, “чудесить”, “чудик”, “чудачество”.

Переосмыслению подверглось со временем и старинное речение “прельстити”. Этот глагол был некогда что называется с двойным дном: в ряду его прежних значений были “обмануть”, “обольстить”, но и просто “увлечь” - тоже. Из курса отечественной истории мы хорошо помним “прелестные письма” вождей крестьянских восстаний, В восприятии властей предержавших это были не блещущие стилем, а именно “обманные письма”, обольщавшие темный народ безрассудными посулами.

Как ни покажется странным, значение слова - “обмануть”, бывшее некогда заглавным, постепенно отошло в тень, воскресая порою лишь в редких контекстах. На первый же план вышло второе, подсобное значение - “увлечь”. И когда сегодня мы

с вами произносим: “Что за прелесть!” или “Ах, какая прелестная кофточка!” - то выражаем искреннее восхищение, отнюдь не помышляя ни о каком обмане или шарлатанстве...

А разве может не впечатлять воспринимаемая нами ныне как большая неожиданность родственная близость таких далеко разошедшихся понятий, как “диво”, “дивиться”, “удивлять(ся), с одной стороны, и “дикий”, “дикость”, “дикарь” и “дикарский” - с другой? Интересно, что насельники современного словаря - “диговинка” и “диговинный” - единственная зримая связь двух вышеназванных групп речений. Они сумели сохранить в чистоте свой старинный смысл. Это своего рода пуговина, исходящая от перво-родного, общего для “див”=“дик” значения. Диалектика вкратце такова: все, что не походит на знакомое и привычное, - дико и удивительно.

Несмотря, впрочем, на состоявшийся давным-давно развод, некоторые употребительные и сегодня разговорные выражения словно бы исподволь намекают на былое смысловое единение понятий “дивный” и “дикий”: “Мне это кажется диким”; “Что за дичь он несет!”. Стоит начать вдумываться в смысл названия животного “дигообраз” (первоначально - “дигообраз”), как станет яснее ясного, что наши предки прозвали его не за непринадлежность к домашним, а за странный, удивительный внешний облик.

Как нельзя лучше демонстрировало в старину единство противоположностей слово “живот”. Оно имело немало значений, среди которых главным было “жизнь”. Но могло обозначать и... “смерть”. Расхожее в древности выражение “по животе” переводится на современный лад как “по смерти”. В договорной грамоте 1386 года утверж-

далось нерушимое обязательство: “сдержати крепко и до своего живота, а не изменить”. Здесь “до своего живота” - “до самой смерти”.

Этот смысловой разнотык исчез впоследствии вместе с бывшим значением слова “живот” - “жизнь”. А вот глагол “поразить” по-прежнему благополучно сохраняет два мало стыкующихся смысла: “разбить, победить” и “произвести сильное впечатление, удивить, изумить”: “поразил врага”; “поразил воображение”, “поразил своим искусством”.

При потрясающей многозначности слов, характерной для русской древности, как было ей не соединять в себе единовременно доброе и злое начала! Таковы же и понятия, образованные на основе “ужас”: они взяты из словаря древнерусского языка.

Ужасный - изумительный; сильный, великий; приведенный в негодование.

Ужасивый – изумительный.

Ужасатися – приходить в ужас, в страх; трепетать, благовейно (! – *В.К.*) устрашаться; поражаться, изумляться.

Ужаснутися – ужаснуться; быть пораженным; изумиться; волноваться, быть возбужденным.

Ужастивый – робкий, пугливый; устрашающий.

Ну что, скажите, может быть общего между великим и волнующим, изумительным и страшным, пугливым и негодующим?..

Такой колоссальный разброс значений одного слова позволял употреблять его в столь же разноплановых контекстах. Например, российский поэт В. А. Жуковский так представлял Кавказ своим читателям:

Ужасною и величавой
Там все блистает красотой...

Красота величаявая сомнений у нас не вызывает, что же до красоты ужасной, то, как принято говорить в интеллигентном кругу, уж извините...

Соединение несоединимого по законам сугубо формальной логики можно усматривать сегодня и у А. С. Пушкина в его поэме “Полтава” - в динамичном описании появления царя Петра перед русским войском накануне решающей битвы со шведами:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как божия гроза.

Как и у Жуковского, здесь тоже сочетаются противоположные понятия “ужасен” и “прекрасен”. Как там, так и здесь и речи не может быть об авторской обмолвке. “Ужасен” подразумевает не один только страх (а если страх - то непременно благоговейный!), но и силу, величие, а также естественное волнение, возбуждение, эмоциональный подъем перед судьбоносным для молодой России сражением.

Не случайно, думается, и пушкинское сравнение с божией грозой - величественным небесным явлением, отношение к которому русского человека, совсем не однозначное, хорошо прослеживается в народных пословицах и поговорках.

Гроза - милость божья (*в прямом и переносном смысле*).

Божий огонь (*пожар от грозы*) грешно гасить.
Умер от воли божьей (*от грозы*).

Между прочим, таким же двойственным пребывало и отношение простонародья к самодержавной царской власти.

Грозно, страшно, а без царя нельзя.

Близ царя - близ смерти.

Но и в то же время: Близ царя - близ чести.

Сконцентрированная в пословичном наследстве многовековая народная мудрость и вообще-то представляет собою подлинную выставку диалектических подходов ко всему многообразию жизненных явлений.

Нет худа без добра.

Где гроза, тут и ведро.

Всякая вещь о двух концах.

Из одних уст клятва и благословение.

Одни глаза и плачут и смеются.

И смех и грех. И смех и горе.

Ни печали без радости, ни радости без печали.

Из одного дерева икона и лопата.

А теперь, читатель, сопоставьте эти народные афоризмы с набором стихотворных цитат, которые покамест пусть останутся анонимными: “Как сладко вместе быть! Как страшно сесть с ней рядом!”; “Дивно и жутко - уйти в запредельность”; “Из черных глыб я белое кую”; “Я люблю тебя, дьявол, я люблю тебя, бог”; “Колдунья взглянула так страшно-светло”; “Правдивый возник в нем обман”; “Был страх в них, была в них любовь”; “Прекрасные чудовища Китая”; “Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений!”.

Народ - поэт. Чувствуете, какова между ними перекличка? Ну а теперь настало время раскрыть аноним: все стихотворные цитаты извлечены из произведений русского поэта Константина Бальмонта.

Наиболее же полно, как кажется, Константин Бальмонт выразил основу своего жизневосприятия в стихотворении, озаглавленном “К людям”.

Я понял, но сердцем, - о нет, не умом,

Я знаю, что радостен царственный гром,

Что молния губит людей и зверей,

Но мир наш вдвойне обольстителен с ней,

Мне нравится все, что земля мне дала,
Все сложные ткани и блага, и зла.

Заключением этой главы пусть будет великолепный анализ роли многозначия русских слов, сделанный В. В. Одинцовым в книге “Лингвистические парадоксы”.

“Нелогичного же, странного, противоречивого в языке много. И чем дольше размышляешь, тем тверже убеждение, что эта нелогичность имеет смысл.

В самом деле, возьмем обычное, ничем не примечательное слово глухой. Что оно означает? Так говорят о человеке, полностью или частично лишенном слуха. Например: Старик ничего не слышал: он был глух. Но то же слово можно употребить и в другом смысле: глухой голос, т. е. “незвонкий”. Мы говорим, глухая тайга, т. е. “дикая, сплошь заросшая”; глухая деревня, т. е. “находящаяся вдали от населенных мест, от промышленных центров”; глухая стена, т. е. “сплошная, без проломов, проходов, без всяких отверстий”; глухая полночь, т. е. “время суток, когда все замирает, затихает”. Кроме того, можно сказать глух к добру, глухое недобольство, глухой согласный и др.

Если вы полистаете толковый словарь русского языка, то увидите, что большинство слов имеет несколько значений, например: глагол идти - двадцать пять, слово рука - восемь, бить - одиннадцать и т. д.

Было бы лучше, если бы каждое слово имело только один, строго определенный смысл? Тогда вместо одного слова идти пришлось бы запоминать двадцать пять слов, а со временем, возможно, и больше, вместо слова глухой - пятнадцать-двадцать слов. Но главное - язык лишился бы своей гибкости. Язык утратил бы свою образность (возьмите хотя бы выражение глухая полночь), свои яркие краски, свою душу. Жизнь сложна, протививо-

речива, изменчива. Смог ли бы отразить ее жестко регламентированный язык?

Думается, что на это способен только естественный язык, “живой как жизнь”.

ИЗ СЛОВАРЯ ЛЮДОЕДКИ ЭЛЛОЧКИ

С Эллочкой Щукиной, дамой отнюдь не отталкивающей наружности, но мыслящей до невероятия примитивно, желающие могут свести более основательное знакомство в двадцать второй главе сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Глава носит название ироническое: “Людоедка Эллочка”. Собственно, с исчерпывающей авторской характеристики мыслительных способностей дамы-оригиналки глава и начинается.

“Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени “Мумбо-Юмбо” составляет 300 слов.

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка”...

И далее в романе следует коротенький, как овечий хвост, реестр Эллочкиных излюбленных речений, в каковом замечательном реестре под номером шестым обозначено, в частности, нижеследующее:

“б. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: “жуткая встреча”)

Смешно? Да как сказать... Хотя и не без основательной причины говорится, что, дескать, “смеяться, право, не грешно..”, однако же тут случай, несколько выходящий за общепризнанные рамки:

охотнику вдоволь попотешаться над глуповатой “людоедкой” поневоле придется в одну компанию с нею зачислить и... себя самого!

Да-да, не противьтесь: точно так же, или почти так же, как Эллочка, выражаемся и мы подчас в своих будничных разговорах, не замечая того и тем более не придавая тому какого-нибудь особенного значения.

Но вытекает ли из сего непреложного и прискорбного, как кажется, факта, будто нам с вами надлежит задним числом совеститься и, уподобляясь нашалившему ребенку, заверять во всеуслышанье: “Простите, бога ради, я больше не буду”?

Давайте послушаем, что поведает нам по означенному поводу наш консультант В. В. Одинцов, автор занимательной книги для учащихся старших классов средней школы “Лингвистические парадоксы”.

“Часто мы слышим выражения ужасно хорошо, страшно красивая и, если вдруг спохватываемся, начинаем рассуждать: как же это может быть - страшная и вдруг красивая? Можно было бы посмеяться над явной нелогичностью этих выражений, если бы мы не встречали их в произведениях признанных знатоков русского языка, у наших мастеров слова”.

Как видим, В. В. Одинцов тоже мужественно отказывает себе в праве весело посмеяться над неуклюжими речевыми оборотами. Но делает он это по собственной веской причине. В его рассуждении отчетливо прослушивается сожалительная нотка: дескать, как ни печально нарушение стройной грамматической логики, приходится на сей раз с таковым смириться, поскольку нарушение это - вот же незадача какая! - освящено высокими авторитетами...

Авторитеты и впрямь наивысочайшие. Например, в комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума” читаем: “и весело мне страх”, “похорошели страх”; у М.Ю. Лермонтова в “Герое нашего времени” - “Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку”, “ужасно покраснела”, “ужасная грусть”, “мои дела ужасно подвинулись”, “ей ужасно странно”, “ужасно волочился”; у С. Т. Аксакова - “зеленело страшное количество капусты”; у Н. В. Гоголя в поэме “Мертвые души” - “блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный”, “смерть люблю тебя!”; у Н. С. Лескова - “Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц”.

Если представленного обилия примеров кому-либо покажется недостаточно, в дополнение можно мобилизовать цитаты из писем и статей: Л. Н. Толстого - “Мне ужасно хочется писать”; А. П. Чехова - “Чертовски удался”, “Ужасно хочется знать сущую правду”, “Пьеса ужасно странная”, “Страшно расстроены нервы”, “Страшно вру”, “Крым нравится ужасно”, “Ужасно легко думать, что именно напишешь”.

И даже в проникнутых лирической грустью и нежностью стихотворениях персидского цикла Сергея Есенина свила-таки свое гнездо вездесущая однорядная конструкция:

Там, на севере, девушка тоже,

На тебя она страшно похожа...

Однако, как ни высок авторитет именитых российских прозаиков и поэтов, еще того важнее отчетливое понимание, что все они более чем послушно следовали исконной народной традиции. Эта традиция давным-давно и безо всякого участия в том нашей официальной грамматики узаконила “противоестественные” речевые обороты.

В сказке П.П. Ершова “Конек-горбунок”

Иван-дурак так высказывается о поразивших его воображение жар-птицах: “Неча молвить, страх красивы!”; вторит ему в этом отношении и сам царь, который, отмечая напрочь жеманные условности этикета, напрямую обращается к Царь-девице с таковыми не прилаженными словами: “Страх жениться захотелось...”.

Русское ухо издавна обзавелось своего рода иммунитетом, не воспринимая подобные разговорные выражения как нелепость. Потому, вероятно, писателю-сатирику Михаилу Зощенко и понадобилось в рассказе “Царские сапоги” заново онелепить, что ли, приевшуюся формулу путем подстановки воистину смехотворного в контексте словечка “очень”: “Поглядел я сапоги. Очень мне ужасно понравились”.

“Очень” и “ужасно” потому и кажутся несовместимыми, что по сути являются... синонимами! Обратимся к статье Ю.Л. Воротникова “Страшно ли “страшно красиво”?”, опубликованной в журнале “Русская речь” №3 за 1987 год.

“Толковые словари современного русского языка фиксируют у прилагательных страшный, ужасный и жуткий (и, соответственно, у образованных от них наречий), кроме первого значения “вызывающий чувство страха, ужаса, жутки”, среди других также и значение “очень сильный, весьма значительный, чрезвычайный, крайний в своем проявлении (см., например, Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1984.). Т. о. наречия страшно, ужасно и жутко в таком значении являются синонимами наречий степени очень, весьма, чрезвычайно, крайне и могут употребляться для указания на интенсивность проявления признака”.

Скажите, а много ли логики в ходячем разговорном выражении “дешево и сердито”?..

Разбираясь в подоплеке нестандартного сло-

воупотребления, небесполезно обратить наше пристальное внимание еще на одну распространенную в русской речи вариацию того же смыслового ряда - с участием словечка “больно”.

Братья больно покосились... -

бесстрастно повествует все та же милая сказочка П. П. Ершова, вобравшая в себя словно магнитом прелестные особенности истинно народной речи. А известный в истории отечественной литературы пиит XVIII столетия Василий Тредиаковский писал в одной из своих стихотворных сатир: “Дел славою своих он похвалялся больно”.

“Умом больно обносился” - гласит одна из русских поговорок. “Больно спится” - это фраза из комедии “Горе от ума”. “Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь”, - читаем в романе “Герой нашего времени”. А некрасовская строка “Уж больно ты грозен, как я погляжу” знакома наверняка каждому нашему школьнику.

Точно так же, как страх или ужас в выражениях, приводимых ранее, нельзя принимать за чистую монету, - боль решительно не при чем и в оборотах типа “больно ты грозен”. По существу, как уже говорилось, все эти крепкие словечки выполняют такую же подсобную роль, что и определения меры “очень”, “чрезвычайно” и им подобные, с единственной, но весьма существенной разницей: выполняют они ее с куда большим блеском и экспрессией. Именно повышенную эмоциональность улавливает в первую очередь слушатель или читатель, а о криминальности словоупотребления при этом даже и не задумывается.

Правда, поэт Игорь Григорьев заставляет все же нас вдумываться, когда нарочито играет буквальным и фигуральным значениями обсуждаемо-

го словечка в одной и той же строфе и даже в одной строчке.

Я рад посмеяться,
 Да плачу невольно -
 Уж больно мне больно.

Итак, теперь-то уж можно считать выясненным доподлинно и до конца, что людоедка Эллочка, называвшая приятное свидание с доброй знакомой “жуткой встречей”, не была ни первой, ни последней в этом коронном своем амплуа.

Остается лишь упомянуть о явлении, которое наверняка знакомо каждому по опыту собственного общения с ближними, когда доброе отношение, симпатия, а то так даже и прямое восхищение стеснительно маскируются говорящим с помощью использования формы грубоватой, а порою и внешне ругательной.

Классический пример тому содержится в высокоэмоциональной повести Н.В.Гоголя “Тарас Бульба”.

“Черт вас возьми, степи, как вы хороши”.

В таком же ключе надлежит рассматривать и нижеследующие фрагменты из переписки А.П.Чехова: “дядюшка - очень милая скотина” и “ни один человек не относится к этой каналье так хорошо, как я; мне симпатичен его талант”. Между прочим, канальей писатель поименовал не кого иного, а известного поэта Константина Бальмонта!

Что ж, по всей видимости, недаром и народную присказку “такой сякой немазанный”, более чем грубоватую по форме, В.И. Даль в своем собрании российских пословиц и поговорок счел возможным снабдить огорошивающей непосвящённых пометой – (ласка)!

КАКОГО ЦВЕТА КРАСОТА

У кого как, а уж у нас, русских, красота определенно оценена в яркий и нарядный, праздничный красный.

Доказательства? В современном словаре, увы, сохранилось едва ли не единственное прямое указание на такое соответствие. Это - слово “прекрасный”. В отличие от собратьев по конструкции - прилагательных в превосходной степени “пречерный”, “пресиний”, “презеленый” - оно обозначает не “очень красный”, как следовало бы ожидать, а “очень красивый” или “очень хороший, отличный”.

Конечно, если как следует покопаться в том же словаре, то отыщутся и производные от прилагательного “прекрасный” - “прекраснодушие” и “прекраснодушный”, а также другие наводящие словосложения: “красноречие”, “красноречиво”, “красноречивый” и “краснобай”, “краснобайство”. Относительно этого ряда слов никому не придет в голову все поминать красный цвет. Однако же вот вам и весь словесный урожай - не густо!

Гораздо щедрее на искомые доказательства - произведения отечественной художественной литературы.

Когда мы читаем, например, в повести Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”: “...чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву”, - прилагательное “красный” понимается нами не в смысле окраски, а в значении “приятный, мелодичный, красивый”.

В стихотворении Константина Бальмонта “Смерть Димитрия Красного” в самом тексте уже

заключена полная ясность на этот счет - для любого, самого несправимого тугодума:

Жил в Галиче тогда несчастный князь,
За красоту был зван Димитрий Красный...

Так уж человек устроен: дай нам лишь малый толчок со стороны, и тяжелая на подъем память наша в момент встрепенется и заработает в нужном направлении. Сразу припомнятся (и где только раньше были?) пушкинское “Ох, лето красное, любил бы я тебя...”, крыловское “Лето красное пропела...” и некрасовские “На то вам и красное детство дано” и “Толпа без красных девушек, что рожь без васильков”.

А дальше, как водится, - больше. Уже вспоминается фольклорная красна девица, неразлучная в наших сказках с добрым молодцем. Приходят на ум и наиболее часто употребляемые в речи пословицы: “На миру и смерть красна”, “Не красна изба углами, а красна пирогами”. “Долг платежом красен”. Обратившись же к собранию народных пословиц и поговорок В. И. Даля, найдем старинный “красный” в изобилии.

Наша весна красным красна.

Жить в красне хорошо и во сне.

Говорит красно, да слушать тошно.

Глупому мужу красная жена дороже красного яйца.

(Примечательно, что здесь сразу два “красных”, но в разных значениях).

Красна речь с притчею.

Ради красного словца не пожалеет родного отца.

Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде.

(И опять наблюдаем сближение двух значений, на этот раз одно из них – косвенное, замаскирован-

ное: маков цвет – алый).

Таинственная для нас покамест (тоже, кстати, непрямая) связь двух разносмысленных “красных” в особенности ощущается в поговорке: Здравствуй, в красном: наживай голубой за мужниной головой” (красный, праздничный, а вышла замуж, думай, как работать станешь).

Еще секретарь французского посла де Рюльер, находившийся в Петербурге во время событий государственного переворота 1762 года, обратил внимание на особенное значение в русском языке слова “красный”. Давая характеристику княгине Екатерине Романовне Воронцовой-Дашковой, он писал между прочим:

“Страсть ее к славе еще более обнаруживалась: примечательно, что в стране, где белила и румяна были у дам во всеобщем употреблении, где женщина не подойдет без румян под окно просить милостыню, где в самом языке слово красный есть выражение отличной красоты и где в деревенских гостинцах, подносимых своим помещикам, необходимо по порядку долженствовала быть банка белил, - в такой, говорю, стране 15-летняя девица Воронцова отказалась повиноваться навсегда сему обычаю”.

Другой заезжий иностранный дипломат – Л.Ф.Сегюр – побывал в России в период царствования Екатерины II (в 1785 году), и он тоже не преминул отметить как любопытную национальную достопримечательность, что “у них даже слово красный означает красоту”...

Российский языковый парадокс не смог обойти вниманием и еще один знатный путешественник - французский поэт и прозаик Теофиль Готье, впервые приехавший в нашу страну в 1858 году, “Так вскоре я дошел, - писал он в своих путевых очерках “Путешествие

в Россию” “- до ... Красной площади (по-русски слова “красный” и “красивый” являются синонимами)”.

Когда же и по каким причинам бывшее “красный” = “красивый” превратилось в нашем языке в рядовое обозначение одного из многих цветов солнечного спектра наряду с синим, желтым и прочими? Для того чтобы удовлетворительно ответить на интересующий нас вопрос, не обойтись без солидного исторического экскурса.

В старину русский язык располагал несколькими наименованиями красного цвета. Наиболее древним из всех являлось, по-видимому, “рудый”. А еще бытовало (и благополучно дожило до наших дней, только стало узкоспециализированным в употреблении) цветообозначение “румяный”, - между прочим, производное от прилагательного “рудый”: первоначальной его формой было “рудмяный”.

Имелось в языке у россиян также раннее тюркское заимствование - “алый”, которое великолепно прижилось на русской почве. Оно стало родоначальником специфически русских форм: “аленький”, “алеть” и “ало”. Этим определением мы продолжаем пользоваться и сегодня, обозначая им особенный оттенок красного цвета.

Однако главным оставалось все же на протяжении очень продолжительного периода слово “червлёный”, образованное от существительного “червец”; так называлось древесное насекомое, в массе встречающееся, например, на дубах. Из этих насекомых в древние времена - и не только на Руси - научились готовить отличную красную краску.

Помните в “Слове о полку Игореве” - “Русичи великие поля червлёными щитами перегородили”... Или вот еще цитата из “Летописной книги” 1626 года, принадлежащей перу И. М. Катырева-Ростовского:

“Царевна же Ксения, дочь царя Бориса... бела велми, ягодами (щеками. - *В. К.*) румяна, червлена губами, очи имея черны великы”...

В этом отрывке красный цвет обозначен словами “червлёный” и “румяный”. Интересно, что эта же популярная пара цветоопределений встречается в стихотворении 1790 года “Любителю художеств” Г. Р. Державина в положении что называется бок о бок.

Как солнце гонит ночи мрак,
И от его червлена злата
Румянится природы зрак...

Что касается прилагательного “красный”, то в описываемую эпоху оно обозначало “красивый, прекрасный, приятный, нарядный, почетный, лучший, славный, ценный, ясный”. Само богатство смысловых оттенков, притом сплошь положительных, свидетельствует о незаурядности и особой важности слова.

Между прочим, тогда можно было смело, не опасаясь обидеть красивую девушку и вдобавок заслужить репутацию грубияна, назвать ее всенародно или с глазу на глаз краснолицею. Это воспринималось бы как почтительный комплимент!

И вот этакое-то богатое и поистине выдающееся слово русского языка оказалось принесенным в жертву ради обозначения цвета – одного из многих!

Постепенно, шаг за шагом, “красный” начисто вытеснило из речевого обихода цветоопределение-старожила “червлёный”, которое в конечном счете только и оставило по себе памяти, что в названии денежной единицы - “червонец”, в постоянном эпитете золота – “червонное”, да еще в карточных терминах “черви” и “червонный”...

Вытеснение, замена, подмена - называйте, как хотите, - процесс этот интенсивно происходил на

протяжении XVI-XVII столетий. Однако еще и в повести Н.В. Гоголя “Тарас Бульба” (исторической, правда, чего не следует упускать из виду) можно встретить оба слова-соперника в цветовом их значении, притом в одной даже фразе: “Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились мосты из казацких и вражьих тел”.

И в толковом словаре В.И. Даля (1862 год) объяснение слова “красивый” отличается явственно компромиссным характером: “Красивый, красный или прекрасный, уряженный красою, нравный чувству изящного; красив, кто или что красится, красуется, во мнении других”.

Сегодня мы бы с вами уже не отважились ставить знак равенства между словами “красный” и “прекрасный”, “красится” и “красуется”!

Остается еще одна загадка, и последняя; почему же именно красному, а, допустим не синему, не желтому или зеленому цвету выпала завидная доля прозываться бывшим именем всего, что только есть на нашей земле отличного и превосходного? А потому, что на Руси издревле как раз красный цвет почитался наиболее красивым и нарядным из всех прочих, неизменным спутником всевозможных торжеств, преимущественным в праздничной одежде “на выход”, то есть выступал, по существу, как национальный, привилегированный цвет.

Ну что ж, само прилагательное “красный” в своем первоначении, как говорится, приказало долго жить. Оно остается лишь достоянием старинного фольклора да нескольких, по-прежнему употребительных в нашей речи присловий. Но вот ведь парадокс - в то же самое время оно как бы никуда и не подевалось!

Славный в прошедших веках словокорень “крас”, как и некогда, высоко держит свою былую фирменную марку в наше время. Достаточно бегло пе-

речислить хотя бы некоторые из долговечных побегов, счастливо возросших на благодатном древнем корне: “краса” и “красота”, а также “красивость”, “красавец” и “красавица”, “красавчик”, “красотка”, “красоваться”, “прикрасы”, “украшать” и “приукрашивать”, “украшение”. Все эти понятия никакого отношения к цвету не имеют.

Параллельно тот же плодovitый словокорень произвел на свет уже беспримесно-цветовые речения, к каковым могут быть относимы “краска”, “красить” и “краситься”, “крашение” и “крашенный”. Любопытно и показательно, что попервоначально они подразумевали не любой, как сейчас, а исключительно красный цвет, так что слову “красить”, например, противопоставлялись “синить”, “чернить”, “белить”, “желтить”, “зеленить” и так далее, а само прилагательное “красить” имело синонимом “краснить”...

Кроме таких переходных (если рассматривать их в историческом развитии) речений, родились и откровенно “красные” по цвету отпрыски старинного корня; “краснота”, “покраснение”, “краснуха”, “красноватый” и “красненький”, “красноперка” (рыба), “краснолицый”, “краснощекий”, “краснокожий”, “краснинка” и другие.

В таком сонмище однокоренных, но весьма разнородных по смысловому наполнению словес русский человек ориентируется безошибочно. Несравнимо труднее дается это людям иной национальности. Дело может иногда доходить до анекдотических положений, как рассказывается в одном из произведений писателя Мустая Карима.

“Когда закончили дом, за краской, чтобы окна красить, он (Курбангали. – В.К.) поехал в Уфу. В магазине он так продавцу по-русски и отчеканил:

- Давай, парень, самый хороший к р а с н ы й...

Он-то хотел сказать “краска”, но парень, как просили, так и дал - большую банку... и такая красная - глаза сосет”.

Курьезность случившегося по недоразумению становится еще более очевидной для читателя после того, как автор поясняет, что “в Кулуше народ оконные наличники или в белое красит, или в голубое, или в желтое, или в коричневое. У одного Курбангали - красным горят”.

А что если попытаться возродить замечательное русское слово в прежнем, старинном его значении? Ну пусть не в полном объеме, а хотя бы применительно к отдельным, высокаторжественным, что ли, контекстам?

Затея, пожалуй, не вовсе безнадежная. Радуюсь, к примеру, отличной погоде, почему бы не воскликнуть от полноты нахлынувших чувств: “Ах, какой выдался красный денек!”. И всем станет понятно, потому что не выветрилась из памяти нашей та самая сказочно-песенная “красна девица” и легко принимаются нашим современником и “красный уголок”, и “красная дата”...

Дополнительным поводом для продуктивных размышлений на эту тему может послужить фраза из повести Александра Солженицына “Раковый корпус”:

“За эти двенадцать дней он (Костоготов. - В.К.) вернулся и к ощущению, самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял”.

Отрадно, что и многие наши поэты не чураются старинной народной традиции. У Игоря Григорьева вычитываем: “Прости, что не красно тут мыслится” (“Тихая родина”); “А по садам - красны дары”, “Звенели пчелы. Красный час” (“Обитель”). И

есть у него же вот такой гимн родной природе:

Лес распахнутый, лист отзвеневший,
Птицы смолкшие - сердцу родня,
Я люблю этот мир замеревший,
Ожидающий красного дня!

“ТЫ” - ГРУБО ИЛИ СЕРДЕЧНО?

Знакомую со школьной скамьи “Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова” возьмем на сей раз с книжной полки не с благою целью насладиться еще однажды ее поэтическими красотами, а единственно ради уяснения для себя того, какими были в далекую от нашего времени эпоху этикетные отношения на Руси.

В лермонтовской поэме пред Иваном Грозным держит ответ невесть отчего закручинившийся на царской трапезе молодой опричник:

Не кори ты раба недостойного...

А скажите-ка со всей откровенностью: не кольнуло ли вам слух это невежливое вообще, а по отношению к всемогущему властелину кажущееся просто немислимым “ты”?

Правда, имеется тут одна существенная тонкость. Кирибеевич - вовсе не человек с улицы. Он, как принято нынче говорить, лично известен. Почему знать, возможно, приближенного опричника связывают с царем приятельские, “неформальные” отношения, допускающие некоторое панибратство?

Очередь объясняться с грозным самодержцем - за купцом Калашниковым:

Я скажу тебе, православный царь...

А вот это уже - ни в какие ворота! Подумайте сами: безвестный, никак не титулованный купчина дерзает “тыкать” в разговоре не с каким-нибудь соб-

ственным приказчиком, всецело от него зависимым, и не с одним из царедворцев даже, а с самим распорядителем жизни и смерти подданных!

Только ведь и остающиеся в лермонтовской поэме вовсе безымянными простолюдины-гусяры не страшатся, как видно, государева гнева, когда в открытую и без стеснения фамильярничают с венценосцем:

Про тебя нашу песню сложили мы...

Да помилуйте, наконец, что за вольности? Разве же мы с вами, читатель, рискнем обратиться на “ты” к нашему уважаемому Президенту? Или к начальнику любого ранга? Просто к человеку, который значительно старше нас по возрасту либо с очевидностью превосходит положением и заслугами перед обществом? Да никогда в жизни - если не желаем, разумеется, прослыть грубиянами, невежами, отъявленными наглецами!

Нет, не оговорился ненароком Михаил Юрьевич Лермонтов и не взял греха на душу, сознательно опростив этикет. С другой стороны, следует реабилитировать достославных наших предков, которые отнюдь не пребывали поголовно, как один, невежами и грубиянами. А просто не существовало в русском языке эпохи Ивана Грозного вежливого обращения на “вы”! Потому-то простецкое “ты” беззастенчиво говаривали друг другу равно родители и дети, старый и малый, господа и их холопы, царь и его бояре. И такое положение сохранялось вплоть до нововведений царя-реформатора Петра I, который и в таком незначительном, казалось бы, пункте последовал чрезвычайно притягательному для него образцу стран просвещенной Западной Европы.

Вельможная среда и армия, устроенная, кста-ти говоря, Петром I по иноземным правилам, первыми -

в силу понятной необходимости - усвоили непривычные старорусскому лексикону формулы: “ваше величество” и далее, по нисходящей, такие же “ваши” высочество, светлость, сиятельство, высокопревосходительство и высокоблагородие, затем просто превосходительство и благородие.

Своенравная народная речь приспособилась, между тем, к новинке по-своему, укоротив неудобпроизносимые и малопонятные длинноты до “вашескородие”, “вашбродь” и, наконец, до лукаво-обтекаемого “вашество”, одинаково подходившего ко всем чинам и должностям обширной Российской империи, без изъятия...

“Выканье” как элемент вежливого обращения, прижившись в аристократических гостиных, постепенно распространялось на все благородное сословие, то есть на дворянство. Простонародья это не касалось. Мужики по-прежнему бесцеремонно говорили “ты”, приберегая привилегированное “вы” исключительно для общения с равней себе по званию и положению.

Об этом очень выукло рассказывается в исторической повести М.А.Алданова “Заговор”.

Генерал Талызин испытывает по поводу такого неравенства постоянные укоры совести, однако ничего не может противопоставить общепринятым в его кругу условностям.

“Он бегло взглянул на сгорбленную фигуру лакея, на его утомленное лицо со стариковским недоверчиво-робким выражением и, как всегда, испытал мучительное чувство неловкости. Неприятно было заставлять служить такого старика, еще неприятнее было говорить ему “ты”, особенно в мasonicком кругу. Талызин не раз собирался перейти на “вы”, но чувствовал, что это невозможно. “Хуже все-

го фальшь, - подумал он. – Легче у нас опровергнуть трон, чем это переделать...”.

По долгому опыту он знал, что такие мысли не имеют решительно никакой связи с жизнью и ничего в ней изменить не могут.

- Подай в кабинет сахарной воды, - сказал он лакею. – Сам подай, а потом никому не вели входить. У нас дела”.

И только одна обширная и немаловажная сфера упорно воспротивилась модному прозападному веянию – интимная. Утерев былую универсальность, все более изгоняемое из светской речи и, казалось, вконец огрубевшее “ты” сумело-таки отстоять в неприкосновенности свою последнюю крепость: семейные и тем более любовные отношения.

Превосходной иллюстрацией тому может послужить очаровательное стихотворение А.С.Пушкина, озаглавленное без всяких экивоков – “Ты и вы”.

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвись, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
Я говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

Как видим, и здесь, подобно стеснительному и совестливому алдановскому генералу Талызину, лирический герой скрепя сердце обречен подчиниться всесильным условностям правящего общественным мнением этикета...

Впрочем, надобно иметь в виду, что в практике речевого общения и “ты”, и “вы” знают много разнообразнейших оттенков. Как первым, так и вторым

в определенных обстоятельствах можно и всерьез оскорбиться. В иных же случаях либо одно, либо другое могут вызвать умиление. Все дело в массе трудноуловимых тонкостей.

Описание конфликта, разразившегося на этой почве, находим на страницах неувядаемой поэмы Н.В.Гоголя “Мертвые души”.

Помещик Тентетников с некоторых пор зачастил к соседу по имению, отставному генералу. В немалой степени регулярные посещения генеральской усадьбы объяснялись сердечным интересом: молодой дворянин был равнодушен к хозяйской дочери Улиньке. Однако случилось нечто, заставившее его в одночасье и навсегда позабыть дорогу к ставшему было милым и притягательным дому.

“...Тентетникову показалось, что он (генерал. – В.К.) стал к нему холоднее, не замечая его, или обращался как с лицом бессловесным; говорил ему как-то пренебрежительно: любезнейший, послушай, братец, и даже ты. Это его, наконец, взорвало. Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем как пятна выступили на лице его и все внутри его кипело: “Я благодарю вас, генерал, за расположение. Словом ты вы меня вызываете на тесную дружбу, обязывая и меня говорить вам ты. Но различие в годах препятствует такому фамильярному между нами обращению”. Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, - хотя несколько несвязно, что слово ты было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно и сказать молодому человеку ты (о чине своем он не упомянул ни слова)”.

Впоследствии новоявленный знакомец гордого Тентетникова - проходимец Чичиков никак не мог

взять в толк, что причина разрыва была действительно основательной.

“Андрей Иванович! помилуйте!” сказал он, взявши его за обе руки: “какое ж оскорбление? что ж тут оскорбительного в слове *ты*?”.

На что воспоследовал резонный ответ безвинно пострадавшего:

“В самом слове нет ничего оскорбительного”, сказал Тентетников: “но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбление. Ты! - это значит: “Помни, что ты дрянь”...”

И сколько ни уговаривал дипломат Чичиков упрямого своего собеседника не придавать серьезного значения злополучному “ты”, Тентетников от своего не отступил:

“Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне *ты* и принял бы даже почтительно”.

Видите, сколько важных условий выставил уязвленный до глубины души Тентетников! Приплюсуем сюда же и интонацию, с которою произносится коварное “ты”, - она тоже имеет немалое значение, а кроме того и весь смысловой контекст.

“Ты, ты, ты ...” – такое начало у одной из самых популярных лирических песен в репертуаре Филиппа Киркорова. В данном случае настойчивое повторение личного местоимения – не что иное, как концентрированное свидетельство полноты нежных чувств, испытываемых влюбленным.

Напротив, просторечное, уличное, обращение “Эй, ты!” – вне всяких сомнений, грубо и оскорбительно.

Принятые в обществе правила приличия заставляют нас с вами обращаться на “ты” к любому незнакомому человеку: исключением может быть толь-

ко маленький ребенок.

Зато обоюдное “тыканье” начальника и подчиненного – вернейшее свидетельство не казенных, а истинно дружеских, доверительных отношений.

С другой стороны, внезапный переход с доверительного, “сердечного”, по А.С.Пушкину, “ты” на пустое “вы”, хотя последнее и признаваемо показателем вежливости, может и сыграть роль холодного душа, обозначая намечающийся разрыв сложившихся взаимоотношений.

Разительный пример именно такой ситуации содержится в повести А.С.Пушкина “Капитанская дочка”.

Попервоначалу Гринев, прибывший отправлять воинскую службу в Белогорскую крепость, подружился с офицером Швабриным.

Они были что называется приятели. И вот однажды меж ними пробежала черная кошка. Вспыхнула ссора, приведшая, как известно, к дуэли. При этом читатель становится свидетелем мгновенной перемены – перехода с приятельского “ты” на холодно-вежливое, официальное “вы”.

“Швабрин переменялся в лице. “Это тебе так не пройдет, - сказал он, стиснув мне руку, - Вы мне дадите сатисфакцию”.

Продолжим наши изыскания далее. В кругу родных и близких, в своей семье, “вы” воспринималось бы как чопорное едва ли не до неприличия. Но вполне можно допустить и принятый в некоторых интеллигентных семьях свой особый стиль поведения, когда старшие даже к самым младшим по возрасту обращаются на “вы”. Если нынче такие взаимоотношения можно почесть за редкость, то в прошлом они были достаточно распространены.

“В детстве отец даже по-русски обращался к нему

на “вы” и называл мальчика “любезнейший и драгоценнейший друг, граф Никита Петрович”. Это сказано об известном в российской истории вельможе, персонаже повести М.А.Алданова “Заговор”. У того же писателя, в другой исторической повести – “Чертов мост”, - имеется не менее впечатляющая ремарка:

“Обращение старика (Баратаева. – *В.К.*) было самое учтливое: он даже продолжал говорить Штаалу не только по-французски, но и по-русски вы, что в ту пору по отношению к молодым людям было довольно необычно”.

Впрочем, наш читатель не мог не заметить, что имеется определенная связь между такого рода обращениями и широким распространением в русских аристократических семьях французского языка, которому обучали с детских лет...

И вот еще один из оттенков богатейшей палитры двух обращений. Пример взят из публикации в газете “Комсомольская правда” переписки Сергея Эфрона и Марины Цветаевой. Два письма, одно – Марины Сергею, другое – Сергея Марине, при первом прочтении могут, пожалуй, показаться несколько напыщенными.

“Мой Сереженька!.. Не знаю, с чего начинать: то, чем и кончу, моя любовь к Вам...”.

“День, в который я Вас не видел, день, который я провел не вместе с Вами, я считаю потерянным...”.

Автор публикации Дмитрий Шеваров поясняет, снимая читательские сомнения:

“Вот так, на “Вы” они были всю свою жизнь. Сквозь войны, чужие кухни, нищий быт, в лохмотьях – но на “Вы”! На высоте, однажды взятой и удержанной вопреки всему. В этом “Вы” была не отчужденность, а гордость суверенностью ближнего, уважение к

его сложности. Чем ближе люди в своей повседневной бытности, тем тщательнее должна быть отделка их отношений. Цветаева была на “ты” с Пастернаком, он был далеко, Сережа был вечно рядом, а потому – только “Вы”!

Теперь несколько слов о демонстрировавшем некогда откровенное подобострастие лакейском жаргоне. В нем множественное число вместо единственного – “Барин почивать изволят” – могло распространяться аж на имя-отчество благодетеля: “Иваны Владимировичи гулять пошли”! Причем такая титуляция могла относиться не только к самим барину и барыне, но даже и к малолетним их детям. Слава богу, подобные холуйские речевые обороты безвозвратно канули в прошлое.

Однако если дворовая челядь помещика-крепостника довольно скоро и с охотой приняла на вооружение всяческие “вашества”, то глубинная российская деревня продолжала еще очень долгое время после поворотной эпохи Петра I следовать неукоснительно обычаям прадедов: обращение на “ты” оставалось в крестьянском быту, как и прежде, ни для кого не обидной нормой.

Рассказ-сценка А.П.Чехова, заглавие которого повторяет пушкинское “Ты и вы”, посвящен забавной и поучительной дуэли вежливости чиновничьей, с одной стороны, и исконно-мужицкой – с другой.

Судебный следователь Попиков, человек интеллигентный и от природы мягкосердечный, по долгу службы допрашивает крестьянина Ивана Филаретова, специально вытребованного из родного села Дунькина Пустыревской волости.

Как и полагается вышколенному чиновнику, следователь безукоризненно вежлив по отношению к клиенту.

- Вы вызваны в качестве свидетеля по делу... - поясняет он сидящему перед ним крестьянину.

Но Филаретов, как оказалось, более всего обеспокоен не судебным делом, а тем, как бы не запямятовали впопыхах выплатить ему надлежащие командировочные, каковые и выканючивают с неподражаемой настойчивостью у чересчур впечатлительного следователя. Однако... все мы – люди. Не выдерживает сурового испытания и Попиков:

- Некогда мне с тобой о прогонах (командировочных. – *В.К.*) разговаривать...

Простительная осечка, вызванная нервным срывом. С кем не бывает! Впрочем, как человек воспитанный, следователь тут же спохватывается и возвращается к утерянному было служебно-предписанному “вы”:

- Рассказывайте только то, что дела касается.

Между тем мужик-темнота с замечательным простодушием продолжает нести околесицу и при этом обращается к Попикову, как привык, то есть исключительно на “ты”.

- ... Чай, знаешь Северина Францыча? – по свойски осведомляется непутевый свидетель.

- Нужно говорить *вы*... Нельзя тыкать! – вскипает следователь. – Если я говорю тебе... вам *вы*, то вы и подавно должны быть вежливым!

Объяснил невеже, кажется досконально. Однако темному ли деревенщине разбираться в тонкостях учтивости при общении с официальным лицом!

- Оно конечно, вашескорodie! Нешто мы не понимаем? Но ты слушай, что дальше...

А дальше – вот она, та последняя капля, которая переполнила наконец-таки чашу следовательского долготерпения. Мигом отброшены деликатность и мяг-

косердечие. Крестьянин села Дунькина узрел и услышал уже не сладкоречивого интеллигентного чиновника, а донельзя разгневанного натурального барина:

- Тьфу! Говори, дурак, толком! Отвечай ты мне на вопросы, а не болтай зря!

В этой необыкновенной дуэли спасовал, конечно же, не крестьянин Иван Филаретов...

А как вы, читатель, полагаете – осмелился бы непробиваемый мужик на фамильярность, приведись ему предстать перед ликом самого царя?

Про Филаретова, как мы понимаем, сказать затруднительно, а вот другой мужик, достаточно в русской истории известный, - Гришка Распутин – тот осмеливался. И делал сие не без тайного умысла, как о том повествуется в романе Валентина Пикуля “Нечистая сила”.

“Привычке говорить на “ты” он не изменял, и это ставило его как бы на равную ногу с царями. Царь для него – папа, царица – мама, а наследник – маленький...”.

А ведь Гришка Распутин, кроме всего прочего, был и неплохим психологом! Надо думать, его “чисто народное” обращение на “ты” с царским семейством воспринималось не как хамство, а как естественное прямотушие, столь дефицитное в высшем обществе...

И еще о диалектике личного местоимения во множественном числе как замены числа единственного. В общеизвестной формуле “Мы, Николай Второй...” оно призвано отъединять от всех прочих (подданных) и тем недосыгаемо возвышать монарха-самодержца. Но совсем противоположный смысл у того же “мы”, которое по извинительной для простодушного привычке не единожды вклинивал в свою простодушную речь знакомый нам Иван Филаретов. Ответ-

ствуя на вопрос следователя: “- Чем занимаешься?” – он лукаво избежал чересчур гордого и независимого в собственных глазах местоимения “я”: “- Мы пастухи... Мирской скот пасем...”.

В современном лексиконе “мы” в значении “я” тоже употребляется. Но это уже не самоуничижение, а скорее показатель причастности к некоей однородной массе единомышленников: “А нас, знаете ли, это не касается!”; “Нам бы ваши-то заботы...”.

А не приходилось ли вам слышать, как врач, приглашенный к постели больного, осведомляется у пациента с дружеской фамильярностью: “Нуте-с, как мы себя сегодня чувствуем?”.

Понятно, что в это “мы” сам врач никаким краешком не вхож, а подразумевается один больной, к которому “по правилам” следовало бы обратиться соответственно: на “ты” или, более вежливо, на “вы”.

МОЖЕТ ЛИ СКУКА БЫТЬ СКУЧНОЙ

- Помилуйте! – с ходу запротестует иной критик, возмутившись до глубины души постановкой вопроса, которая уже и сама по себе покажется предосудительной. – Да ведь это – чистейшая абракадабра! Все равно что сказать “мокрая вода” или, еще того очевиднее, - “масло масляное”!

Спору нет, с точки зрения формальной строгий критик стопроцентно прав. Только вот, к общему нашему счастью, русский язык отличается поразительным своеволием. Он буквально пестрит алогизмами, которые то и дело ставят в тупик закоснелых формалистов от языкознания. Так и в данном случае: откровеннейшего “масла масляного” в нашей с вами письменной и тем более в разговорной речи хоть пруд пруди (кстати, и это ходячее выражение под-

падает под нелестную оценку досужего критика).

В самом деле: говорим же мы запросто, без краски смущения, “день-деньской”, вкладывая в привычный и симпатичный фразеологизм всем доступный смысл – “на протяжении целого дня, от утра и до самого вечера”. Не вызывает ни у кого внутреннего протеста и разговорное выражение “тьма-тьмушая”, определяющее в наше время не только непроглядный мрак, но, главным образом, всякое несосчитанное множество.

Народные песни и сказания донесли до нас исполненные поэтического чувства словосочетания “диво дивное” и “горе горькое”, не могущие оскорбить самый сверхмузыкальный слух! Последнее, между прочим, может быть памятно читателю по стихотворению Н.А.-Некрасова, превращенному народом неслучайно в “свою” песню:

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

А вот и прямой ответ на тот риторический вопрос, который не без расчетливого лукавства вынесен в название этой главы нашего повествования, - его преподносит нам и всем сомневающимся другой выдающийся российский поэт, Александр Блок.

Ох ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Оказывается, “скука скучная” – вещь очень даже возможная. Она ничуть не более противоправна, чем, скажем, рядышком в той же строфе поставленная “скука смертная” или, к примеру, “тоска зеленая” (а почему?..) и “всякая всячина” - выражения, частенько нами говоримые и слышимые. И давайте честно сознаемся: скука скучная – несомненно и многократно скучнее, нежели скука просто...

Не менее выразительные примеры тавтологии

(так в науке о языке именуется всякие вообще словесные повторы) можно без особого труда отыскать в произведениях отечественной литературы различных авторов и во всевозможных жанрах.

У того же Александра Блока: “И странным сияньем сияют черты”. Возвращаясь к хронологическому порядку – у А.С.Пушкина:

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток.

У М.Ю.Лермонтова: “Как по вольной волюшке”, “в разных разностях”.

У Н.В.Гоголя: “На безлюдье безлюдном”, “бойкость в деловых делах”.

В письмах А.П.Чехова: “Самого эффектного эффекта”, “Пьеса уже окончена, окончательно окончена”.

У Константина Бальмонта: “Внутренним светом светиться”, “Просроченные сроки”.

У Владимира Маяковского: “Через самую высочайшую высь”.

У Бориса Слуцкого: “Над нами властвовала власть”, “Нету дела до вашего дела-то мне”, “Я не обязательно обязан”...

Особый тип тавтологии представляют собой некоторые распространенные в нашей речи словосложения: “вековечный”, “пустопорожний”, “зловредный”. Отгалкиваясь от них, Игорь Григорьев использовал в поэме “Красуха” собственные новозобретения: “разновсякою молвой” и “пустозряшная прыть”.

Интересны старинные словосложения этого плана: “плачвопльствие” (плач) и “татекрадственный” (краденый; при “тативный” – вороватый).

На чем же основывается выдающаяся привлекательность внешне очень и очень (вновь нечаянная

тавтология!) сомнительного “масла масляного”, которая обеспечивает ему потрясающее долголетие? На бесспорной экспрессии тавтологических речевых оборотов, на повышенной дозе эмоциональной их насыщенности.

Рассмотрим аналитически два эпизода из повести Александра Солженицына “Раковый корпус”.

Больной Русанов пришел в клинику, будучи твердо убежден в том, что никакого рака у него нет и что дело ограничится простым и недолгим обследованием. Но вот все больше стала давать себя знать подозрительная опухоль.

Вначале закралось малоприятное сомнение, а затем всю свою темную силу навалился на него давящий, ни на минуту не дающий покоя страх.

“И разные-разные-разные мысли стали напирать и раскручиваться в голове Русанова, в комнате и дальше, во всей просторной темноте”.

Тому же запаниковавшему Русанову приснился кошмарный сон: будто бы ползет он отчаянно по безнадежно-нескончаемой бетонной трубе.

“А проход не кончался, не кончался, не кончался”. Попробуйте заменить в тексте отрывков повторяющиеся слова на одинарные - и сразу заметите, как резко снизится, потускнеет производимое впечатление, ослабнет драматизм переживаемой персонажем ситуации.

Александр Блок в “Скифах” использует много подобных повторов, нагнетающих настроение, усиливающих значимость сказанного:

Милыоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.

Века, века - вас будет проклинать

Больное позднее потомство!

Идите все, идите на Урал!

Нескончаемость описываемого действия знакома нам по будничным разговорным выражениям:

“А снег все идет и идет”, “Сижу и сижу в ожидании”...
Пронзительно звучат однотипные повторы в стихотворении Наума Коржавина:

Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

В эффекте повторов нетрудно убедиться, сравнивая простейшие словесные пары такой конструкции: “тихо” - “тихо-тихо”, “сладко” - “сладко-сладко”, “весело” - “весело-весело”. Усилительность еще более возрастает в вариантах с участием приставки пре-: “тихо-претихо”, “сладко-пресладко”, “весело-превесело”,

Нежно-нежно, тонко-тонко
Что-то свистнуло в сосне, -
прелестно сказано Мариной Цветаевой!

Сами того не замечая, мы постоянно импровизируем как раз по такому образцу в обстоятельствах, требующих от нас повышенной эмоциональной реакции.

- Спасибо, спасибо (в ответ на одолжение, в особенности на не предвиденное).

- Пожалуйста, пожалуйста (любезно-готовное принятие благодарности).

- Берите, берите (от души угощая или одаривая).

- Проходите, проходите (изъявляя подчеркиваемую любезность).

- Ну здравствуй, здравствуй (этакое придание многозначительности; или же, - обозначая ожидание ответа на немой вопрос о причине неожиданного появления гостя).

- Сидите, сидите (когда порываются встать, уступая место в автобусе; также при вставании подчиненных перед начальником или старшим по званию, должности).

И даже элементарные “да-да” либо “нет-нет” обнаруживают немаловажную смысловую нагрузку

ку: простая и необязательная констатация благодаря удвоенному уступает место горячей заинтересованности, готовности к сочувствию, сопереживанию,

Все это покамест - примеры разговорных импровизаций, порождаемых нашими индивидуальными и сиюминутными эмоциями при общении друг с другом. А существуют и сложившиеся, устоявшиеся в вековой речевой практике повторительные словосочетания, которые успели отлиться в более или менее строгую форму: “вот-вот”, “чуть-чуть”, “еле-еле”, “едва-едва” “ей-ей”, “ни-ни”, “в конце концов”, “тут как тут”, “нет как нет”, “один на один”, “один к одному”, “одно к одному”, “слово за слово”, “час от часу”. У А.С. Пушкина:

Час от часу опасность и труды

Становятся опасней и труднее.

В этом двустишии - обратили внимание? - задействованы еще две повторительности: “опасность” становится “опасней”, а “труды” - “труднее”...

Многочисленны в нашей речи также образования типа: “мало-мальски”, “мало-помалу”, “строго-настрого”, “всего-навсего”, “просто-напросто”, “один-одинешенек” и “одним-один”, “один-единственный”, “точь-в-точь”, “перво-наперво”, “на веки вечные”, “во веки веков”, “крест-накрест”, “крепко-накрепко”, “на все про все”, “туго-натуго”. Их очевиднейшая усилительность в пояснениях не нуждается.

Примерами самых разнообразных по конструкции тавтологий изобилует русский фольклор: “горе горевать”, “горе горевное”, “клич кликать”, “видом не видать, слыхом не слыхать”, “думать не думал, гадать не гадал”, “скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается”, “суета сует”, “ждем-пождем”, “знать не знаю, ведать не ведаю”, “чуж-чуженин”, “жить-поживать”,

“хватать-похватать”, “глядь-поглядь”, “была-не была”, “видимо-невидимо”, “видывать виды”, “мал мала меньше”, “было и былшем поросло”, “пропади все пропадом”... В этих выражениях неразлучны экспрессия и поэтичность, которые с лихвой оправдывают их смысловую перегруженность, или избыточность, выражаясь языком науки.

А какие неожиданные словоигры встречаются в собрании народных пословиц и поговорок: “Одну беду перебедаешь, а всех бед не перебедаешь”; “Пришлось и барской барыне тошнехонько”, “Голь голянский - сын дворянский”, “Живет не живет, а проживать проживает”... Заметили прямые дубликаты блоковской пресловутой “скуки скучной”?

Глубокой старине обязаны своим происхождением особенные речевые обороты: “дружиться дружись”, “любить люби”, “ходить ходи”, “глядеть гляди”, “мутить муди”, “играть играй”. И те же, при соучастии частицы “то”: “ходить-то ходи...”. Они и по сей день украшают как просторечие, так и литературный язык. Подобные обороты могут принимать и форму отрицания, чему подходящей иллюстрацией служат поговорки: “Любить-то хоть не люби, да почаще взглядывай” и ироническая - “Я любить не люблю, отказать не могу”.

Из собственного разговорного опыта каждому из нас знакомо, вероятно, и такое: “Читать не читал, а слышать слышал”. Та же конструкция, хотя и с иным смысловым наполнением, - в повести Александра Солженицына “Раковый корпус”.

“Он сидел - не сидел, лежал - не лежал, скрючился, подобрал коленки к груди, и, никак не находя удобнее, перевалился головой уже не к подушке, а к изножью кровати”.

По существу поэтическим вариантом представляется отлично всем знакомое песенное:

Речка движется и не движется,
 Вся из лунного серебра.
 Песня слышится и не слышится
 В эти тихие вечера.

Иной тавтологический тип представлен народной присказкой:

“Не то стоя простоять, не то сидя просидеть, не то лежа пролежать”. И вот что значит контекст: присказку эту мы воспринимаем как должное, находя в ней своеобразную поэтичность. А фразу из рассказа Михаила Зощенко “Баня” - “Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь” - сопроводим веселым искренним смехом!

Интересны и такие вариации: “течмя течет”, “ливмя льет”, “лѐтом летит”, “кишмя кишит”, “дрожмя дрожит”.

Сюда же прилежит и стариннейший фразеологизм “бегом бежать”, из поколения в поколение бездумно повторяемый всяким русским. Это примечательное выражение восходит аж к летописному прадедушке: “бежать беж”!

Вообще надо заметить, что народные сказки, песни, былины - переполненный кладезь тавтологических оборотов всех мастей. Но особо следует выделить удвоения, а то и утроения предлогов. Примеры возьмем из былины “Илья Муромец и Соловей-разбойник”.

Из того ли то из города из Мурома,
 Из того села да Карачарова...

Он повез его по славну по чисту полю...

А ко славному ко князю на широкий двор...

Отрадно, что народные поэтические приемы находят отклик в произведениях лучших наших ма-

стеров художественного олова. Все помнят, конечно, знаменитые строки Михаила Исаковского:

Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

У Бориса Пастернака читаем: “гормя горит душа”. А у Владимира Маяковского - чуточку видоизмененное народное “ревмя реветь”

...в аплодисментах
ревомые ревмя...

Поразительна многоликость тавтологий в русском языке. Это, конечно же, одно из органичных его свойств, оставляющее неизгладимое впечатление - ну просто глаза разбегаются!

Так, видное место в богатейшем разнообразии тавтологических форм занимает... творительный падеж. Вот одна из групп словосочетаний с этим падежом, которую условно можно бы поименовать глагольной: “ходить ходуном”, “поедом есть”, “криком кричать” (при наличии не менее эмоциональных вариантов - “кричмя кричать” и “на крик кричать”).

Несколько выборочных примеров из другой группы словосочетаний, которую - тоже условно - назовем определительной: “темным-темно”, “светлым-светло”, “белым-бело”, “малым-мало”, “пьяным-пьян” и несколько иносформенное “распьяно-пьян”.

Невозможно обойти вниманием еще одну любопытную конструкцию; назовем ее условно - личностной: “дурак дураком”, “дубина дубиной (конечно, в фигуральном значении), “олух олухом”, “пень пнем”, “пентюх пентюхом”, “свинья свиньей”, “деревня деревней”, “пижон пижоном” - продолжать перечень можно, не обинуясь, как угодно долго, памятуя разве что одно, но зато существенное ограничительное обстоятельство: смысл тавтологий подобного сорта - всегда однозначно отрицательный!

Одинаковы с предыдущими по построению, однако отличаются по смыслу фразеологизмы: “дело делом”, “смех смехом”, “игра игрой”, “шутка шуткой” (у А. Солженицына встречается - “закон законом”), - обыкновенно предваряющие последующую оговорку с противительным союзом “а” или “но”: “Смех смехом, а есть над чем и поразмышлять”. По существу эти речевые обороты соответствуют выражениям типа: “играть играй...”.

Особняком стоит оборот “честь честью”, который можно сопоставить с вариантом “честь по чести”.

Свой неповторимый аромат у разговорных выражений “проще простого”, “яснее ясного”, “легче легкого”, “важнее важного”. В них заглавную роль играет уже не творительный, а родительный падеж.

В созидании тавтологий находится дело и предложному падежу. Например, в часто употребляемом выражении: “Камня на камне не останется”. И в таких оборотах: “бугор на бугре”, “яма на яме”, “кочка на кочке”, “рытвина на рытвине”, “дыра на дыре”, “заплата на заплатке”, “изъян на изъяне”, “вор на воре”, “жулик на жулике”. В более развернутом виде эту речевую формулу демонстрирует небезызвестный читателю Собакевич из “Мертвых душ” Н.В. Гоголя, когда характеризует губернских чиновников:

“Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет”.

Рассказ о месте и значении “масла масляного” в русской речи страдал бы неполнотой, если не упомянуть о многочисленных и устойчивых словесных парах, составленных не из одинаковых однокоренных речений, а из синонимов или близких по смыслу слов: “любо-дорого”, “потихоньку-поле-

гоньку”, “грусть-госка”, “нежданно-негаданно”, “подобру-поздорову”, “сплошь да рядом”, “вокруг да около”, “вдоль и поперек”, “такой-сякой-разэтакий”, “уму-разуму” (научить или набраться) и “умница-разумница”, “крутить-вертеть”, “роду-племени”, “жили-были”, “худобедно”, “встречному-поперечному”, “через пень-колоду”.

Сочетаться таким образом могут и антонимы: “ни то ни се”, “ни с того ни с сего”. По существу все это - примеры повторов понятий, очередная разновидность тавтологии.

В который уже раз сама логика нашего повествования понуждает нас обращаться еще и еще к замечательному творению поэта – “Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”. И неудивительно - поэма М. Ю. Лермонтова вобрала в себя самоцветы народной речи во всем их блеске и многообразии.

Немало в ней и тавтологических оборотов: “вольной волею”, “прогневался гневом”, “плачем плачут”, “горько-горько”, “снегом-инеем”, “красная красавица”, “клич кликать”, “пир пировать”, “целовать-ласкать”. И далее:

...Я скажу тебе диво дивное...

...Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить...

...Заунывный гудит-воет колокол...

...Не шутку шутить, не людей смешить...

Сразу два типичных образчика синонимических словесных пар предьявляет слушателю строфа из популярнейшей народной песни:

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,

Позарастали мохом-травую,

Где мы гуляли, милый, с тобою...

Синонимические пары здесь - “стежки-дорожки” и “мохом-травую”. Но в четверостишии имеется и еще один - чистый, что ли, повтор: дважды употреблен глагол “позарастали”,

Повторы наиболее ударных в смысловом отношении слов (а это могут быть и существительные - “За ним нужен глаз да глаз”, и местоимения, и служебные слова - “коли ежели”) и целых словосочетаний поразительно часто встречаются в народном песенном творчестве. Но особенную, неповторимую прелесть приобрел этот поэтический прием в романсовом жанре, превратившись в одну из характернейших его черт, своего рода фирменный знак. Повторяющиеся слова, сочетания их и целые фразы - визитные карточки, по которым можно даже распознавать тот или иной из популярных романсов. Попробуем это проделать и мы с вами. “Но я вас все-таки люблю”; “Ах! Не говорите мне о нем, Не говорите мне о нем”; “Мы только знакомы. Как странно”; “Вам не понять, вам не понять, / Вам не понять моей печали!”; “Но не любил он, нет, не любил он, / Нет, не любил он, ах, не любил меня!”.

Ну как, разгадали предьявленные загадки? А заключением пусть станет полный текст романса, принадлежащего неизвестному автору. Он целиком построен на повторах.

Не пробуждай воспоминаний
 Минувших дней, минувших дней –
 Не возродишь былых желаний
 В душе моей, в душе моей.

И на меня свой взор опасный
 Не устремляй, не устремляй,

Мечтой любви, мечтой прекрасной
 Не увлекай, не увлекай,

Однажды счастье в жизни этой
 Вкушаем мы, вкушаем мы.
 Святым огнем любви согреты,
 Оживлены, оживлены,

Но кто ее огонь священный
 Мог погасить, мог погасить,
 Тому уж жизни незабвенной
 Не вернуть, не вернуть!

ПАРАДОКС АКАКИЯ АКАКИЕВИЧА

Титулярный советник Акакий Акакиевич Башмачкин - фигура, известная нам по повести Н.В. Гоголя "Шинель". Человечек он так себе: низкорослый, рябоватый, рыжеватый, лысоватый, подслеповатый, да к тому же еще и с неприятным геморроидальным цветом лица. Под стать невзрачной наружности и речь Акакия Акакиевича - скорее не речь даже в полном смысле этого понятия, а какой-то нечленораздельный лепет наподобие птичьего щебетания.

"Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предложениями, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: "Это, право, совершенно того..." - а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил".

Еще более исчерпывающее представление об уровне красноречия Акакия Акакиевича может дать

монолог, произнесенный бедным чиновником тотчас по выходе его от портного Петровича, который жестоко обескуражил стеснительного заказчика тем, что наотрез отказался ремонтировать вконец прохудившуюся шинелишку.

“Вышел на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. “Этакое-то дело этакое, - говорил он сам себе, - я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... - а потом, после некоторого молчания, прибавил: - Так вот как! наконец вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак”. Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: “Так этак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!”.

Убогая жалкость монолога бросается в глаза переее всего остального, вызывает у читателя откровенно насмешливое отношение к персонажу повести и становится по этой причине немалой помехой для более глубоких и содержательных размышлений на сей счет.

Да, разумеется, набор изобразительных речевых средств (да позволительно будет аттестовать их так), которыми пользуется незадачливый чиновник, крайне скуден и однообразен: всего-то несколько местоимений, наречий, частиц и вводных слов, многократно и хаотично повторяющихся в обрывистых фразах. В этом плане Акакий Акакиевич, думается, даже сознательно автором окарикатурен (понятно, в высших интересах сюжета в целом).

И все-таки попробуем разобраться хотя бы и в скудном этом наборе, причем изначально допуская, что мы будто бы решительно ничего не ведаем ни о самом Башмачкине, ни о драматическом посещении им бессердечного портного Петровича.

Местоимения “такой” и “этакий” вкупе с наречиями “так” и “этак” сами по себе настолько же нехороши, насколько неплохи. Но, не будучи подкреплены в контексте конкретными объектами речи, они производят впечатление неопределенности, даже прямой бестолковщины. “Оно” выступает в данном случае заменителем местоимения “это”, столь же расплывчатого, как и все предыдущие. По тем же причинам беспомощно повисает в воздухе наречие “никак”. Наконец дважды употребленное в тексте междометие “того” - классическое свидетельство заминок в речи, обусловленных затруднением в подборе необходимых слов.

А теперь очередь за выводами из нашего анализа.

Автор бессвязного монолога (Башмачкин, а не Гоголь!) явно растерян, сбит с толку, попросту - ошарашен каким-то ужасным невероятием и в итоге способен лишь беспомощно и жалостно сетовать на постигший его нежданно жестокий удар судьбы. Скажите, разве не так? Ну а если так, то, стало быть, и злосчастный монолог Акакия Акакиевича - вовсе не такая уж непроглядная невнятица, какую он представлялся читателю по первому впечатлению.

Между прочим, у гоголевского Башмачкина имеется в отечественной классической литературе достойнейший двойник по косноязычию - в лице Акима, персонажа пьесы Льва Толстого “Власть тьмы”. Можете судить сами по такому отрывку из названной пьесы:

“А к и м: Да ведь это, значит, тае, мужики кривые как-то, тае, делают, коли кто, тае, бога забыл, значит. Это, значит, не к тому”.

Коронными словечками Акакия Акакиевича были, как мы уже усвоили себе, “так”, “этак” и “того”; у Акима излюбленными речениями выступают “тае” и “значит”. По существу же речи того и другого схожи как две капли воды.

Оправдывать косноязычие никому и в голову-то не может прийти - упаси, как говорится, и пронеси! Оно всегда и безусловно показатель низкой культуры речи, которую надлежит поднимать и совершенствовать. И тем не менее нельзя не видеть, что и самые непритязательные частицы, наречия, местоимения, вводные слова, междометия, создавая особенный эмоциональный настрой, отнюдь не представляют собою чистейшей бессмыслицы,

Некоторые народные пословицы и поговорки удостоверяют это с поразительной наглядностью.

Баба – ай-ай, а муж - малахай. Надо полагать, подразумеваемая здесь жена - что называется бой-баба, а вот муж ее на таком-то ярком фоне определенно выглядит недотепой.

Чужой дурак - ха-ха! а свой дурак – ох-ох!
Старость - эхма! А молодость - ой-ой! В обеих последних поговорках характеристики - дурака, старости и молодости - состоят из голых междометий, а разве сквозь них не просвечивает всем доступный смысл?

У чужих жен мужья гляди каки; а у нас все вон эдаки. Не напомнила ли вам эта присказка строй речи незабвенного Акакия Акакиевича?!

Я было и тово, да жена не тово - ну уж и я рас-тово. Шутки шутками, а вот эта уж сентенция - точнехонько из репертуара чиновника А.А. Башмачкина!

В завершение познавательной экскурсии по собранию народных афоризмов В. И. Даля - пословичный диалог. Конечно, и он облечен в шутовскую форму. Первый из двоих собеседников нормально искренен, а второй, оставаясь себе на уме, притворяется - и очень искусно - таким Акакием Акакиевичем в юбке.

- Жена, а жена, любишь ли меня? - А? - Аль не любишь? - Да. - Что да? - Ничего...

В поэме А. С. Пушкина “Домик в Коломне” содержится чрезвычайно показательное рассуждение:

Отныне в рифмы буду брать глаголы.

Не стану их надменно браковать,
 Как рекрутов, добившихся увечья,
 Иль как коней, за их плохую статью, -
 А подбирать союзы да наречья;
 Из мелкой сволочи вербую рать.

В данный момент интереснее всего для нас с вами, читатель, не проблема рифмы в поэзии и не отношение к глаголу, а смысл заключительных строк стихотворной цитаты, в которых говорится о пользе союзов, наречий, а от себя добавим - еще и частиц, междометий, вводных словечек. И пускай не смущает несведущих определение “мелкая сволочь”: в пушкинское время “сволочь” еще не превратилось в стопроцентное ругательство, а обозначало (от глагола “сволакивать”) простую сборность, если хотите - нечто вроде нынешнего понятия “свалка”.

Эта самая “мелкая сволочь” в действительности играет далеко не микроскопическую роль в нашем лексиконе. Она - своеобразные соль, сахар, перец, горчица, шафран, гвоздика, - одним словом, та пряность, необходимая приправа к любому блюду, которая в значительной степени определяет оригинальные вкус и аромат русской речи.

Наиподробнее высказывание по этому поводу можно найти в превосходной книге писателя Алексея Югова “Думы о русском слове”.

“Вычеркиваются редакторами речения “ан нет”, аж (усилительная частица: “аж мороз по коже” и т. п.). Общее говоря, у нас в литературном языке нередко подвергаются произвольному, и по существу

невежественному, гонению многие наречия, многие частицы и так называемые модальные слова. Эти последние означают отношение всего высказывания или предложения к реальности; они означают: вероятность, возможность, желаемость или нежелаемость, опасение и тому подобные отношения говорящего к предмету речи. Именно частицам, наречиям, “модальным словам”, да еще особенностям русского глагола и обязан в первую очередь язык русского народа тем своеобразием, “обилием идиомов и русизмов”, о которых говорил Белинский.

Классики наши не только не гнушались, например, частицами, а, напротив, охотно к ним прибегали, в полном согласии с языком своего народа.

“Небось, у тебя... семейка немалая” (Герцен “Былое и думы”); “Знать, у бойкого народа ты могла только родиться” (Гоголь); “...авось-либо, вся его вчерашняя тревога напрасна” (Лесков “Соборяне”); “Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун” (Тургенев “Бежин луг”); “Это случилось очень просто, пожалуй, несколько бесстыдно, что ли...” (Горький “Карамора”); “Чай, заждался? Небось, бранил дядю за то, что не едет” (Тургенев “Дворянское гнездо”); “Он три дня точно прятался, видимо, избегал встречи” (Достоевский “Идиот”); “А только воз и ныне там” (Крылов).

Не говоря уже о Крылове, который “весь на этом стоит”, буквально неисчерпаемо количество всевозможных “модальных слов”, частиц, наречий, идиоматических фразеологических предложений у Лескова и у Л. Н. Толстого (особенно в его произведениях последнего периода)”

В дополнение к примерам Алексея Югова при совокупим со своей стороны еще несколько, И прежде всего обратимся к неувядаемому творчеству Н. В. Гоголя. В повести “Тарас Бульба” писатель

невозмутимейше (и как только проглядели тогдашние редакторы?) поставил совсем рядышком, вплотную одно к другому, два фактически односмысленных вводных слова в такой фразе:

“Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего...”.

Возможно, прецедент и не может служить предметом подражания, но и крамолы в себе не заключает.

Откроем томик с произведениями патриарха отечественной поэзии - Г. Р. Державина. Строфа из стихотворения “К самому себе”:

Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если мир за то бранится,
Что иду прямой стезей?

Здесь мы снова сталкиваемся с удвоением, только особого рода: в одной строфе и в одном предложении “что” употребляется в различных своих ипостасях - как обычный союз и в значении “зачем, для чего”.

Еще один смысл - “сколько” - того же самого, рядового и невыразительного, казалось бы, словечка обнаруживается в поэтических строках, принадлежащих А.Н.Майкову (стихотворение “Весна”),

А что шума, что гуденья,
Теплых ливней и лучей...

Вот каким многозначно полезным оказывается на поверку слово “что”, принадлежащее к ряду той самой “мелкой сволочи”!

Умение перевоплощаться свойственно многим представителям принижаемой лексической касты. А. С. Пушкин, “Домик в Коломне”: “Где была горда!”. Конечно же, нет и намека на местопребывание персонажа-гордячки, “где” заменило в данном случае “уж на что”. А. С. Грибоедов, “Горе от ума”: “чуть из постели прыг”, “чуть свет уж на ногах”.

Найдите способ сказать выразительнее и короче, не прибегая к услугам скромного “чуть”!

Не в прямом значении употреблено И. А. Крыловым и слово “куда” в нижеследующих басенных строках:

Петух нашел жемчужное зерно,

И говорит: “куда оно?”...

При этом сразу приходят на память другие разговорные выражения-восклицания: “где там!”, “куда там!”, “чего там!”, в которых вторую составную “там” - чисто орнаментальную - вообще не следует принимать всерьез, а к первой надлежит подходить с величайшей осторожностью, памятуя нестареющий завет шутника Козьмы Пруткова, изрекшего некогда: “Если на клетке слона прочтешь надпись “буйвол”, не верь глазам своим”...

Предоставим на обозрение дополнительно небольшой сериал из категории “нелепостей” эмоционального плана, стоит изъять которые - и наша живая и гибкая разговорная речь понесла бы невосполнимую утрату, враз потускнела бы и полиняла: “как бы не так!” (на этом речевом обороте держится, между прочим, одна из новомодных эстрадных песенок), “куда ни шло”, “где нам с ними тягаться” или “где уж нам уж выйти замуж”.

Продолжим, однако же, цитирование классиков. М.Ю.Лермонтов, “Герой нашего времени”: “добро бы я был еще его другом”... “Добро бы” к понятию доброты, собственно, ни малейшего касательства не имеет. Н.А.Некрасов: “Все еще плачешь никак?”. В контексте “никак” отказывается быть наречием и преобразуется во вводное слово, означающее “кажется; как будто; вроде бы”.

Константин Бальмонт:

Так и молви всем слепцам:

Будет вам!

Разумеется, ничего-то ровным счетом слепцам и не будет, как бы они ни провинились. Подлинный смысл глагола, поставленного в форму будущего времени и выступающего здесь в качестве наречия – “довольно; хватит; достаточно”.

И, кажется, не найдется такой человеческой эмоции, которую не в состоянии были бы выразить наши многочисленные междометия или их временные заменители из числа других частей речи. Наше “ах” передает, в зависимости от контекста, удивление, восхищение, испуг и некоторые другие чувства; “ох” - сожаление, печаль, боль; “ой” - испуг, удивление, страдание; “ой ли?” - сомнение, недоверие; “ого” - удивление, восхищение, иронию; “ага” - согласие или торжество; “ишь” - укоризну, изумление, восхищение.

Частица “ладно” переводится на бытовой язык как “да” или “хорошо”; частица “разве” имеет свой набор значений: “неужели”, “может быть”, “только”, “если не”...

Союз “благо” равнозначен “поскольку”. Слово “еще” и в качестве наречия, и в ипостаси частицы демонстрирует по меньшей мере десять (!) различных смыслов. Не рекорд ли?

Целую гамму чувств способно также выразить коротенькое междометие “ну”, зачастую играющее в речевом театре роль частицы: побуждение, удивление, восхищение, негодование, иронию, недоверие, досаду, согласие с предложением или утверждением собеседника. Для наглядной иллюстрации некоторых значений воспользуемся фразами, взятыми напрокат из словаря С.И. Ожегова: “Ну, рассказывай!”, “Ну и молодец!”, “Ну так что же?”, “Ну тебя!”, “Ну на него кидаться!”, “Ты пойдешь

гулять? - Ну пойду”, “Ну и ну!”, “Ну-ка”.

Охотно используют словечко-коротышку народные пословицы и поговорки: “Ты ну, я ну, а выехать не на чем”; “Все ну да ну, а тпрукнуть-то и некому”.

Свойственная многим модальным словечкам неоднозначность способна иногда и вводить в заблуждение. Об одном таком казусе рассказывается в книге В.В.Одинцова “Лингвистические парадоксы”.

“Сцена дуэли (“Евгений Онегин”, глава VI) – напряженный, драматический момент:

Онегин Ленского спросил:

“Что ж, начинать? - “Начнем, пожалуй”, -

Сказал Владимир...

Что значат это Начнем пожалуй? Не хочется, но раз пришли, так надо стреляться? Или Ленский раздумал, струсил? Ничего похожего. Если перевести пожалуй с языка Пушкина на язык наших дней, то смысл его ближе все-го к современному пожалуйста: а точнее, изволь”.

О том, что русскому человеку органически присуще применять в своей речи во множестве междометия, частицы, вводные слова, свидетельствует курьезный момент, связанный с визитом в Россию в 1858 году знаменитого писателя Теофиля Готье.

Знатный гость вращался, понятно, почти исключительно в кругах аристократических. Как истого француза, его с первых же шагов приятно поразило в новых знакомцах великолепное владение французским языком.

“Разговор постоянно поддерживается на французском языке, особенно если в доме есть гость-иностранец. В определенной среде все очень легко говорят на нашем языке, вставляя свою речь словечки современного разговорного языка, модные выражения, как если бы они его изучали на итальян-

ком бульваре. Здесь поняли бы даже французский Дювера и Лозанна, такой специфический, такой глубоко парижский, что многие наши провинциалы понимают его с трудом. У русских нет акцента, только легкая, не лишенная прелести мелодичность, которой в конце концов сам начинаешь подражать”.

Комплименты получать всегда приятно. Тем не менее наблюдательный писатель-путешественник сделал и весьма любопытный для нас вывод: “Здесь употребляются некоторые выражения, безусловно происходящие от соответствующих привычных национальных выражений и слов. Они свойственны людям, даже очень хорошо говорящим на языке, не являющемся их родным”.

Интересно, каковы же были слова и выражения, позволившие природному французу все-таки избаловать в своих петербургских собеседниках их русскую национальность?

На вопрос любознательного иностранца “Умер ли имярек?” странно для его чуткого слуха прозвучал услышанный им ответ по-французски, эквивалентный русским словам “непременно”, “совершенно”, “совсем”, “вовсе”, “безусловно”. Согласитесь, что “безусловно” применительно к кончине человека – по всей вероятности, вдобавок, весьма достойного – звучит грубо, если не кощунственно. А ларчик открывается достаточно просто: сами русские трактовали употребленный ими французский оборот как доморощенное “так точно”...

Во фразе “Вы уже видели Петербург или мадам Бозио?” петербургские вопрошатели пытались передать русскую конструкцию типа “Ну как, вы уже видели...” или “Так вы уже видели...”, используя для этого французские слова со значениями “стало быть” и “уже”. Но вот незадача: указанные слова подчеркивают совершенство действия, а глагол-то стоит при них – несовершен-

ного вида! В русском языке такое допустимо, а вот во французском в подобном случае может быть употреблен только глагол совершенного вида в прошедшем времени, без каких-либо сопутствующих элементов речи...

И ведь такие курьезы случались не где-нибудь, а в аристократической дворянской среде, где детей принято было обучать – с помощью гувернеров-иностранцев – французскому языку с малолетства, иногда даже ранее, чем начиналось систематическое освоение языка родного! Значит, природа брала свое несмотря ни на что. Как принято у нас говорить – шила в мешке не утаить.

ПРЕДЛОГИ-ВОРИШКИ

А воруют они, эти нимало не отягощенные угрызениями совести типчики... ударения. С изумительной бесцеремонностью отнимают их у законных владельцев – имен существительных, к которым, собственно, сами приставлены в услужение. То есть по существу нагло обкрадывают своих хозяев! Хотите пример? Пожалуйста!

Выходила на берег Катюша

На высокий берег на крутой...

Теперь убедились? Предлог “на” в первой строке бессовестно присвоил чужое ударение, оставив его истинного владельца – существительное “берег”, как говорится, несолоно хлебавши...

Следовало бы, кажется, возмутиться злостным криминалом, поставить надежный заслон из соответствующих грамматических установлений. А мы между тем не только с безмятежностью эту строку читаем и произносим, но и столь же благодушно поем. Что ж, выходит – такие кражи для русского человека дело привычное?

Именно так!

Достаточно малость покопаться в обширных

амбарах собственной памяти, чтобы извлечь из них на свет белый частенько употребляемые нами в разговорах друг с другом фразеологизмы: “это мне на руку”; “заготовить дров на зиму”; “поставить на ноги” и “поставить с ног на голову”; “с доставкой на дом”; “сказать на ухо”; “зуб на зуб не попадает”; “как бог на душу положит”... Целый вернисаж краденых ударений!

Однако на одних устойчивых словосочетаниях свет клином не сошелся. Мы вольны переносить ударение на предлог и по собственной воле всякий раз, когда это покажется удобным и необходимым. Особенно часто забавляются игрой в перебрасывание ударения-мячика поэты, и более всего те из них, чье творчество связано неразрывными узами с народной традицией.

У А.С.Пушкина: “Видно, на море не тихо”; “Три дома на вечер зовут”. У А.А.Блока: “Кто-то на плечи руки положит”. Песенное: “Все, что на сердце у меня”...

Но, может быть, мы имеем дело с частным случаем – с одиночным промыслом самого пронырливого из всех и наиболее охочего до чужой собственности предлога “на”? Как бы не так! Собратья наглого воришки на поверку ни на йоту не добродетельнее.

Несколько выборочных примеров с предлогом “за”: “за полдень”, “за полночь”, “за ногу”, “за руку”, “за душу”, “за спину”, “за зиму”, “за нос” (водить за нос), “за город” (поехать), “за год”, “за море” и “за морем” (“За морем житье не худо” – у А.С.Пушкина).

Примеры с предлогом “под”: “под ноги”, “под руки”, “под гору”, “под вечер”.

С предлогом “из”: “Из лесу” (“Я из лесу вышел” – у А.Н.Некрасова), “из дому”, “из носу”.

С предлогом “без”: “без вести” (пропавший), “без толку”, “без году неделя”.

С предлогом “от”: “час от часу”, “год от году”

(но “год от года”!), “от роду”.

С предлогом “до”: “до ночи”, “до смерти”.

С предлогом “по”: “по ветру”, “по носу”, “по уху”, “по полю”, “по лесу”, “по лугу”, “по полу”, “по два”, “по двое”, “по сердцу”.

Любопытно, что предлоги-воришки продолжают упрямо тянуть на себя одеяло и тогда, когда преобразуются в приставки: “бездарь”, “бестолочь”, “изморозь” и “изморось”, “заводь”, “заумь”, “набок”, “надолба”, “накрест”, “насмерть”, “порознь”, “наспех”, “настрога”, и “накрепко”, “начисто”, “оземь”, “отзвук”, “отмель”, “оттепель”, “побоку”, “придурь”, “окрик”.

И ведь не всегда удается оправдать такие перескоки, призывая в помощь логические доводы. Почему, например, “навзничь” произносится с ударением на первом слоге, а близнец по конструкции “навзрыд” - на втором? Другая пара двойников - наречия “наотмашь” и “наотрез”: в них ударны второй и третий слоги. Говоря “накоротке”, мы почему-то по-иному относимся к слову-родичу “накоротко”...

Дурной пример, как известно, заразителен: предлогам-воришкам в русском языке попугайски подражает в их сомнительном ремесле отрицательная частица “не”, как можно заключить по такой поэтической строке, принадлежащей Сергею Есенину:

Жил и не жил бедный странник...

с тою лишь разницей, что потерпевшим вместо существительного оказался глагол. Подкрепляет вышесказанное и народная пословица: “Не в пору обед, как хлеба дома нет”. В этом случае перетяжка ударения произошла, так сказать, через голову промежуточного звена - предлога “в”; охота пушке неволи - “ничто не загородит дорогу молодца”!

Впрочем, имеются примеры стяжательства той

же частицы и вовсе простенькие: “не за что” и “не на что”, “не к чему”, “нечего”, “не о чем” и “не с кем”. У Владимира Маяковского в стихотворении “Крым” воровская проделка особенно наглядна, так как ударное и обезударенное “чем” там непосредственно соседствуют.

Нашему
 Крыму
 с чем сравниться?
 Не с чем
 нашему
 Крыму
 сравниваться!

Срастаясь со знаменательными частями речи и становясь в результате приставкой, “не”, подобно предлогам, тоже не теряет дурной склонности к “перетягиванию каната”: “нечто”, “нечему”, “нечего”, “небыль”, “невидаль”, “недруг”, “непогодь” (но “непогода”), “нечет”, “нечисть”, “нехристь”, “нехотя” (но “неохотно”). Нагляднейший образец такой перетяжки - народная поговорка: “Где любя, там не дают; где нелюбы, там двух да трех”.

Судьбу шалунишки “не” всегда готова разделить родственная частица “ни”: “Отдай нищим, а самому ни с чем”. Как нетрудно было заметить наблюдательному читателю, истоки незаурядного языкового явления - перетаскивания ударения предлогами и приставками - обретаются в недрах устного народного творчества. Познакомимся еще с несколькими характерными фольклорными изысками.

Пораньше просыпайся, да за бога хватайся.
 К вечерне в колокол - всю работу об угол.
 Не всяка пуля по кости, иная и попусту.
 Пущен корабль на воду, сдан богу на руки.
 Не пришло поле ко двору, пускай его под гору.
 Пришлась ложка ко рту, да хлебать нечего.

Говорят с уха на ухо, а слышно с угла на угол.

Конечно, как и во многих иных обстоятельствах, не может не диктовать своих условий особенность речевого контекста. Надо уметь чувствовать различие в требованиях и возможностях разговорного просторечия, литературного языка, строго-деловой, а тем более профессиональной речи. Ну, например, произнося “уронил на пол книгу”, мы отнюдь свой язык не ломаем, однако же предпочтем все же оставить ударение на его законном месте в чисто деловой фразе: “На пол пошло полтора кубометра досок”.

Иной раз место постановки акцента может быть регламентировано контекстом более или менее строго. Мы произносим: “отодвинуть на сторону”, но скорее всего скажем: “встать на чью-либо сторону”, и “отправиться на чужую сторону”.

Вообще же в подавляющем большинстве случаев за самим говорящим остается право выбора, целесообразность которого всякий раз заново определяется требованиями смысла, стиля и благозвучия.

Возьмем для сравнения две песенные строки: “Во поле береза стояла” и “Матушка, матушка, что во поле пыльно?”. Ни одна из различных постановок ударения не вызывает ни малейших сомнений и слух не режет. Более того, оба варианта отличаются равно высокой поэтичностью!

Еще одна параллель, подтверждающая равноправие разных вариантов ударности: “Князь по полю едет на верном коне” - и “По полю, по полю, по полю / Кибитки цыганские шли”. Прекрасно, вне сомнений, звучит пушкинское “по полю”. Но ведь решительно ничем не хуже и эмоционально повторяемое во втором примере “по полю”.

Предоставленной нашим на диво гибким язы-

ком свободой с особенной охотой пользуются, как уже отмечалось, поэты. Цитировать можно до бесконечности, поэтому ограничимся двумя отрывочками из стихотворении Сергея Есенина.

По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

По лугу со скрипом
Тянется обоз...

Особенно эффективен в одной поэтической строке перекаат ударения с существительного на предлог и наоборот.

У А. С. Пушкина:

“Добрый путь вам, господа,
По морю, по Окияну”...

У Бориса Пастернака:

Вперед то под гору, то в гору
Бежит прямая магистраль...

Владимир Маяковский блистательно использовал воровские замашки отечественных предлогов, создавая свои свехоригинальные рифмы: “со снегу - сосенку”, “по две - подвиг”, “по льду - Аскольду”, “на ноги - мустанги”, “из носу - бизнесом”, “тягот - на год”, “за косу - загсу”, “на сто - хамства”...

Правда, у Маяковского перетягиванием ударения промышляют не только предлоги, но и имена существительные, местоимения, наречия, глаголы - вообще любые части речи. И все это поэтическое каскадерство служит единственной цели - созданию сложной и незатасканной рифмы: “я звал - язва”, “сор гони - госорганы”, “ввысь поведи - в исповеди”, “вор в ней - Калифорнии”, “тех, кто - архитектор”, “прежде чем лечь, она - вечно”...

Возвращаясь к теме предлогов-воришек, заметим, что чуткое ухо русского человека всегда само

по себе сумеет настроиться на необходимую именно в данный момент интонационную волну. Но несоизмеримо труднее дается такое умение иностранцу.

НЕПРАВИЛЬНО = ХАРАКТЕРНО

Это Лев Николаевич Толстой позволил себе столь отважное высказывание, которое наверняка повергло в смятение приверженцев строгих грамматических правил. Отвечая автору одной присланной ему “на суд” повести, великий писатель земли Русской писал следующее:

“Нечто еще, иногда неправильность языка. Но про это не стоит говорить. И не я буду в них упрекать. Я люблю то, что называют неправильностью, что есть характерность”.

И бывают же такие стечения: вольно или невольно, но Л. Н. Толстой по существу повторил глубокую мысль своего предшественника, другого русского гения - Александра Сергеевича Пушкина, которую тот, словно бы мимоходом, высказал в романе “Евгений Онегин”.

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

.....
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей...

Пушкинский пассаж подробно комментировал в книге “За языком до Киева” писатель Лев Успенский.

“Да, это шутка, но очень глубокомысленная /.../.

Возьмем искусственный пример: вообразите, что любящая мать шепчет своему малышу: “Доро-

гой мой сын Игорь! Я не сомневаюсь, что ты не в состоянии оценить всю силу моей любви к тебе, но знай, что она не имеет пределов и что, рассуждая по справедливости, ты должен отвечать на нее примерно таким же по силе чувством!”.

Вы навряд ли сумеете указать на какую-нибудь грубую ошибку в построении этой речи. Она безукоризненна с точки зрения правильности. Но думаете ли вы, что она уместна в данной ситуации, полагаете ли, что мальчуган прослезится, услышав эти слова, или сторонний слушатель скажет: “Боже мой, что за нежная мать!”.

Нет и нет! И если к вам самому обратится примерно с такими же словами ваша любимая дочка, вы испугаетесь: “Что за чудовище я породила! Это же чиновник какой-то, а не любящее существо!”. А вот слыша, как юная мама, тиская в восторге своего младенца, бормочет ему что-то совершенно нечленораздельное: “У-пу-пу-пу-сеночек мой... Ты мое золотенчко! Я тебя сейчас - ам-ням-ням... Ну посмей только, не полюби меня, когда вырастешь! Убью тогда, растерзаю тогда, маленькая негодница!” - вы не поставите говорящей (бормочущей, воркующей) в упрек ни того, что ее “речь” изобилует недоговоренностями, пуганицей в роде существительных (одно и то же существо оказывается и “негодницей”, и “пу-пусеночком”, и “золотенчком” - всех трех родов!), нелогичностью... Вы все равно сочтете это обращение к малютке лучшим, более уместным, вызывающим больше чувств, хотя, возможно, и сообщаящим меньше логических мыслей, менее “информативным”.

Речь неправильная оказывается лучше правильной? Да, это так /.../. ...И, позвольте надеяться, вы не придете в восхищение от приглашенных “предложений руки и сердца”: “Глубокоуважаемая Галина Валериановна! Я осмелюсь предложить Вам вступить со мною в

законный брак. Я решаюсь сделать Вам это предложение лишь после основательного обдумывания, и, полагаю, оно является окончательным к бесповоротным...”.

Возвращаясь к высказываниям Льва Толстого и Александра Пушкина, заметим, что вряд ли отыщется человек, способный заподозрить великих художников слова в том, что они призывали к безграмотности и анархическому неподчинению элементарным правилам грамматики. Но тогда возникает естественный вопрос: а что есть сама эта неправильность речи? Не точнее ли было бы обозначать этим термином просто всякое отклонение от общепринятой либо наиболее распространенной в сиюминутном обиходе нормы? Но в удивительном русском языке сколь угодно таких отклонений, в том числе даже узаконенных самой же привередливой и неуступчивой грамматикой!

Ну, например, по обычным канонам сравнительная степень от прилагательного “хороший” должна быть “хорошее”, не так ли? Между тем мы употребляем в своей речи инокоренное “лучше” и, кажется, никаких неудобств от того не испытываем, при том, что исходные прилагательные “хороший” и “лучший” выражают понятия далеко не однозначные.

Несколько по-иному сложилась судьба у сравнительной степени от прилагательного “плохой”, В литературном языке узаконена форма “хуже”, происходящая от другого слова - “худой”, лишь частично к первому синонимичного. Однако в живой речи нередко слышится “плоше”. И поэт Борис Слуцкий без оглядки на грамматическое правило смело ввел его, это забракованное “плоше”, в стихотворную ткань.

Заступаюсь за городскую старуху –
Деревенской старухи она не плоше.

Множественное число от слова “человек” - совсем не “человеки”, как следовало бы ожидать в соответствии с нормативами для всех вкуче имен существительных. Мы же говорим “люди”. Слова “человеческий” и “людской” - не в полном объеме синонимы. Но опять-таки это обстоятельство никого из нас не коробит, свыклись. И уже как раз наоборот - употребление формы “человеки” создает впечатление новизны и оригинальной свежести, как у Виктора Астафьева в его знаменитой “Царь-рыбе”:

“С той поры легла меж двумя человеками глухая, враждебная тайна”.

Или то же у Бориса Слуцкого:

Все - люди! Человеки, между прочим,
Я в человековеды себя прочил...

“Людоведы”, заметим попутно, навряд лигодились бы на замену уже из-за одного только неприятного созвучия со словом “людоеды”...

Похожая неурядица наблюдается и со словом “год”, которое в родительном падеже множественного числа неожиданно взбрыкивает и ни с того ни с сего преобразается в непохожее ни по внешности, ни по звучанию “лет”. Правда, в живом просторечии припеваючи живет и параллельная форма “годов”, а уж уменьшительное “годков”, тем более - “годочков”, невозбранно присутствует и в самой отборной, профильтрованной всеми фильтрами литературной речи.

Так вот, ежели условимся, что под определением “неправильности” следует понимать попросту несоответствие требованиям формальной логики, то тогда можно будет утверждать с полной уверенностью: русская речь буквальна напичкана разномастными несурзациами.

Объясните, пожалуйста, внятно: почему можно безнаказанно говорить: “добрая половина” чего-

либо? Разве существует в природе еще и какая-то злая половина предметов либо явлений?..

Или вот еще языковой казус. При случае мы произносим в сердцах: “все ноги исколол”. К чему же такая неопределенность - “все”, если ног у человека, любого не-инвалида, легко даже ребенку сосчитываемое количество. Не точнее ли было бы выразиться иначе: “две ноги исколол” или, на худой конец, “обе ноги исколол”?.. А также - по образу и подобию - “на две руки мастер” вместо привычно-неправильного “на все руки мастер”?..

В воспоминаниях об А. Л. Чехове А. Серебров (Тихонов) привел такой эпизод:

“...Да не-ет! - отмахиваясь от меня, как от табачного дыма, сердился Чехов. - Вы совсем не то цените в Горьком, что надо”.

Скажите на милость, как надлежит понимать это чеховское “да нет”: как утверждение или же как отрицание? Страннейшее столкновение в одном комплексе полных противоположностей! Конечно, правильное объяснение парадокса сыщется, но ведь обретается оно - за пределами элементарной логики: “да” в приведенном случае не утвердительная, а усилительная частица.

Не менее несуразными предстают в ярком свете здравомыслия разговорные выражения “как-никак” (а как же на деле все-таки?), “какой-никакой” (но какой-то же должен быть?), “где-нигде”. Полной копией “да нет” по степени несуразности можно засчитать наречное словосочетание “видимо-невидимо”...

Шаблон нередко выступает в роли нашего привычного путеводителя. Так, конструкция одного типа – “на радость”, “на горе”, “на несчастье”, “на беду”, “на страх” - воспринимается нами лояльно.

Вспомните у Есенина: “Дай, Джим, на счастье лапу мне”. Но вот в одной из песен репертуара Аллы Пугачевой на всю страну прозвучало нестандартное:

Играй на радость мне, играй на грусть...

Нельзя так сказать? А, собственно, почему нельзя? Ах, не принято... Но “на грусть” в сочетании с “на радость” - даже не просто позволено автору, но и замечательно!

Вернемся к нелепостям, так сказать, санкционированным. В повести Александра Солженицына “Раковый корпус” имеется фраза, которую, как обухом по голове, можно сразить наповал любого иностранца.

“Не-ет, это не наша мораль! - потешались золотые очки”.

Представляете: очки, которые не только обладают даром членораздельной речи, но способны даже потешаться над самим гомосапиенс, венцом всей живой и неживой природы! И, несмотря на это, читатель не воспримет казус трагически. Русско-му человеку не привыкать, ему с лёту понятно, что “очки” - лишь оригинальный псевдоним человека-очкарика.

Подобные переносы с людей на предметы неодушевленные - не редкость в отечественной художественной литературе. В ней найдется немало говорящих тулупов, шинелей, ватников и прочих вещей из нашего обихода.

Н. С. Лесков, “Леди Макбет Мценского уезда”:

“- Это уж всем известно, - отвечал тулуп, крытый синей нанкой”.

Владимир Маяковский:

...хихикала чья-то голова...

Осип Мандельштам:

И шинель прокричала сырая:

- Мы вернемся еще - разумеете...

Наконец настойчиво просят примеры персонафикаций из великолепной прозы нашего современника - писателя Евгения Носова.

Картинка в его повести “И уплывают пароходы, и остаются берега”. К пристани причаливает теплоход, и начинается извечное в таком случае действие.

“По длинным лавам, высланным на сваях от пристани к берегу, над зеленой стоялой водой, над осоками сходят на островную твердь и с выражением чинного умиления принимаются озираться вокруг”.

Фраза построена как безличная, но как вы-то, читатель, предполагаете, кто же это “сходит”, “умиляется”, “озирается”? Скажете - пассажиры причалившего теплохода? А вот и не угадали!

“Сбегают по сходням полосатые пижамы, пестрые куртки с капюшонами и без капюшонов, шумные шуршащие болоньи, молодцеватые округлоплечие свитеры” (свитеры, как узнается, даже плечи имеют!).

Действо-то, как предварялось, извечное, а вот талантливый писатель сумел преподнести его так, что оно воспринимается как нечто совсем новое и единственное в своем роде!

Рассказ “Шуба” того же автора. Мать и дочь из села, редкие гости в городе, приехали покупать пальто. Все чужое, незнакомое, недеревенское, удивляющее и одновременно пугающее.

“Мимо Дуняшки шли кепки и косынки, шинели и спецовки, шарфы и шарфики. Проходившие очки удивленно и близоруко косились на Пелагеин передник. Вертлявые береты больше поглядывали на Дуняшку. Она даже слышала, как один берет сказал другому: “Гляди, какая вишенка? Блеск! Натуральный напиток!”. И она деревенела от робости и сму-

щения. Проходили всякие шляпы - угрюмо надвинутые и лихо заломленные. И всякие шляпки”.

Далее по ходу рассказа задействована другая категория самодвижущихся вещей и предметов.

“Шныряли авоськи с картошкой и хлебом, плавно покачивались сетки с мандаринами, робко шаркали матерчатые боты, подпираемые костыльником”.

Чаянная матерью и дочерью покупка пальто состоялась. Гости города следуют по обратному маршруту к автобусу.

“А мимо все шли и шли поднятые воротники и шляпы, кепки и спецовки, очки и береты, цокали туфельки и шаркали матерчатые боты. Время от времени проходили раздутые портфели, и Дуняшке казалось, что они набиты сотенными, иногда проплывали лисы, уютно пристроившиеся под зонтиками”.

Если уж “серьезная” художественная литература не отвергает с порога подобные эффектные перелицовки, то как же могли упустить столь благодатный шанс писатели, работающие на веселой ниве юмора и сатиры? У Михаила Зощенко в его рассказах и фельетонах немало пассажиров типа: “Который в очках кричит...”; “До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды”. Правда, “который” заметно угрожает весь оборот сравнительно с обнаженными до конца “очками” и “усиками”...

Слово “лицо” нередко вполне легально подменяет собою в нашей речи обозначение человека. Достаточно вспомнить хотя бы протокольно-милицейскую формулу: “Лица в нетрезвом состоянии”. Куда более пространную вариацию на ту же тему находим в историческом романе Валентина Пикуля “Нечистая сила”.

“...Газеты, задавленные цензурой, оповещали читателей об убийстве Распутина в зашифрованном виде: “Вчера тремя неизвестными лицами убито известное лицо - жилец дома № 4 по Гороховой улице”.

Забавная газетная формулировка предоставила отличный повод деятелю Государственной думы Пуришкевичу, который на досуге баловался стихами, сочинить протяженнейший, во много строк, каламбур:

Твердят газеты без конца
 Насчет известного лица.
 С известным в обществе лицом
 пять лиц сидело за винцом.
 Пустил в присутствии лица
 в лицо лицу заряд свинца.
 Пропажа с лицами лица
 лиц огорчила без конца.
 Но все ж лицо перед лицом
 в грязь не ударило лицом...

О другом чрезвычайно широко распространенном языковом алогизме подробнее рассказано в занимательной книге В.В. Одинцова “Лингвистические парадоксы”.

“Вот строчка из Маяковского: Я бы в летчики пошел...”

Простой вопрос: какой падеж в летчики?

...В XI в. ...не было такой разницы между одушевленными и неодушевленными существительными и винительный падеж всегда совпадал с именительным. Тогда, например, говорили: выпусти ты свой муж, а я свой (“своего воина, а я своего”); повеле оседлать конь (мы бы сказали коня) и т. д.

Постепенно у некоторых слов винительный падеж начинает совпадать с родительным. Однако старые формы сохранялись долго. Даже у писателей XVIII и XIX вв. можно встретить винительный,

сходный с именительным (теперь у этих слов винительный совпадает с родительным). У Пушкина в “Сказке о золотом петушке” читаем:

Медлить нечего: “Скорее!

Люди, на конь! Эй, живее!

...Привычка скрывает от наших глаз странность, “неправильность” (с точки зрения современного языка) оборотов с винительным падежом типа пошел в летчики, выбран в депутаты, записался в дружинники, поехал в гости. Ведь “настоящий” винительный здесь - летчиков, депутатов, дружинников, гостей. Следовательно, это не седьмой падеж, а винительный, но сохранивший старую форму. ...Но зачем же потребовалось заменять форму именительного падежа формой родительного? ... При винительном, сходном с именительным, трудно было различать... “субъект” и “объект”. Сильно любила дочь мать. ...Двусмысленное Отец видит сын превратилось или в Отец видит сына, или в Сын видит отца в зависимости от смысла”.

Еще один пример алогизмов из той же книги. “Кажется, глупо спрашивать: какого рода числительное пять? ...А вот числительные один, миллион (а также миллиард, биллион, триллион. - В. К.) - мужского рода, а две, тысяча - женского. Кстати, тысяча может быть в единственном и во множественном числе. ...Как-то даже странно говорить о числе числительного. Сколько нелогичного!”.

И в самом деле: нелогичного, странного в нашей речи немало, стоит лишь приглядеться повнимательнее.

О некоторых других общеупотребительных языковых неправильностях писал в свое время в статье “О частях речи в русском языке” академик Л. В. Щерба.

“...Имена отвлеченные нормально не употребляются во множественном числе. Радости жизни представляются нам чем-то конкретным и не идентичным словам радость, тоска, грусть, ученье, терпенье и т. п.”.

Припомним в этой связи название одного из популярных в прошлом романов Константина Федина “Первые радости”.

Итак, имена отвлеченные лишаются официального права на обладание, подобно прочим, множественным числом. Но с ними не очень-то церемонятся поэты и писатели. В особенности отличался этим Владимир Маяковский. У него можно найти “неб” и “слав”, “множество эх” (от “эхо”), “природами хилыми”, “из своих облицованных нутр”.

Борис Пастернак тоже не стеснялся ставить во множественном числе имена отвлеченные: “Нечаянностях впопыхах”, “Забудешь неустройства”, “отдельных правд и кривд”.

И у Александра Солженицына читаем: “Между двумя вечностями”, “дальние светы фонарей и окон”, “умел особыми ладами здороваться”.

У него же находим примеры обратного преобразования знакомых слов, отлученных - опять-таки официальным предписанием, - напротив, от права на число единственное: “Каждая косма” (от “космы”), “бессильная к завиву космочка”, “свесил черную лохму” (от “лохмы”).

Возвращаемся к статье академика Л.В. Шербы.

“Золотой может принадлежать и к качественным, и к относительным прилагательным: золотое кольцо / уж на что у тебя зодотые кудри, а вот у нее еще золотее”.

Маяковский и Солженицын и касаются относительных прилагательных остаются единомышленниками: для них не составляет труда переводить их

в качественные. У Маяковского: “родовой”, “медненькими”, “бессоннейших”, “орлинее”, “чем дальше - тем ночнее”, “Где роза есть нежнее и чайнее?”. А полюбуйтесь, с какой свободой обращается Солженицын с тем самым полуотносительным недотрогой - прилагательным “золотой”, о котором рассуждал именитый ученый-языковед: “золотенькую”, “иззолота-серый”, “призолотой”, “отзолачивал” (глагол тоже не из примелькавшихся!). И еще у него же: “Но железен был закон спроса и предложения, железен закон планирования перевозок!”.

Воистину подлинному таланту податливый и гибкий русский язык препон не ставит!

Прелестные несуржицы составляют одну из наиболее характерных и в то же самое время привлекательных черт всякой поэзии. Их без труда и в огромном изобилии можно отыскать у разных художников слова - как принадлежащих давнему прошлому, так и современных.

У Игоря Григорьева, например, обнаруживается вот какой ничуть не случайного происхождения парадокс:

Такую ночь повстречать

Не каждый день случается...

Если не принимать в расчет расширительный и отвлеченный смысл словосочетания “не каждый день” (не всегда, не всяким разом), то получается безусловная несообразность: “повстречать ночь” среди белого дня при всем желании нет никакой возможности... Но читатель-то понимает эту фразу как надо! Правильно, без насилия над собой воспринимаем мы и похожий словоробус в повести С.Т. Аксакова “Детские годы Багрова-внука”: “Всякий день по ночам бывали морозы”...

Неканоническое словоупотребление было в высочайшей степени свойственно прозе многих на-

ших классиков, в особенности отличался этим Н.В. Гоголь. В его “Петербургских повестях”, например, то и дело попадаются нестандартные словечки, речевые обороты, целые развернутые фразы: “наконец - конец!”, “лошадиная морда помешалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку”, “написавшись всласть”, “но потом как-то привыклось”, “когда все это купится”...

Встречаются подобные вольности обхождения со словом и в повести “Тарас Бульба”: “коренастая рука”, “слеза тихо круглилась на его зенице”, “верхние листья верб начали лепетать”, “потрясли бывалыми головами”...

Непринужденное обращение писателя с параграфами официальных учебников не осталось незамеченным тогдашней бдительной и зубастой литературной критикой. Она дружно ополчилась на “неопытность, шаткость в языке, а иногда и явное незнание грамматики”. Трудно даже поверить, что такое говорилось на полном серьезе об авторе, как никто другой проникавшем в самые сокровенные тайны живой народной речи!

Вот что писал в 1842 году в “Русском вестнике” по поводу особенностей стиля поэмы “Мертвые души” отнюдь не третьеразрядный для своего времени публицист и литературный критик Н. Полевой:

“Где вы слыхали следующие, например, слова на святой Руси: “в эту приятность чересчур передано сахару” - “болтая головою” - “встретил отворяющуюся дверь” - “здоровье прыскало с лица его” - “юркость характера” - “пропал, как волдырь на воде”... - “краюшка уха его скручивалась” - “сап лошадей”, “шум колес” - “седой чапыжник, густою щетиною вытыкавший из-за ивы”? Мы могли бы усотерить примеры, но и в приведенных нами многих не видите ли вашего незнания русского на-

родного языка? (Какая самоуверенная ирония! – В. К.). По-русски говорится переложить сахару, а передать сахару не русская фраза ... головой у нас качают, а не болтают; встретить можно только то, что идет навстречу; на воде вскакивают пузыри, а волдырь говорится о пузыре или шишке на теле... краюшка, говоря об ушах, не употребляется; сап значит болезнь лошадей, а не сопение; колеса у нас скрипят, стучат, а не шумят; чапыжник значит мелкий срубленный кустарник, а не растущий, и где вы слыхивали слова: прыскало здоровье, юркость нрава (а не характера)... в том значении, в каком вы их употребляете? Никто не отвергает обогащения языка простонародными словами, но для того надобно знать язык простонародный, иметь вкус, а еще более хорошо узнать науку русского слова”.

Вот так-то, ни больше ни меньше! Нет знания, нет и вкуса, да и вообще чужда зазнайке-писателю Гоголю наука русского слова, и все тут!

Неизвестно, могло ли утешить Гоголя, читавшего разгромные рецензии, то обстоятельство, что и самому Пушкину приходилось отбиваться изустно и печатно от яростных нападков литературных критиков - верных оруженосцев грамматического буквализма.

На поживу нынешним Полевым - а таковые находятся в любую эпоху! - умеренная по объему подборка дерзостных выражений, позаимствованных из произведений Александра Солженицына: “поговорить из угла в угол”; “Еще что-то там в тебе кровообращается или пищеварится”; “возвращался в свое жесткое лицо и медленную речь”; “Уже вставши во всю свою долговязость”; “посмотрел увеличенными глазами”, “непросвещенное неразвитое лицо”; “И угрозно-строгое выражение хирурга тоже легко раздвинулось в смех”; “помахивая избыточными рука-

ми”; “пятимартовскую ампулу” (по типу - “первомайский праздник”, “первоапрельская шутка”).

Индивидуальный стиль писателя - это и свой, предпочитаемый строй и ритм фразы, и собственные языковые пристрастия либо, напротив, неприятия. Вторгаться в него, имея в качестве весомых доводов одни только жесткие установки школьной грамматики, - занятие мало сказать неблагоприятное, но и прямо вредоносное.

Нет-нет, высшая правота не на стороне рьяных и близоруких буквалистов, она - за Александром Блоком, который в письме 1909 года к С.К.Маковскому объяснял суть конфликта между автором и его критиками так:

“...всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах не случайна, за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать; иначе говоря, мне так “поется”, я не имею силы прибавить, например, местоимение к строке “вернув бывалую красу” в “Успении” (сказать, например, “вернуть ей прежнюю красу” - не могу - не то)”.

Примечательно, что критики, выступавшие с суровыми обвинениями Гоголя и Пушкина в недопустимом отступлении от правил грамматики, ссылались как на надежную для себя опору и наивысший авторитет на русскую “простонародность”, но если бы они только дали себе труд повнимательнее прислушаться к истинно народной речи, то сколько же открыли бы в ней “неправильного” - еще и гораздо выразительнее того, что столь настойчиво и въедливо изыскивали и над чем потешались в произведениях подследственных писателей и поэтов!

Однако, прежде чем обратиться к народной речи более основательно, дадим прямое опровержение на одно из хлестких замечаний Н.Полевого: “Вздул-

ся волдырь (пузырь), да и лопнул”. Поговорка свидетельствует о полной синонимичности двух спорных речений.

А у поэта Бориса Слуцкого - повтор, по существу, еще одной гоголевской “ошибки противу науки русского слова”:

В двери коренастые вхожу.

Томы голенастые гляжу.

У Гоголя, если помните, было - “коренастая рука”, у Слуцкого же того хлеще - “коренастые двери”...

Неутомимый собиратель жемчужин отечественного фольклора В.И. Даль недаром сопроводил пословицу “Лапоть знай лаптя, а сапог сапога” восторженным комментарием: “замечателен вин. п.” (винительный падеж). Однотипны и некоторые другие народные афоризмы: “Чин чина почитай, а меньшей садись на край”, “Про тебя, про света, все приспето”, “Наряди пня, и пень хорош будет”, “Не найдешь паренька - выйдешь и за пенька”, “Домашняя копейка рубля бережет”.

В этих пословицах сознательно не учитывается разница в склонении существительных, обозначаемых предметы неодушевленные либо одушевленные. И такое пренебрежение может представляться неправильным лишь с точки зрения формальной, поскольку под лаптем, сапогом, чином, пнем, светом, пеньком, словно в басенном жанре, равно подразумеваются живые люди. Форма “рубля” - уже результат аналогии. Однако и в этом случае ощущается нарочитое и почтительное возвышение понятия путем персонификации.

Пословицу “Старого не бьют, мертвого не кают” предусмотрительный В.И. Даль тоже посчитал необходимым сопроводить ремаркой: “здесь каять

гл. действ.”, - то есть глагол действительного залога. Чем же она вызвана? А тем, что общеупотребительная форма этого глагола - “каяться”. Значит, как и в предшествовавших примерах, сталкиваемся с нарушением очередного правила, закона, установления. Однако не в этом ли как раз и заключается неповторимая прелесть смелого и гибкого народного словотворения!

Суровый порою до тюремности грамматический регламент не признает и такого вольного обращения с притяжательными прилагательными, какое демонстрирует во множестве собрание народных пословиц и поговорок: “дуракова семья”, “гостин приезд” и другие,

Неведома официальной грамматике и краткая форма слова “много” - уже потому хотя бы, что ему высочайше отказано в единственном числе. А вот российскому фольклору краткая форма знакома, что бесстрашно показывает пословица “В учении не много, да в разуме тверд”.

Интересно, что, только превратившись по смыслу в существительное среднего рода (“Многое нам неясно”), это прилагательное может претендовать на запретное единственное число. Однако оно, и не изменяя личины, к тому же в женском и мужском роде равноправно, - в порядке вещей у Александра Солженицына: “Она оставляла еще многою недоделанную работу”, “после многого страха”.

Не по формальной логике скроены и сшиты пословицы и поговорки: “Кто голенаст, а кто бедерчат” (“бедерчат” литературному языку незнакомо), “На людей глядя жить - на себя плакаться”, “Край смерти ходить” (вместо “у края”, “с краю”), “Не на своих ногах уплелся домой” (а на чьих же тогда?!).

Подводя итог, поневоле задумаешься над воп-

росом: что же, русский человек таково уж устроен, что ну просто обожает говорить не по правилам?..

На эту немаловажную тему весьма квалифицированно рассуждал один из персонажей французского писателя Анатоля Франса.

“Языки подобны дремучим лесам, где слова выросли, как хотели, или как умели, встречаются странные слова, даже слова-уроды. В связной речи они звучат прекрасно, и было бы варварством подрезать их, как липы в городском саду... Такие слова, - несомненно, уроды”.

Да позволено будет к удачному сравнению языка с лесом в противоположность ухоженному парку добавить авторское стихотворение, могущее в данном случае послужить своего рода иллюстрацией тому в эмоциональном плане.

Сравнивая стриженую зелень
С нерасчесанными прядями берез,
С непролазью вересков и елей,
Предпочту разгульный я хаос.

Пусть просвечены насквозь аллеи парка,
До соринки вычищены пусть -
В парке мне ни холодно ни жарко,
И не дрогнет равнодушный пульс.

Тут ни воспарить, ни обмануться,
Тут пройдет свободно и слепой.
Я ж, рискуя сбиться и споткнуться,
Рад брести извилистой тропой,

Отводя рукою пики веток,
Огибая топь и бурелом...
Лишь турист я в чинном парке этом,
Ну а лес - он мне родимый дом!

Продолжим теперь цитирование Анатоля Франса. “Мы говорим: “сегодняшний день”, то есть “сегодняшний день”, между тем ясно, что это нагромождение одного и того же понятия; мы говорим: “завтра утром” а это то же, что “за-утра утром”, и тому подобное”.

Отвлечемся на мгновение еще раз. У А.С.Пушкина в поэме “Полтава” мы встречаемся с обеими формами слова “завтра”.

Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни...

А завтра, завтра... содрогаясь,
Мазепа отвращает взгляд...

У М.Ю. Лермонтова в стихотворении “Бородино” старая форма слова тоже присутствует:

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый...

Добавим еще, что наше “завтрак” лишь исходно связано с “завтра”, а в действительности речь идет о приеме пищи сегодня утром!

Снова продолжим цитату.

“Язык исходит из недр народа. В нем много безграмотностей, ошибок, фантазии, и его высшие красоты наивны. Создавали его не ученые, а люди, близкие к природе. До нас он дошел из глубины веков... Будем же пользоваться им как драгоценным наследием. И не будем слишком придиричивы...”

К этому здравому рассуждению хочется добавить совсем немного.

Казус со словом “сегодняшний” имеет весьма почтенный возраст. Об этом можно судить по тому, что еще в 1802 году Г.Р.Державин ничтоже сумняшея писал в стихотворении “Деревенская жизнь”:

Севодни мой лишь день...

Таким образом, нынешнее песенное “А сегодня у меня день рождения” всего-навсего осовременило старинную державинскую фразу. А еще наши лекторы и докладчики с каким-то непонятным наслаждением любят повторять: “На сегодняшний день... имеется...”.

Легкокрылым мотыльком слетает с наших уст словосочетание “вчера вечером”; в ходу также и “вчерашний вечер”. А между тем “вчера” и “вечер” – слова кровнородственные. Нас это не смущает нисколько, как не смущало и Афанасия Фета, написавшего в одном из стихотворений:

А вчера у окна ввечеру...

Согласитесь, “вчера ввечеру” – не лучше и не хуже, чем “сегодняшний день” или “завтрашнее утро”...

Или примем на лабораторный анализ еще одно слово из популярного нашего лексикона – “чернила”. Некогда они изготовлялись на Руси из так называемых “чернильных орешков”, иногда из печной сажи – и всегда были только черными. Отсюда и закрепившийся в названии корень “черн”. А сегодня мы словом “чернила” без угрызений ума обозначаем равно красную, синюю, лиловую и вообще любого мыслимого цвета красящую жидкость для письма.

Если подыскивать подходящее сравнение для характеристики русского языка, то впору представить его в образе возросшего на полной воле в степном табуна красавца коня. Он брыкается и норовит сбросить седока или уклониться от запряжки, если его пробуют насильно взнуздать, обрядить в слишком тесную и неудобную в движении-полете упряжку.

И надо ли пенять за это вольнолюбие резвому и своенравному скакуну?

СВОБОДА БЕЗ АНАРХИИ ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ...

“Немецкую книгу читать не так уж трудно, - язвительно заметил некогда большой шутник Марк Твен, - надо только поднести ее к зеркалу или стать на голову, чтобы перевернуть порядок слов...”.

Для вящей убедительности американский писатель-юморист приводил в качестве подходящего учебного наглядного пособия типичную немецкую фразу и комментировал ее самым безжалостным образом:

“Вот для примера фраза, позаимствованная мною из превосходного популярного романа, она заключает в себе небольшое вводное предложение. Я даю здесь буквальный перевод и ставлю в помощь читателю скобки и дефисы, хотя в подлиннике ни того, ни другого нет. Там вы полностью предоставлены самому себе - добирайтесь как знаете в потемках до отдаленного глагола.

“Когда же он на улице (в шелку-и-бархате-щеголяющую-и-крикливо-по-последней-моде-разодетую) государственную советницу встретил” и т. д. и т. д.”.

И даже это извилистое, подобно ползущей змее, построение - еще отнюдь не рекордное по протяженности и затрудненности для восприятия. Писатель упомянул, кроме того, о многострочных предложениях-гигантах, в которых только за последней строкой “идет глагол, и только тут вы узнаете, о чем, собственно, идет речь”.

Продолжая в свойственном ему ироническом ключе, Марк Твен отважился на нечто небывалое в исторических анналах, а именно: порекомендовал малосообразительным с его точки зрения немцам решительно пересмотреть и реформировать свою грамматику:

“... я передвинул бы глагол поближе вперед. Какой бы дальнобойной силой ни обладал глагол, он, при нынешних немецких расстояниях, не накроет подлежащего, а разве только покалечит его. А потому я предлагаю, чтобы эта важнейшая часть речи была перенесена на более удобную позицию, где ее можно было бы увидеть невооруженным глазом”.

Что и говорить – отзыв американского писателя о свободе слова по-немецки весьма нелестный! Ну а в родном-то нашем русском как обстоит с этим дело?

Да очень хорошо обстоит, можно даже заверить - распрекрасно. И в этом легче легкого убедиться воочию каждому, кто ни пожелает.

Во-первых, расстояние между подлежащим и сказуемым у нас не пугающе огромное, а вполне умеренное. Подчас же оно и напрочь отсутствует: идут себе оба рука об руку, бок о бок, словно бы наилучшие друзья-приятели в целом свете.

Во-вторых, посадочные места того и другого в отечественном предложении не подлежат жесткой регламентации. Выражаясь современно, подлежащее и сказуемое пользуются в пределах фразы изумительной свободой передвижения сквозь абсолютно прозрачные внутренние границы. Они не встречаются на своем пути никаких запретительных шлагбаумов, подчиняясь только естественным требованиям смысла.

Неплохой по доходчивости иллюстрацией к сказанному могут послужить, пожалуй, очень милые по-своему песенные перевертыши.

А я поеду в деревню к деду,

В деревню к деду поеду я.

и вот еще однотипное:

Опять мои дела белы как сажа,

Белы как сажа все мои дела...

Полубуйтесь, с каким беззаветным дружелюбием, без никаких вам пограничных недоразумений, подлежащее и сказуемое меняются в этих двустипиях местами, не забывая, впрочем, выдерживать при этом такое между собою расстояние, чтобы не утратить чувство локтя!

В обычной речевой практике мы чаще всего все-таки ставим подлежащее непосредственно перед сказуемым - это самый естественный порядок слов. Однако ничто не препятствует заведенный порядок нарушить. И при этом достигается заметное изменение ритмического рисунка всего предложения. Сравните для примера два маленьких произвольных текста.

1. Деревня заснула. Огни в окнах погасли, людской говор не слышится, собаки не лают.

2. Заснула деревня. Погасли в окнах огни, не слышится людской говор, не лают собаки.

Второй вариант довольно часто встречается в пейзажных зарисовках, он кажется более поэтичным. Пригодна эта конструкция и в эпическом повествовании. В исторических романах и повестях обратный порядок слов нередко используется как элемент стилизации.

“Летели комы с копыт. Блестела листва на березах. Ветерок стал пахучий. Навстречу тянулись пустые телеги с мужиками, с непроданной коровенкой или хромой лошастью, привязанной к задку. Проплывал верстовой столб с орлом и цифирью: до Москвы 34 версты...”. (А.Н. Толстой, “Петр Первый”).

Еще с большим на то основанием такой стилизованный повествовательный строй можно обозначить как балладный. Он по существу одухотворяет всю целиком историческую поэму Дмитрия Кедрина “Зод-

чие”.

Как побил государь
Золотую орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель, -
Гласит летописца сказанье, -
В память оной победы
Да выстроят каменный храм.

Это был плавный зачин поэмы. А вот какова самая ее концовка:

И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд.
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гуслияры.

Такая конструкция сама по себе создает небольшие удобства для поэтов в особенности. Но еще важнее та свобода, с какою можно по собственному произволению изменять порядок слов в одном опусе или в части его сколь угодно часто. Напомним в этой связи хотя бы общеизвестное описание унылой осенней поры в романе А. С. Пушкина “Евгений Онегин”.

Уж небо осенью дышало.
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван
 Тянулся к югу: приближалась
 Довольно скучная пора;
 Стоял ноябрь уж у двора.

В неполной поэтической строфе подлежащее и сказуемое меняют - заметьте, в одной всего лишь фразе! - места относительно одно другого целых пять раз! Это, между прочим, одна из причин, притом очень существенная, того, что достаточно пространное описание поздней осени не создает-таки у читателя впечатления монотонности и излишней затянутости.

Отдав дань легкокрылой поэзии, возвратимся снова в мир суровой прозы.

“Два русских гудошника, за пятак до вечера нанятые, при отъезде посла заиграли гнусаво”.

Эта фраза взята из исторического романа Валентина Пикуля “Слово и дело”. Что-то она нам очень сильно напоминает, не правда ли?

Сказуемое “заиграли” помещено в этом предложении едва ли не в самый хвост и на солидном удалении от подлежащего; сдвинуты с обычных мест также причастие “нанятые” и наречие “гнусаво”; вдобавок и слова “при отъезде посла” поставлены в неудобную позицию. В результате фраза получилась тяжелой и какой-то корявой, что ли.

Ну, теперь-то догадались, узнали? Конечно же, это уменьшенная копия с немецкого образца, над которым так потешался остроумец Марк Твен! Однако если уж быть языковой демократии - то полной, без каких бы то ни было субъективистских изъятий и ограничений. При настоятельной нужде великодушный русский язык даже и такую тяжеловесную конструкцию расположен удочерить и принять как родную...

От проблем, связанных с местом в предложении подлежащего и сказуемого, логично будет теперь перейти к прочим субъектам речестроя.

“Слова определительные, означенные прилагательными и местоимениями, - писал виднейший российский языковед прошлого Ф.И. Буслаев, - также свободно поставляются и перед определяемыми словами, и после них; напр., “в это время” и употребляемое в церковнославянских книгах: “во время оно”.

... Впрочем, собственное место определительного обыкновенно бывает перед определяемым: напр., “добрые люди”, “теплое время”.

(В названии романа “Люди добрые” одного из современных авторов (Л.И. Малякова) акцент на определении усилен сравнительно со словосочетанием “добрые люди”. – В.К.).

Примеч. 3. Превращение этого порядка иногда бывает нужно для выражения самого смысла речи, именно для того, чтобы обратить внимание на определенное слово: “брань славна, луче есть мира студна”, Продолж. Лавр. сп. лет., 170; иногда же служит только для плавности речи, как напр., “солнце вечернее освещало картину великолепную”, Бат., 1, 335. Этим порядком слов особенно пользовался Карамзин для того, чтобы плавно заключать периоды, предложения и даже отдельные члены предложений. Теперь такой порядок слов кажется манерным.

... О нескольких определениях при одном определяемом должно заметить следующее:

а) Из двух прилагательных ближе ставится к существительному то, которое означает его ближайший признак; напр., “тихий летний вечер”. Впрочем, народная речь отступает иногда от этого правила; напр., “ночка темная, осенняя”.

Примеч. 4. Иногда ближайшее по значению прилагательное ставится после существительного; напр., у Карамз. “устраним дела внешней политики, чтобы говорить о любопытных, важных происшествиях внутренних”.

Ф.И. Буслаев трактует о правилах или предпочтениях, регулирующих порядок слов в русском предложении. Однако обратите внимание: почти каждое из этих правил сопровождается у него вынужденными оговорками. Иначе и быть не может. Живая речь ориентируется всегда и прежде всего на целесообразность и вносит свои поправки в любой регламент. А она-то в конечном счете и является высшим судьей.

Вернемся немного назад, чтобы напомнить читателю буслаевское суждение – “Теперь такой порядок слов кажется манерным”. Разумеется, слово “теперь” относилось к тому времени, в котором жил и творил сам ученый, то есть ко второй половине XIX столетия. Но и позднее манерный порядок слов находил себе немало приверженцев и поклонников. Любопытна в этой связи авторская ремарка по поводу красноречия одного из персонажей романа Марка Алданова “Ключ” - князя Горенского:

“Слова о народе русском (он в речах для красоты слога обычно ставил прилагательное после существительного) неожиданно дали ему возможность попутно набросать характеристику русской души”.

Иронический подтекст замечания автора – налицо!

До сих пор разговор шел о подлежащем и сказуемом, об определении и определяемом. Но практически и все другие члены предложения - дополнения и обстоятельства - обладают в русском языке беспримерной свободой в выборе своего местоположения.

Инверсия, то есть изменения обычного порядка

слов, - излюбленный прием в поэзии. Например, в стихотворении “Арбуз” Эдуарда Багрицкого: “На мель нас кидает, / Нас гонит”; у Игоря Северянина - “Сирень, сирень в моем саду! / В моем саду - сирень!”; “Она мне прислала письмо голубое, / Письмо голубое прислала она”. Но наилучшая иллюстрация – и по впечатляемости, и по изяществу исполнения – стихотворение Игоря Северянина “Поэма тебе”, в котором четырежды варьируется порядок слов в первых строках строф.

Ни с кем сравнить тебя нельзя:
Сама ты по себе.
К тебе по лилиям стезя.
Молиться бы тебе!

Тебя ни с кем нельзя сравнить:
Ты лучше, чем мечта!
Тобой дышать, тебя любить,
Святить твои уста.

Сравнить нельзя ни с кем тебя:
Ты – женщина, а те,
Кого, вводя в обман себя,
Так звал, - барьер к мечте!..

Нельзя тебя сравнить ни с кем:
Ни на земле, ни вне ...
Твоею музыкой я нем, -
То смерть пришла ко мне.

Очень важно, что постановка на первый план то одного, то другого слова или словосочетания (“ни с кем”, “тебя”, “сравнить”, “нельзя”) автоматически служит усилению его значимости в общем контексте.

Обобщая сказанное, нелишне будет заметить, что при необходимости обозначить в речи наиболее важное

по смыслу слово оно может выделяться голосом, благодаря чему становится особо ударным. Интонационное сверхударение зачастую дополняется как раз соответствующей перестановкой слов внутри фразы.

Сравните, например, такие, произвольно составленные, пары вопросов и ответов на них.

- Со мной ты пойдешь? – Да, я.

- Ты со мной пойдешь? – Нет, с Петром.

- Пойдешь ты со мной (наконец)? – Иду-иду, уже одеваюсь.

В отличие от общеизвестной математической формулировки перемена мест слагаемых вполне может изменить сумму, то есть в нашем случае - общий смысл. Выражение “честно говоря” можно услышать в разговоре нередко. В нем интонационный упор делается на необязательном для общего смысла слове “говоря”. При инверсии же - “говоря честно” - ударность слова “честно” придает ему самостоятельное, повышенное значение. Таким образом, перенос сверхударения, сопровождаемый перестановкой слов, привносит существенный смысловой оттенок.

Сходную картину можем наблюдать при использовании предлога или послелога “ради” в параллельных словосочетаниях “ради чего” и “чего ради”. И уж вовсе лишне объяснять разницу в смысле коротеньких речевых ремарок-перевертышей: “Ну да!” и “Да ну!”

Многим знакома, наверное, потешная присказка: “Не потому что, а потому, что”... При всей забавности в присказке тоже содержится рациональное зерно: второй вариант гораздо жестче сориентирован на указание причинности.

Сравните также разговорные выражения “не совсем то” и “совсем не то”. В первом случае отрицание частичное, во втором – полное.

Особый интерес представляют комбинации с числительными типа: “два часа” - “часа два”, “три ведра” - “ведра три”, “четыре килограмма” - “килограмма четыре”. Вторые варианты указывают на неопределенность, приблизительность счета, в то время как первые претендуют на точность абсолютную. То и другое применительно к “разам” нарочито подчеркнуто в строках поэта Бориса Слуцкого:

Раза два. Точнее, два раза.

Раза два. Не более двух

Мировой посетил меня дух.

Самолично!

И это не фраза.

В повести Н.В. Гоголя “Шинель” в подобной же конструкции задействованы не мешки, ведра или килограммы, а ... слова:

“Так как мы уже заикнулись про жену (портного Петровича. – *В.К.*), то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотой, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос”.

Как видим, хотя о жене Петровича известно было мало, гоголевские “слова два” растянулись-таки в пространную характеристику...

Так же и в поэме А.С.Пушкина “Граф Нулин” после слов:

.....Тем и сказка

Могла бы кончиться, друзья;

Но слова два прибавлю я.

Последовало еще целых девятнадцать не слов, а строк!

На другой казус, связанный с порядком слов,

наталкиваемся в повести Юлиана Семенова “ТАСС уполномочен заявить...”. Привыкший к армейской точности во всем решительно генерал разговаривает с женой по телефону:

“...Константинов ... позвонил Лиде и предупредил ее, что ждать будет у проходной в девять пятьдесят пять.

- А без пяти десять ты не можешь сказать? – улыбнулась Лида.

- Могу, но в этом будет некая сослагательность. И потом я не люблю слова “без”, в нем какая-то унылость скрыта, - ответил Константинов”.

Говоря в своей “Исторической грамматике русского языка” о месте в предложении отрицательной частицы “не”, Ф.И. Буслаев сделал мимоходом еще и любопытнейшее наблюдение в разбираемом им тексте комедии А.С.Грибоедова “Горе от ума”:

Частица не становится перед тем словом, которое отрицается; напр., у Гриб. “конечно не меня искали” (подразумевается: а кого-нибудь другого); на это ответ, выраженный уклончиво: “я не искала вас”, вместо прямого ответа: “не вас искала я””.

Ай да Софья! Ай да хитроумница! С помощью элементарной лингвистической уловки так выпутаться из неловкого положения!

Большой свободой расположения внутри фразы пользуются наши частицы уж и бы. В речевой практике одинаково допустимы все три представляемые ниже вашему вниманию варианта: “Уж небо осенью дышало”, “Небо уж дышало осенью”, “Небо дышало уж осенью”; “Пришел бы ты пораньше”, “Ты бы пораньше пришел”, “Пораньше бы ты пришел”.

Даже из распространенного в нашей речи сочетания местоимения с частицей - что бы - эта самая бойкая частица, словно бы из тюрьмы, исхит-

рется выбежать на вольный простор. Можно говорить “Что бы еще предложить?”, но не заказано переиначить тот же вопрос: “Что еще предложить бы?”. В принципе не исключается и третий вариант: “Что еще бы предложить?”, - хотя он и утяжелен фонетически, а кроме того, основательно запутывается наличием в разговорном обиходе другого распространенного фразеологизма - еще бы - с отвлекающим собственным смыслом.

Широчайшей свободе слова по-русски посвятил великолепный дифирамб писатель Валентин Иванов в своем историческом романе “Русь Великая”.

“Русская речь вольная - как хочу, так и ставлю слова, и слова обязаны быть легче пуха: мысль станет уродом, если слова тяжелы, если на речь надето заранее изготовленное ярмо непреложного закона”.

ДЕДЫ И ДЕДЫ

Словари оказались на сей раз единодушными в своем консерватизме: они признают, увы, только одно ударение в слове “деды”, а именно - на первом слоге. Ну разумеется, все мы хорошо помним есенинское:

И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Но ведь в стихотворении-то говорится о дедах-предках, а не о тех дедах-стариках, которые так обожают погреть свои ревматические косточки на завалинке в теплый солнечный денек. А таким как раз гораздо сподручнее ударение на втором, а не на первом слоге: “Собрались все поголовно, седобородые деды рядышком с бойкими малолетками и зрелыми мужами”...

Смысловое разграничение здесь примерно такое же, как и в словесной паре “сыны” и “сыновья”: первые

хороши, когда мы с пафосом толкуем о сынах Отечества, вторые пригоднее в контексте семейно-бытовом. Да вот незадача: “сынов”-то и “сыновей” помогает различать умный суффикс, а на долю двуликих “дедов”-горемык остаются лишь ударения. Но и той единственной счастливой возможности лишают их, как мы видели, необоснованно суровые правила грамматики.

Наше языковое законодательство проявляет снисходительность только в тех случаях, когда поневоле приходится разграничивать слова, чересчур уж заметно расходящиеся по значению: “дохнуть” и “дохнуть”, “избегать” и “избегать”, “лоскут” собирательное и “лоскут” единичное, “кашица” как ласкательное к слову “каша” и “кашица” – та же каша, только непременно жидкая, “рожки” – маленькие рога у животных и “рожки” – вид макаронных изделий...

Каламбуры с использованием омонимов частенько встречаются в народных пословицах, поговорках, прибаутках, скороговорках: “Толку век, а толку нет”; “Кабак – пропасть, там и пропасть”; “У сыра дуба, у суха сука, белошерста сука”.

Обожают – ну просто-таки хлебом не корми! – поиграть такого рода перекатами ударений поэты. Например, у Владимира Маяковского:

Полками
по полкам книжным...

Или солнца
одного
на всех мало?!

Или небо над нами мало голубое?!

“Полки” и “полки” разделить, конечно, следует, так же как и наречие “мало” от краткого прилагательного “мало”, что поэт и проделал с надлежащей добросовестностью, самолично проставив

По какому-то врожденному наитию мы произносим: “Прожили счастливо” и “Счастливо оставаться!”

Одно и то же слово, но с различной ударностью соседствует в строфе из стихотворения Игоря Григорьева “Август”:

Озаренье. Смиренье. Прощение.
Сожаленье о мае легко.
Далеконько-далёко цветение,
И снега далеко-далеко.

У нас с вами язык не повернется выговорить “Родные края” - такое ударение в слове “родные” допустимо лишь по отношению к предметам одушевленным, “Родные мои детушки” выговаривается без заминки. Вспомним народную песню: “Матушка, родная, дай воды холодной” или есенинское: “Подхватили тут родные грамотку”.

В эстрадной песенке перенос ударения на имени - “Фаина, Фаина” - не более чем музыкальный каприз. А вот разноударность некоторых фамилий знакома нам по народным говорам: Александров и Александров. У Ивановых и Ивановых - биография сродни детективной: в разное время перемена ударения диктовалась соображениями меньшей распространенности и, соответственно, большего “благородства”...

Недовьясненных положений, когда ударение в слове не воспринимается нами как раз и навсегда закрепленное, в нашей речи наберется немало. Виноватить же в таком чудном разброде некого: таков уж есть изначально, по самой природе своей, русский язык с его бесчисленными парадоксами.

В большинстве тюркских языков и во французском ударение неукоснительно падает на последний слог любого слова. В языках чешском и венгерском оно привязано, напротив, к первому слогу.

А вот в польском языке ударение закреплено на предпоследнем по счету слоге слова. Понятно, что при такой жесткой регламентации никакой путаницы уже попросту не может произойти!

В русском же своевольном языке ударение свободное. Оно может прийти на какой угодно из слогов. А если рассматривать проблему с точки зрения словесной конструкции – то хоть на приставку, хоть на самый корень, а то так и на суффикс или на окончание. Более того: по главе “Предлоги-воришки” нам знакомо уже уникальное явление обездаривания, когда вольнолюбивые ударения свободно перетекают со знаменательных частей речи на подсобные – предлоги и частицы.

Русское ударение мало того что избавлено от тягостного хомута общей неподвижности. Оно отличается еще и крайней неусидчивостью на каждом в отдельности из своих рабочих мест. В зависимости от формы одного и того же слова-хозяина непоседа запросто может поменять прописку: “принять” – “принял” – “приняла” – “принятие” – “принимание”. Припомним также выразительное пушкинское: “Мутно небо, ночь мутна”.

В том, какое ритмическое богатство может создавать этакая подвижность ударений, легко удостовериться на примере исполненной энергии строфы Бориса Слуцкого, в которой глаголы с разными приставками и оттого – с неодинаковыми ударениями создают перекаточный ритм (последние проставлены нами. – *В.К.*):

Умный, вежливый и смущенный
 Не тем, что увижу, а тем, как выгляжу.
 Сейчас я на них на всех погляжу.
 Сейчас я кровные выну, выложу,
 Но – закажу и - посижу.

Место непоседы иногда определяется контек-

стом. Чрезвычайно характерен в этом отношении пример с местоимением “самый” в родительном падеже. В пушкинской “Сказке о рыбаке и рыбке” оно доверчиво приняло ударение на свой первый слог:

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря.

В разговорных словосочетаниях того же типа картина сохраняется: “у самого берега”, “от самого края” и так далее.

Однако не обольщайтесь преждевременно показным постоянством озорника. В популярной народной песне ударение беспрепятственно для смысла переключивается уже с первого на второй слог:

Головой склоняясь
До самого тына.

А в разговорных выражениях “У самого него спроси”, “К самому начальнику” (иное дело – “к самому большому начальнику”) ударение-попрыгунчик перемещается уже на третий слог.

Сногшибательная свобода постановки ударения, органически присущая родному языку, вынудила спасовать даже самую неуступчивую официальную грамматику. Она признала-таки за немалым количеством слов право двойного, так сказать, гражданства, милостиво позволив избранныкам иметь по два узаконенных ударения на выбор. Это “баржа”, “творог”, “досыта”, “ответ”, “засека”, “допьяна”, “ненадолго”, “наголо”, “иначе”, “набело”, “договор”, “искриться”... Мы говорим о породе быстроногих собак – “борзая”, но поем: “Тройка борзая бежит”. Можно сказать с одинаковым правом: “сосенка” и “сосёнка”, “честный” и “честной” (“весь честной народ”, “мать честная!”). Однако живая речь не удовлетворяется и этой вынужденной подачкой грамматики. Она самостийно и по мере надобности увеличивает число слов с подвижными ударениями.

Когда разноместные ударения разграничивают различный вкладываемый в слово смысл или хотя бы тонкий его оттенок – это понятно. Но во многих случаях искать стройную логику в таком раздвоении – дело совершенно безнадежное. Ну как объяснить, к примеру, почему наречные выражения “до полуночи” и “до полусмерти” - одинаково четырехсложные и абсолютные близнецы по общей конструкции – заполучили в нашей речи не совпадающие ударения? Наверное, просто вот так выговорилось когда-то в незапамятные времена и впоследствии закрепилось навечно!

Есть у поэтессы Марины Цветаевой оброненная, правда, как бы вскользь, замечательная мысль относительно особенного качества родного языка:

И думаю: когда-нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской...

Необычайная уступчивость русской речи она как соблазнительна, но с нею надлежит, как говорится, держать ухо востро. Иной раз ею нарочито злоупотребляют даже отшлифованные столетиями народные пословицы и поговорки: “Мы люди простые, едим пряники толстые”; “Живи, Устя, рукава спустя”; “До того дожилось, что ничего не случилось”.

Точно такие же языковые вольности находим в сказке П.П.Ершова “Конек-горбунок”, вобравшей в себя, как уже отмечалось ранее, все особенности народной речи:

Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!

Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можно...

В этих примерах ударения очевидно приносятся в жертву рифме. Однако не вовсе бесплодна и

нарочитая неправильность: ей сопутствуют обыкновенно элементы некоей лихости, бесшабашного удалства и по большей части – сквозящей насмешливости.

Пары одинаковых, но разноударных слов очень характерны, в частности, для поэзии Александра Блока. Сравните: “Над сонным лугом коршун кружит” и “Воет, поет, кружит”; “Но издали летели звуки: / Там... задышалась тишина” и “Громкий крик рабочих / Слышен издали”; “Она пришла из дикой дали” и “В бесконечной дали корридоров”; “Там осень сумрачным пером / Широко реет” и “Мы широко по дебрям и лесам / Перед Европою пригожей / Расступимся!”; “И там, на кладбище ночуя” и “Кладбище называлось: “Воля””; “Зачем в моей стесненной груди / Так много боли и тоски?” и “Женщины с безумными очами, / С вечно смятой розой на груди!”. И, наконец, - разочтение уже не в нескольких, а в одном и том же стихотворении – “Фабрика”:

Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота.

Можно ли предъявлять за это претензии к поэту? Ведь он всего-то-навсего талантливо и с отменным чувством меры и такта воспользовался колоссальными потенциальными возможностями, которые щедро предоставляет всем нам удивительный наш русский язык.

МОЖНО - “В ЛОБ”, А МОЖНО И – “ПО ЛБУ”

Кто не знает замечательного и необычайно популярного романа на стихи Е.А.Баратынского “Не искушай меня без нужды...”! И имеются в этом романе такие вот проникновенные строки:

Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь...

“Верю” и “верую”. Глагол, по сути, один.

Буквенная разница ничтожна – добавлено “у”, зато звуковая – существенна: она в момент переносит в совершенно иной ритмический строй. Если же начать вдумываться глубже – распознаем и тонкое смысловое различие: суетно-будничному “увереньям” как нельзя лучше подходит столь же непритязательное и отрывистое “верю”, в то время как возвышенное понятие “любовь” предпочтительно требует высокостильного и плавного “верую”.

Сходных, но не всецело совпадающих в оттенках смысла однокоренных глагольных пар можно припомнить немало: “дарить”- “даровать”, “скрыть” – “сокрыть”, “сделать” – “соделать”, “поднимать” – “подымать”...

У Н.А.Некрасова в стихотворении “Русь” не случайно задействован именно второй вариант из последних в перечислении пары:

Рать подымается
Неисчислимая...

Облегченное, словно бы приземленное “поднимается” было бы в этом контексте, конечно же, менее уместно – не столь пафосно.

Таковы животворные языковые параллели, которыми полнится богатая, гибкая и образная русская речь.

Трудно удержаться от соблазна и не процитировать еще и знаменитое есенинское:

Приемлю все.
Как есть все принимаю.

В этих строках поэта – многозначительно переплетаются высокостильное с низкостильным.

Не составляет также большого труда разглядеть и прочувствовать разницу между книжными и разговорными вариантами в парах глаголов: “видеть – видать”, “слышать – слыхать”, “мучить –

мучать”, “лазить – лазать”. Помимо прочих доставляемых выгод и преимуществ, разновариантность помогает избегать в речи досадных и нудных повторов, как это блестяще демонстрирует народная прибаутка: “Видел татарин во сне кисель, да ложки не было; лег спать с ложкой – не видал киселя”.

Свои немалые достоинства у каждой из составных в глагольных парах “постичь - постигнуть” и “настичь – настигнуть”, а также “сох - сохнул”, “мок – мокнул”.

А.С.Пушкин оставил нам образцы двоякого употребления глагола “умолкнуть” в форме мужского рода прошедшего времени:

Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк...
Вот мельница! Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул...

В обоих случаях обсуждаемый глагол занимает ответственный пост – в конце поэтической строки. И поэтому естественно, что и форма его находится в прямом соответствии с ритмом “своего” стихотворения: кратким и резким либо плавным и затянутым. А в итоге на своем месте одинаково хороши и “умолк”, и “умолкнул”.

Не одними только суффиксами, но и чередующимися коренными гласными различаются глаголы в следующей песенной фразе:

Даже в шутку
На минутку
Не воротись, не вернешь.

В возвратных глаголах частицы “сь” и “ся” придают каждая свой особенный колорит. В стихотворении Н.А.Некрасова, недаром ставшем народной песней, предпочтение отдано второй, более напевной форме:

Средь высоких холмов затерялося
 Небогатое наше село.
 Горе-горькое по свету шлялося
 И на нас невзначай набрело.

Вообще же заведомо неблагодарный это труд – наделять односторонними преимуществами какую-либо из щедро предоставленных нам на выбор грамматических форм: всяк сверчок знай свой шесток – гласит народная мудрость. И в особенности плодотворным оказывается на практике их уместное сочетание, как в одном из стихотворений Сергея Есенина:

Над зелеными пригорками
 Развевались платки,
 По полям, бредя с кошелками,
 Улыбались старики.

Порассуждав о глаголах, остановимся теперь на речевых параллелях в обширном мире причастий и отглагольных прилагательных.

И милость к падшим призывал...

В этой пушкинской строке речь идет именно о падших, то есть подвергшихся падению, но не о павших (“павших на поле сражения” – погибших). Заменить один эпитет другим здесь не представляется возможным.

Иное дело – тоже пушкинское “охладелый прах”. Смысл не исказится при замене “охладелый” на “охладевший”, однако пострадает благозвучность и снизится пафосность.

“Оробелый” и “оробевший”, “ошалелый” и “ошалевший” – каждому из соискателей всегда отыщется контекст, именно для него наиболее подходящий. С удовольствием читаем, например, у Н.А. Некрасова:

Шумят повеселелые
 Сосновые леса...

Не остаются без приличествующего каждому места в строке и прилагательные-двойники “весенний” и “вешний”.

Рассматривая параллельные формы прилагательных, надобно особо отметить плодотворность двойников с приставками без-, бес- либо не- : “несвязный” и “бессвязный”, “непроглядный” и “беспроглядный”, “несодержательный” и “бессодержательный” и прочие. Иногда разница меж ними заключается только в незначительных нюансах смысла, оставаясь по сути чисто стилистической; порою же она может оказаться крайне существенной, как, например, в паре “несознательный” – “бессознательный” (“в бессознательном состоянии”).

Сравнительная же степень имен прилагательных отличается двуликостью в... окончаниях, что, между прочим, дает широчайший простор поэтам, в особенности для ритмических комбинаций. Достаточно будет двух примеров из стихотворений Федора Тютчева:

А уж давно, звучнее и полней...

О буйные ветры,
Скорее, скорей!

Параллельные формы нисколько не чужды и именам существительным. Для общего и самого поверхностного с ними знакомства ограничимся только несколькими выборочными экспонатами: “заголовок” и “заглавие”, “бедняга” и “бедолага”, “унижение” и “уничужение”; “безделушка”, “безделка”, “безделица”; “настрой”, “настроение”, “настроенность”; “молодец”, “молодчина”, “молодчага”; “молчун” и “молчальник”; “молчок”, “молчание”, “молчаливость”, “молчанка”; “враль” и “врун”; “лжец” и “лгун”.

Как и в любой подобной параллели, каждая из

составляющих имеет, кроме совпадающего общего значения, еще и нечто, формирующее собственную характерную физиономию, - касается ли то степени заключаемой экспрессии, или разномерных смысловых оттенков. Наши народные пословицы и поговорки, оперирующие словами-двойниками “ум” и “разум”, показывают это со всей очевидностью: “Смешай, господь, ум с разумом!”; “Ум за разум заходит”; “Разум не велит - ума не спрашивайся!”.

Будничное обозначение “песня”, конечно же, контрастирует с высокотождественным старинным “песнь”. А вот что касается нередкого в нашей речи поминания безногого пресмыкающегося, то вариации его клички обзавелись к нынешнему времени четкими собственными нишами. “Змея” - животное; слово это применительно к человеку является не более чем ругательной метафорой. “Змий” иногда употребляют в просторечии в том же метафорическом значении, когда появляется надобность в мужском роде (наряду со “змей”), но главной специальностью этой формы остается ее участие в распространенном фразеологизме “зеленый змий”. А вот основная профессия формы “змей” сводится к обслуживанию мифологических персонажей вроде сказочного Змея-Горыныча. И лишь сбоку припеку у нее - дополнительное прикладное значение: название детской летающей игрушки, изготовленной из бумаги либо ткани.

В стихотворении “Сологуб” Игорь Северянин словно бы задавался целью продемонстрировать колоссальные возможности русского словотворения, создавая параллельные формы одного и того же существительного:

Он - чарователь, чаровальщик,

Чарун, он - чарник, чародей.

Заметьте: все четыре неологизма (привычное

“чародей”, понятно, в счет не идет) сконструированы поэтом в полном соответствии с принятыми грамматическими нормами. Все использованные им для этого суффиксы - действующие (“подражатель”, “рисовальщик”, “бегун”, “плясун”, “напарник”). Но ведь в русском языке суффиксов намного больше, и нетрудно представить, сколь широкий простор для словотворчества предоставляет родная речь!

В первой российской грамматике М. В. Ломоносова получили официальную прописку всего-навсего три (!) слова мужского рода с нестандартным окончанием -а в именительном падеже множественного числа. Эту редчайшую привилегию заслужили на то время имена существительные “рога”, “бока” и “глаза”. Остальные собратья по роду, числу и падежу продолжали довольствоваться безударным окончанием -ы /-и/.

Однако нарождавшаяся форма оказалась не только почему-то привлекательной, но и на редкость настырной. Уже М. Ю. Лермонтов не гнушался ею: “...плохи наши лекаря...”. У Сергея Есенина - своя новинка в этом плане: “Рекрута ходили с ливенкой”.

На сегодняшний день набирается уже не менее шестисот имен существительных с новейшим окончанием -а в означенной позиции. Но многие из них равно исповедуют любую веру: допускаются “тракторы” и “трактора”, “цехи” и “цеха” и иже с ними. Другим словам предписывается единоверие, от какового, однако, своевольная живая речь то и дело отступает, К числу таковых относится пара “годы” - “года”, которую настойчиво демонстрируют наши лирические песни:

А годы летят, наши годы, как птицы, летят,
И некогда нам оглянуться назад.
И, с другой стороны:

Мои года - мое богатство.

Причину возрастающей популярности ударного окончания по крайней мере отчасти попытался определить Владимир Высоцкий.

Мы говорим не “штормы”, а “шторма” -

Слова выходят коротки и смачны.

“Ветра” - не “ветры” сводят нас с ума,

Из палуб выкорчевывая мачты...

Здесь не обойтись, впрочем, без весьма существенной оговорки. Если “ветры” и “ветра” остаются однозначными словами, то в отдельных случаях параллельные окончания -ы /-и/ и -а /-я/ могут нести каждое свою собственную смысловую нагрузку. Так, “провода” это провожание, а “провода” - проволока; слово “лагери” подразумевает группировки единомышленников, а “лагеря” - места отдыха либо учебы, службы, тренировок; “пропуски” - пробелы в чем-либо, в отличие от варианта “пропуска” - удостоверения на право прохода в то или иное место, учреждение.

А теперь давайте сравним две строфы из признанных лирических шедевров русской поэзии - стихотворений, одно из которых принадлежит Александру Блоку, а другое - Сергею Есенину.

О, Весна без конца и без краю –

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты - в ризах образа...

Не видать конца и края –

Только синь сосет глаза.

“Краю” и “края” - еще одна животворная параллель в красочной русской речи, с блеском, как мы только что имели возможность убедиться, ис-

пользуемая нашими поэтами.

Это были примеры различных окончаний имен существительных мужского рода в родительном падеже. Такая же свобода выбора обеспечена и для слов, поставленных в падеже предложном.

Н. И. Козлов, романс “Вечерний звон”:

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном...

Н. А. Некрасов:

Старый Мазай разболтался в сарае:
“В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили...”.

А как, на ваше разумение, правильное говорить и писать: “дверями” или “дверьми”? “Костями” или “костьми”? (Сразу всплывает в памяти идущее из глубокой старины выражение “лечь костьми”). “Дочерями” или же “дочерьми”?.. У Сергея Есенина, к примеру, встречается такое:

Ах, метель такая, просто черт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздями.

И вот еще какой фортель способен вытворять творительный падеж - причем на этот раз не с одними только именами существительными, но попутно и за компанию с относящимися к ним прилагательными - “с большой неохотой”, “с большою неохотой”, “с большою неохотою”, “с большою неохотою” - четыре абсолютно равноправных варианта, выбирайте любой, какой кому больше по душе придется!

Столь же свободному выбору подвластны вариации “мнень” и “мнение”, “явлень” и “явление”, “видень” и “видение”, “приключень” и “приключение”... Этим выбором всю пользуются отечест-

венные поэты, приспособляя разные варианты к ритмическому строю стиха.

У Бориса Слуцкого имеются строки, которые сводят обе эти формы вместе:

В графе “преступлень” - епископ.

В графе “преступление” - поп.

И вся - многотысячным списком –
профессия в лагерь идет.

Итак, очередь за местоимениями?

Задумывались ли вы, читатель, когда-нибудь над секретом, во многом определившим чудную магию известного романа М. П. Пойгина “Не уходи, побудь со мною...”? По крайней мере один из элементов, обеспечивающих необычайную притягательность романа, - прелестный ритмический перепад между начальной для каждого из куплетов строкой и двустрочным рефреном. Специально для тех, кто запомнил, процитируем:

Не уходи, побудь со мною,
Здесь так отрадно, так светло.
Я поцелуями покрою
Уста, и очи, и чело.
Побудь со мной,
Побудь со мной!

Не уходи, побудь со мною...

Такое простенькое чередование: “со мной” - “со мною”, - а какое милое, какого исполнено очарования! И ведь не только эстетически оно себя оправдывает, но и не без практического предназначения: ударное “со мной” словно бы ставит точку на очередном куплете; плавно завершаемое “со мною” в первых строках приглашает слушателя к продолжению лирической темы романа...

Но более всего животворных параллелей, ве-

роятно, все-таки в нескончаемом мире наречий и так называемых наречных выражений, взятых вкупе. Судите сами.

Спроста - простецки - запросто - попросту - по-простому - просто-напросто - упрощенно - опрощенно.

Особенно - особо - особливо - в особенности - по-особому и по-особенному - на особинку - на особицу - особняком.

Навек - навеки - на веки веков - на веки вечные - навечно - на века - ввек - вовек - во веки - во веки веков.

Сейчас - тотчас - подчас - часом - всечасно - еже-часно - в одночасье.

Ежедневно - каждодневно - повседневно - все-дневно - днями - изо дня в день - день ото дня - со дня на день - день ко дню - день-деньской - дняю... - день за днем.

Даром - задаром - дарма - задарма - дарово - на дармовщину.

Тихо - втихую - втихаря - тишком - по-тихому - исподтишка.

Весной - по весне - в весеннюю пору - весенней порой.

Вечером - ввечеру - вечер - под вечер - повечеру.

К последнему перечню имеются великолепные поэтические иллюстрации: “Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...” и “Но если под вечер в печальное селенье...” (А. С. Пушкин); “Свой костер разведешь ввечеру” (А. А. Блок).

Мы говорим по желанию: “вскоре” и “вскоро-рости”; “надо” и “надобно”; “ныне” и “нынче”; “из-далека”, “издалёка”, “издалече”, “издали”.

В образовании параллелей может принимать суффикс -лив: “молча” - “молчаливо”, “шумно” -

“шумливо”, “гордо” - “горделиво”, “тошно” - “тоскливо”, “бережно” - “бережливо”, “чванно” - “чванливо”, “скучно” - “скучливо”...

“Однажды” и “единожды” - две формы одного наречия. В словаре С. И. Ожегова второе помечено как устарелое, и за ним признается лишь счетная функция: “единожды пять...” и так далее. Однако стилевое отличие двух форм открывает немалые возможности и для нас с вами, читатель, в нынешнем словоупотреблении.

Вспомним снова глубокомысленное изречение незабвенной памяти Козьмы Пруткина: “Единойды солгавши, кто тебе поверит?”. Подстановка в эту фразу “однажды” не только сбивает налаженную ритмику, но и опрощает, умаляет сам смысл.

Разность между двумя этими формами особенно явственна в оборотах с отрицанием: “не однажды” и “не единойды”. А дело в том, что в “однажды” заложена все-таки одноразовость, в то время как в счетном “единойды” подспудно ощущается возможность неоднократного повторения. Итак, “не однажды” может относиться к двум, от силы к трем повторам действия; “не единойды” прозрачно намекает на почти безграничную повторяемость...

Различия между “один” и “един” выявляются еще более в других наречиях: “однообразно” и “единообразно”; “одновременно” и “единовременно”. Во втором из примеров не только смысл разнится, но и ударение падает на разные слоги обоих слов пары.

В одном из стихотворений Сергея Есенина плотно соседствуют две формы предлога “вместо”:

Встал и вижу: что за черт - вместо бойкой тройки...
 Забинтованный лежу на больничной койке.
 И заместо лошадей по дороге тряской
 Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

Не только скромные предлоги, но и многие не менее невзрачные частицы поддаются изменчивости форм: можно говорить “неужто” “неужели”, “неужель”, “неужли”, “ужель”, “ужели”, даже “ужли”, хотя последнее и воспринимается как старомодное. Свободно взаимозаменяются частицы ли и усеченная ль, коли и коль, уже и уж, бы и б, если и ежели...

И какое же благодаря такому обилию вариаций обширное поле маневрирования создается для чуткого к родному слову автора!

А не желаете ли на разные лады... посмеяться? Прделаем это совместно с Н. В. Гоголем, для чего откроем на нужной странице второй том его поэмы “Мертвые души”.

“Генерал рассмеялся. “Именно просунет морду: погладь его!.. Ха, ха, ха! У него не только что рыло все, весь, весь зажил в саже, а ведь тоже требует, как говорится, поощрения... Ха, ха, ха, ха!”. И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как носили и поныне густые эполеты.

Чичиков разрешился тоже междометием смеха, но, из уважения к генералу, пустил его на букву э; хе, хе, хе, хе, хе, хе! И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет”.

К самодовольному раскатистому “ха-ха-ха” и угодливому “хе-хе-хе” можно еще добавить вызывающее “хо-хо-хо” и игриво-смущенное “хи-хи-хи”...

“Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка”. Это мудрое высказывание А. С. Пушкина полезно сопроводить настоятельным призывом научиться правильному пользованию дарованной свободой в нашей речевой практике, дабы не превратить ее нечаянно-негаданно, эту широчай-

шую свободу, в разгульную анархию.

ПУДЫ И ГРАММЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО.

Разумеется, столь солидная часть речи, обозначающая предмет, - не какая-нибудь там крупа, мука или сахарный песок, чтобы взять да и положить ее на всамделишные весы. А все же и существительное можно основательно и придирчиво взвесить.

Не верите? Считаете детской сказкой? Тогда послушайте внимательно вот эти голоса из самого что ни на есть бытового лексикона.

- Вы в самом деле проголодались? Минуту терпения: положу вам всего-всего побольше да к тому еще добрый кус хлеба.

- Говорите, голодны, но не слишком? Рекомендую попробовать вон тот кусок, что с краю...

- Ах, согласны только слегка заморить червячка? Тогда позвольте предложить кусочек свежего, сейчас вот только из печи...

- Вы и взаправду голодны как волк? Это беда поправимая: кладу вам целый кусище...

Набор кухонно-столовых фраз - возможно, несколько неуклюжих - понадобился для того, чтобы на простейших примерах показать недюжинную способность нашего имени существительного к дроблению по количественным параметрам. Что, по-вашему, больше (а соответственно - и тяжелее): кус или кусище, кусочек или кусок? По степени убывания поименованные разновески следует расположить в такой последовательности: "кусище", "кус", "кусочек", "кусочек". Как нетрудно обнаружить, в данном конкретном случае в качестве своеобразных весов выступают разномастные суффиксы: -ищ, -ок, -очек.

Некоторые из суффиксов настолько специализированы, что и самого своего названия-то удос-

тоились в соответствии с родом службы - увеличительные либо уменьшительные.

Самый распространенный увеличительный суффикс - “ищ”. Он задействован во многих словах, постоянно употребляемых нами в речи: “ручища” и “ножища”, “волчище”, “домище”, “пылища”, “дружище”, “скучища”... К этому суффиксу явно равнодушен был Владимир Маяковский, в поэтическом арсенале которого значились “любовища”, “каплища”, “галифища”, “мненьище”, “вопросищи”, “лучища”, “лунища”, “бытище” и прочие.

В “Красном колесе” Александра Солженицына тоже встречаемся с непривычной увеличительностью: “не чтобы толпы, но изрядные толпищи”. Казалось бы, и просто “толпа” - уже показатель многолюдства, но “толпища”, конечно же, еще того многолюднее...

В письменных памятниках Древней Руси увеличительные формы имен существительных применялись чрезвычайно часто. Многим из нас хорошо помнятся по школьной программе сказочно-былинные “каличище”, “старчище-пилигримище”, “идолище поганое”, “кинжалище булатное”. Перенасыщены подобными речениями и народные пословицы, поговорки, загадки, прибаутки: “Ни скривища, ни сбывища”; “должища, что печища: сколько ни клади дров, все мало”; “Стоит бычище, проклеваны бочища”.

Даже имена людей не составляли исключения: “Один сынище, и тот Фомище”...

У Михаила Зощенко (“Леля и Минька”) - тот же сюжет в детском исполнении:

“Я говорю:

- Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я еще раз откушу это яблоко”.

Собственно, на одном лишь выразительном противопоставлении уменьшительно-ласкательно-

го и увеличительно-неприятного жидется весь смысл пословицы: “Кому свекровь свекровушка, а кому и свекровища”.

Впечатление преизбыточного количества могут создавать и некоторые другие наши суффиксы, например, используемые в словах: “ветрюга”, “хитрюга”, “штормяга”, “молодчага”, “миляга”, “бедняга”; “холодина”, “детина”, “молодчина”, “хоромина”, “дурачина” (что может быть приравнено к словосочетанию “большой дурак”).

Суффикс -ин может иметь, впрочем, не только увеличительное, но и иное, весьма своеобразное предназначение, о котором писал академик Л. В. Щерба в статье “О частях речи в русском языке”:

“...имеется категория имен единичных: бисер / бисерина, жемчуг / жемчужина, солома / соломина, образуемых посредством суффикса -ин- в женском роде”.

Иной раз бывает даже затруднительно определить с точностью, в каком именно из двух названных значений выступает в слове суффикс -ин-. Читателю предоставляется почетное право самостоятельно пораздумывать над этой задачкой применительно к такому легковесному словечку, как “чепуховина”: что это все же - “большая чепуха” или же “чепуха” единичная и конкретная?..

Единичность и собирательность - уже и сами по себе мерила предмета, хотя и разнополюсные, но одинаково внушающие уважение. Например, “воронье”, “мужичье”, “солдатня” в обход обыкновенного множественного числа (“вороны”, “мужики”, “солдаты”) указывают также на более или менее значительный объем либо количество, но обладают при этом куда большей экспрессией.

Однако как имена единичные, так и имена собирательные равно подвержены дальнейшему дроб-

лению: “травина” - “травинка” - “травиночка”; “травища” - “трава” - “травка”...

Подобно увеличительности, собирательность в старину процветала, имея гораздо более широкую адресность, нежели в нынешнее время. Прочно укоренилась она и в областнических говорах. Об этом явлении писал еще российский ученый-языковед Ф. И. Буслаев.

“Просторечье свободнее образованного языка производит собирательные на “ье”. Например, областные: кожье, кустовье, кусье, лычье, святые (святки). ...Древнерусский язык пользуется окончанием *ье / ие/* в именах, сложенных с приставкою: например, безместье, за-морье, за-псковье, на-вечерье, не-любье... по-морье, по-сулье, пад-атаманье... роз-мирье. Пушкин употреблял таким же образом составленное слово “первосоние” (“в неясных видениях первосония”).

Бываюлю широкую распространенность в речи слов с этим суффиксом подтверждают народные пословицы.

Деньги что гальё (галки): всё в стаю сбиваются.

Житье, житье: наготье да босотье.

Ивяно кустовье с яроводьем не в спорьи (не боится поему).

Пряли бы волки по закустью да нам початки приносили.

Корьё и не мальё, а дуба не стало (мальё - колотые доски).

“И питьё, и курьё” - читаем в повести Александра Солженицына “Раковый корпус”. Сказано совершенно в народном духе, не правда ли? У этого же писателя встречаются и такие, не слишком-то привычные нашему слуху уменьшительные словечки: “просьбочка”, “шумок” и “гулок”, “икрица” и

“опухолёчки”, “Он посмотрел на сединку”, “с безуминкой” (по типу - “с изюминкой”).

Даже размер предметов парных, подчистую лишенных единственного числа, поддается суффиксальному уточнению: “ножницы” - “ножнички”, “штаны” - “штаники” - “штанишки” - “штаненки”. По-видимому, не должны вызывать сомнение и “брючища”, например. Не исключена также и единичность (хитроумная замена легального единственного числа?): “штанина”, “брючина”, “кальсонина”.

Имена существительные, обязанные своим происхождением прилагательным, у них же и заимствуют характерные суффиксы уменьшительности: “красноватость”, “горьковатость”, “слабоватость”, “придурковатость”.

Вообще же суффиксами уменьшительности русский язык не обижен, есть даже из чего выбирать по вкусу каждого потребителя. Чем плохо звучит, например, - “словоц”? Да, но ничуть не тусклее и “словечко”! Мирно уживаются в нашем словоупотреблении “деревушка” и “деревенька”, “малышка” и “малютка” (плюс грубоватое “малявка”), “ножик” и “ножичек”...

Однако не единими суффиксами регламентируются заявленные в заголовке пуды и граммы существительного. Посильное участие в символическом взвешивании способны принимать также некоторые приставки, фиксирующие как превышение, так и недобор некоей условной количественной нормы: “пересол” и “недосол”, “недоумок”, “переутомление”, “перегрев”, “недосып”, “недоедание” и “переедание”. Несколько на особицу стоят речения с приставкой пре-: “премудрость”, “преизбыток”, “преимущество”, “преобладание”, “преувеличение”, “преуспевание”.

На относительную неполноту действия в отглагольных именах существительных указывают приставки: под- -“подкраска”, “подогрев” “подкормка”, “подбадривание”, “подпитие”; и при- -“приукрашивание” “приостановка”, “пригибание”, “приглушение”, “придвижение”. Приставка “при” употребима и у существительных не отглагольных, в чем можно с изумлением убедиться, читая произведения писателя Александра Солженицына: “Глаза у нее были странные - с призеленью” и “присвет отреченности”.

Малая, примесная доля какого-либо цвета в общем тоне окраски обозначается в образованиях типа “про-синь”, “прозелень”, допустима и “прожелть”.

Скрытую измерительность демонстрируют чуткому уху некоторые слова-синонимы. “Недруг” и “враг” неравноценны не только стилистически: “враг” больше враг, чем “недруг”! Также и “ложь” тяжелее - в силу большей категоричности - “неправды”!

Обозначением наивысшей полноты предмета речи может служить иногда приставка раз- (рас-): “разнесчастье ты мое!”, “умница-разумница”. А вот вариант из народной песни, которую знают все:

Всю-то ноченьку мне спать было невмочь,
Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.

Среди бесчисленных неологизмов Владимира Маяковского имеется и такой неожиданный: “рас-социализм”...

Совершенно ошеломительный образчик подобного же словообразования оставил нам М. Е. Салтыков-Щедрин в “Господах Головлевых”: “Женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке – я препятствовать не могу!”.

Другая неожиданность подстерегает в народной пословице: “Чуть-чуть мой муж да не прапорщик”. Это ведь тоже своего рода степень измери-

тельности. Роль весов может сыграть, оказывается, и наречие “почти”, более специализирующееся в этом отношении не на существительных, а на прилагательных. “Почти улыбка играла на его губах”, - читаем в “Красном колесе” Александра Солженицына. А в повести “Раковый корпус” того же автора находим подтверждение неслучайности предыдущего языкового экспромта: “с ощущением почти счастья” и “почти-верность”.

Еще одну великолепную возможность распределения пудов и граммов имени существительного предоставляют русские словосложения, которые целесообразно будет развести по нескольким специализированным группам.

Полноценность, полнокровие, полнолуние, полномочия...

Многолюдство, многословие, многоточие, многоречивость...

Малодушие, малоземелье, малорослость, малоежка....

А почему бы не приплюсовать сюда и словосложения с составляющими “больше”, “глубоко”, “высоко”, “сверх”, “велико”, указывающими на высокое или даже наивысшее количество предмета речи?

Особо следует выделить словосложения: “полцены”, “полмира”, “полнеба”, “полбеды”. Они, правда, утратили способность изменяться по падежам, превратившись таким образом в несклоняемые. Мы нередко пользуемся этими словосложениями и в разговорной речи, и в письменной, но все же ассортимент их довольно жестко ограничиваем - по никому не известной причине! Во всяком случае широта, присущая в этом отношении Александру Солженицыну, недоступна почему-то многим нашим современным писателям. А у него-то – посмотрите: “Какие-то тупые все, покорные, полубрѣвна”;

“Первая ночь на полусвободе”; “полувопросом предложил ему”; ремарка о деревьях в пору ранней весны - “Одни уже стояли вползелени, другие вчетверть, а дубы не развернулись нисколько”.

Не только “впол”, но и “вчетверть”! Обратили ли вы также внимание на то, что смена “пол” на “полу” моментально возвращает словам способность склонения?

Зато уж в русском фольклоре ополовинивание предметов речи беспрепятственно распространяется практически на любой контингент имен существительных - будь то понятия вещественные или отвлеченные.

Из полуведра через край до дна.

Чужое горе полусилою горевать.

Богатому с полугорем жить.

По полугорю не плачут, а целого и плач неймет.

Вам смех, а нам и полсмеха нет.

Кому веселье, а мне и полвеселья нет.

За спасибо мужичок в Москву сходил да еще полспасиба домой принес (здесь “спасибо” - не междометие, а существительное, к тому же - склоняемое!).

Холостой - полчеловека.

Денежка не бог, а полбога есть.

Подумать только: не единственно человека, слабого и грешного - куда бы ни шло! - но и самого бога народная речевая традиция не пощадила, позволив как бы разделить его на части!

А вот несколько примеров старинного словоупотребления, которые наверняка покажутся нашему современнику неожиданными: “полудвор”, “полудеревня”, “полуперст” (полпальца), “полусловица” (сокращение слова, с титлами), “получасие” (полчаса, получасовой отрезок времени), “полуполовина” (четверть).

Итак, в ответственной роли весов перебива-

ли у нас с вами последовательно суффиксы, приставки и некоторые из составных сложных слов. А не хотите ли познакомиться с еще одной их разновидностью - окончаниями?

Речь может идти конкретно об окончаниях имен существительных в родительном падеже и непременно мужского рода - в тех случаях (не очень-то, кстати, многочисленных), когда эти окончания помогают разграничивать нечто целое и его часть. Соответствующие словесные сочетания знакомы всем нам со школьной скамьи, с уроков родного языка: “литр квасу”, но “вкус кваса”; “канистра бензину”, но “запах бензина”; “стакан чаю”, но “плантация чая” и так далее.

В другом варианте окончания тоже принимают участие в воображаемом взвешивании, но играют роль скорее подсобную. Подлинные же весы на сей раз - падежи существительного, винительный либо родительный. Пары здесь несколько иного склада - “купить книги” (все, которые необходимы для определенной системы чтения; все, запланированные накануне) и “купить книг” (часть возможного либо необходимого их количества); “выпить водки” (рюмку, или стакан, или еще сколько-то, но только не всю) и “выпить водку” (полностью имевшуюся: бутылку либо другую наличную меру).

Еще одну возможность количественной градации имени существительного открывает нам строфа из стихотворения Анны Ахматовой:

А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

Здесь “тайна тайн” равнозначно словосочетанию “наивысшая, или наибольшая, тайна”. Выражение относится к тому же ряду, в котором обитают “секрет секретов” и “святая святых”.

Такая же высшая степень количества зафиксирована в несколько иной словесной конструкции; образец ее находим у другого русского поэта - Игоря Северянина:

Ведь осень, говорят, - неряха из нерях...

В самом деле: говорим же мы - “негодяй из негодяев” или “умница из умниц”. И это тоже - описательная форма возможного потолка значения, заложенного в слове.

Древнерусский язык располагал еще одним выдающимся резервом измерительности имен существительных, который к настоящему времени, увы, уже утрачен. Это сравнительная степень, знакомая нам ныне только применительно к именам прилагательным. Так, древние русичи с легкостью необычайной образовывали от слов “скот” и “берег” такие непривычные сегодняшнему слуху формы, как “скотее” и “бережее” (или, чуть иначе, - “бережистее”).

Как знать, возможно, такого же древнего происхождения и нынешнее профессиональное речение “мористее”?..

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

В главе предшествующей мы более или менее разобрались с проблемой делимости предмета, обозначаемого именем существительным. Интересно, а поддаются ли такому же тщательному взвешиванию - от пудов до граммов - другие части речи?

Что до имен прилагательных, то градация обозначаемого ими признака осуществляется у них в первую очередь через классические формы сравнительной и превосходной степеней: “чистый - чище - /наи/чистейший”.

Забавный, но и вместе с тем злой каламбур, в котором одно прилагательное в превосходной сте-

пени заменено другим, привел в книге “Москва и москвичи” В. Гиляровский.

“Выше Консистории был Святейший синод. Он находился в Петербурге в здании под арками, равно как и Правительствующий сенат, тоже в здании под арками. Отсюда ходила шутка:

- Слепейший синод и грабительствующий сенат живут подарками”.

Превосходная степень прилагательных имеет суффиксальные вариации: “худущий”, “толстущий”, “длиннущий”; “толстенный”, “высоченный”; “широчайший”, “крепчайший”. Создается она также с помощью приставки пре- : “предобрый”, “презеленый”, “премилый”. Но в последнем случае резервируется еще более высокая степень признака, представляемая конструкциями типа: “предобрейший”, “премилейший” (“наидобрейший”, “наимилейший”).

Такою же роль может играть и приставка раз-/рас-/: “раскудрявый”, “расчудесный”, “разъединственный”, “развеселый”, распроклятый” (“распроклятая ты мошка” - у А. С. Пушкина).

Интересны положения, в которых сравнительная степень начинает выступать как превосходная. В таком превращении деятельное участие принимают различные вспомогательные средства. Например, местоимение “весь”: “слаще всего”, “красивее всех”. У Александра Солженицына встречается та же конструкция, но не с прилагательным, а... с наречием: “издавнее всех”!

Волшебное преобразование сравнительной степени в превосходную - по смыслу, конечно, - происходит и в выражениях: “на что лучше”, “на что богаче”, “уж на что проще”.

Для дублирования же самой сравнительной степени применима приставка по-: “покрасивее” и

“повеселее” - почти то же самое, что и бесприставочные “красивее”, “веселее”, однако с одной существенной поправкой: не намного, совсем на чуть-чуть. Налицо, таким образом, уточнение меры сравнимости по признаку одного предмета с другим: вот они, измерительные маленькие граммы!

Именам прилагательным изначально присущи формы уменьшительности: “малый” - “маленький” - “малюсенький” - “малешенький” - “малехонький” и несколько неожиданное “махонький”.

Суффиксы оват-, еват- играют примерно такую же роль, как и приставка по- для сравнительной степени. “Красноватый”, “сладковатый”, “длинноватый” - те же “красный”, “сладкий”, “длинный”, но чуть-чуть, самую малость.

Эти же суффиксы присутствуют и в краткой форме имен прилагательных. В поэме Н. В. Гоголя “Мертвые души” читаем: “Он подловат и гадковат, не только что пустоват”. В наше время пишущая братия почему-то этой формы стесняется...

Но у Александра Солженицына находим: “огневатыми губами”, “смешноватое”, “горячеватый”, “седоватую бабушку”, “слишком тиховат” - все эти эпитеты непривычны для нас своею смелой оригинальностью, но ведь ничуть не грешат противу грамматических правил!

Попутно имеет смысл хотя бы вкратце упомянуть об описательных формах, используемых в нашей речи достаточно широко. Они образуются с участием так называемых пояснительных слов, обозначающих степень количества, качества, действия. Это, например, “слишком”, “крайне”, “чересчур”, “больно”, “сильно”, “вполне”, “полностью”, “очень”, “чрезвычайно”, “чрезмерно”, “непомерно”, “почти /что/”, “совсем”, “абсолютно”, “в высшей степени”, “наиболее”,

“наименее”, “максимально” и “минимально”, “предельно”, “исключительно”, “чуть”, “едва”, “еле”, “весьма”, “самый”, “совершенно”, “не ахти /какой, что/”... Впрочем, припомнить и назвать все пояснительные слова просто нет возможности. Ограничимся дополнительно двумя любопытными экземплярами, взятыми из стихотворений Сергея Есенина.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а всюю зеленым!

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне...

Многообразие средств измерительности применительно к именам прилагательным убедительно показывается в книге В. В. Одинцова “Лингвистические парадоксы”.

“Разные оттенки смысла прилагательного тяжелый передают слова: не тяжелый, не очень тяжелый, тяжеловатый, тяжеленький, тяжеленок, тяжелешенок, тяжелехонек, тяжелее, потяжелее, более тяжелый, тяжеленный, тяжелейший, тяжелющий, самый тяжелый, тяжелее всего, наиболее тяжелый, тяжелый-претяжелый, наитяжелейший... и др.”.

Особенно впечатляют своей контрастностью разновеликие имена прилагательные, когда они скапливаются в тексте “плечо к плечу”. В историческом романе Валентина Пикуля “Слово и дело” поле для такого скопления ограничено рамками одной-единственной фразы.

“21 января 1740 года, как уже заведено было, при дворе отмечался всеобщий день Бахуса. Это был день восшествия на престол Анны Иоанновны, и гостей от царицы выносили без сознания. Горе тому, кто рискнул бы остаться пьяненьким или пьяным - каждый, дабы восторг свой засвидетельство-

вать, обязан стать распянушим”.

Знакомое уже нам по именам существительным ополовинивание не заказано и прилагательным: “полутемный”, “полусладкий”, “полоумный” ...

Выбор меры признака встает перед говорящим или пишущим, когда он имеет в виду пары прилагательных одного корня, но наделенных разными приставками: нелибо без-

У сильного всегда бессильный виноват... - сказано в одной из басен И. А. Крылова. Здесь противопоставлены “сильный” и “бессильный”, классические антонимы. А вот “несильный” по смысловому содержанию может быть помещено между ними: нельзя сказать, что “сильный”, но и не вовсе “бессильный”, а нечто среднее.

Таких пар можно составить немало: “безграмотный” и “неграмотный”, “безрадостный” и “нерадостный”, “безынтересный” и “неинтересный”, “бессвязный” и “несвязный”, “бесхозяйственный” и “нехозяйственный”, “бесчестный” и “нечестный”...

Любопытной привилегией пользуются в русском языке два цветоопределения – “белый” и “черный”, старейшие из всех своих собратьев по предназначению. Они с давних пор обзавелись каждое единственно для себя одного нестандартной формой уменьшительности. Эти формы представлены самостоятельными речениями: “белесый” (беловатый, тускло-белый) и “чернявый”, о котором в словаре В. И. Даля записано: “черноватый, о члвк. чернокудрый, - волосый и смуглый”.

Надо заметить вдобавок, что первое из них, как ни покажется странным, поддается еще большому мельчению: “белесоватый”. Впрочем, допустимо ведь сказать и “чернявенький”, хотя, вероятно, в таком определении больше ласкательности,

нежели уменьшительности... Но зато уж “белый” - “белесый” - “белесоватый” со всей очевидностью демонстрируют этакую двухэтажную уменьшительность!

До сей поры в поле нашего зрения оставались преимущественно имена прилагательные качественные. Почему же? А потому, что степени сравнения (как и уменьшительность) для относительных прилагательных суровыми правилами просто не предусмотрены. И все-таки, по крайней мере для вольнолюбивых поэтов, этот грамматический барьер может быть и снимаем - при особенно сильном к тому желании. Примеры позаимствуем у Александра Блока.

И чем он громче спорит с мглою будней,
 Сей праздный звон,
 Тем кажется железней, непробудней
 Мой мертвый сон.

У него же можно вычитать: “Все бесконечней, многотонней / Журчат незримые струи”; “Но счастье было безначальней”, / Чем тишина”; “У юношей безогнен взор”. А в “Записных книжках” (на этот раз не в стихах, а в прозе) находим следующее: “Заграница мне вредна вообще, запах, говор, ...блохи (французские всех мерзее и неистребимее)”.

И у поэта-новатора Владимира Маяковского немало противоправных словообразований вроде: “стекляннейший”, “бронзовой”, “поиностраннее”.

Кое-что оригинальное в том же духе отыщется и в прозе Александра Солженицына: “совсем юненькой”, “правенькая”, “Мягкие такие, щекотенькие”, “хромоватый” - все это примеры уменьшительности не слишком-то легитимной! Отмечены у Солженицына смелым подходом и сравнительные степени прилагательных: “колокольчатей”, “Все ярее разгорался у нее азарт”, “все гордее”, “все челюстней”, “разрывательнее”.

Интересно и другое: в языке, на котором изъяснялись наши пращуры, подобные формы не только не считались противоестественными, но были что называется в порядке вещей. Относительные прилагательные в ту далекую от нас эпоху совершенно свободно образовывали степени сравнения.

Маленькие дети, подобно отважным поэтам и прозаикам, тоже не отличаются законопослушанием. В книге Корнея Чуковского “От двух до пяти” сочувственно повествуется о том, как бесцеремонно обошлись пытливые малыши с не имеющим легального права на собственную сравнительную степень местоимением.

“Милая детская речь! Никогда не устану ей радоваться. С большим удовольствием подслушал я однажды такой диалог:

- Мне сам папа сказал...
- Мне сама мама сказала...
- Но ведь папа с а м е е мамы”...

Все в нашей многосложной жизни относительно, и порою реалии действительности ничуть не уступают в курьезности любой самой замысловатой выдумке. Ведь вот неприлично же произносить “вторее” или “вторейший”, а для порядкового числительного “первый” - изо всех-то многих собратьев по классификации - делается почему-то завидное исключение. Ему единственному подарены степени сравнения, точь-в-точь как у природных прилагательных: “первее” и “первейший”, даже “наипервейший”. Да и способностью к уменьшительности - опять-таки другим числительным недоступной - оно не обойдено: пожалуйста - “первенький”...

Переходя в порядке очереди к наречиям, надобно заметить, что возможность суффиксальной и префиксальной измерительности многие из них унас-

ледовали генетически, от собственных родителей -качественных прилагательных, и, отчасти, существительных: “красиво” - “красивее” - “/наи/красивейше”, “пешком” - “пешочком”, “втихомолку” - “втихомолочку”, “легко” - “легче” - “/наи/легчайше”, а также “легковато”, “легонько”, “легонечко”, “полегоньку” и “полегонечку”.

Но на вооружении у наречий имеются и иные формы измерительности, например, удвоение основы: “все-го-навсего”, “полным-полно”, “мало-помалу”, “еле-еле”... Понятно, что у одинарных и удвоенных наречий весовые категории - различные.

У классической цепочки “редко” - “реже” - “/наи/редчайше” наличествует вполне симпатичное продолжение “изредка”. А у наречия “часто” скамейка запасных еще того длиннее - “частенько”, “почасту”, “зачастую”, и все эти приятные добавления обладают, согласитесь, каждое своими собственными ритмикой и экспрессией.

Половинные наречия тоже в большом спросе: “полушепотом”, “вполголоса”, “вполглаза”, “вполслуха”, “пополудни”...

У Александра Солженицына вычитываем оригинальные новообразования этого типа: “полувслух”, “дотянуться туда хоть вполздорова”.

В одном из стихотворений Бориса Слуцкого представлена целая выставочная галерея ополовиненных понятий, в которой экспонатами служат наречие, прилагательное и существительное.

Музейно было и полутемно
на выставках тогда, давным-давно,
но это, в общем, все равно:
любая полутемная картина,
как двери в полутемную квартиру,
как в полусвет чужой души окно.

А может ли иметь сравнительную степень...

междометие? Не торопитесь с отрицанием. Один радиокomentатор, говоря о так называемых ура-патриотах, употребил потрясающее словечко - “урастее”!

Наречия, местоимения, частицы - либо в одиночку, либо во взаимодействии - то и дело становятся условными весами, только мы сами этого попросту не замечаем.

Теперь вот только что вздремнула...

Строка эта извлечена из текста комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума”. Местоимение “что” играет в ней роль усилителя недавности действия “вздремнула”, заложенной в “только”. Выражение “только вздремнула” было бы менее определенным во времени. Сочетание же “только что” сравнимо по значению с другим - “только-только”, где тот же эффект достигается удвоением основы.

В разговорных выражениях “разве что”, “пожалуй что” и “как будто бы” местоимение “что” и частица “бы” в равной степени усиливают и без того заложенные в “разве”, “пожалуй” и “как-будто” неуверенность, сомнение, колебание, предположительность. А стало быть, и они добавляют свои собственные скромные граммы на чуткую чашу символических весов.

Неполноту, приблизительность все то же вездесущее что усиливает и оттеняет в сочетаниях “почти что”, “почитай что”, “пока что”.

Нельзя расценивать как абсолютно равнозначные и пары слов, состоящие из одиночного наречия “опять” и из сочетания его же с частицей - “опяты-таки” или “опяты же”. Во вторых вариантах происходит подспудное усиление смысла, заложенного в наречии “опяты”. Говоря другими словами, “опяты-таки” оказывается словно бы несколько больше или тяжелее, нежели простое “опяты”.

На условном безмене, позволяющем расчленять, дробить и взвешивать ту или иную часть речи, у нас с вами не побывал еще покамест наш замечательный русский глагол. Но эта важнейшая составная любого языка по праву заслуживает отдельного и обстоятельного о себе разговора.

АРШИН ДЛЯ ГЛАГОЛА

Значимость глагола в нашей речи хорошо понимали уже во времена незапамятные. Недаром же в древнерусском языке “глаголати” значило “говорить”, а старинный смысл существительного “глагол” был “слово”. При этом вспоминается пушкинская строка из стихотворения “Пророк”: “Глаголом жги сердца людей”.

Особенную, поистине выдающуюся роль глагола не однажды отмечали и наши писатели.

Юрий Бондарев: “...По моему глубокому убеждению, вся разительность прозы - в глаголе, ибо глагол - это действенность характера...”.

Алексей Югов: “Глагол - самая огнепышущая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь и назначение глагола - выражать само действие!”.

Русский глагол нередко именуют удивительным. Он примечателен тем, что не ограничивает себя с раболепием хотя и первонеобходимой, но одновременно скучноватой все-таки обязанностью просто называть действие либо состояние. В дополнение к тому он изо всех сил стремится показать воочию, с какою скоростью обозначаемое действие протекает и сколь долго то или иное состояние длится. Условно говоря, это действие либо это состояние могут быть длиннее или короче во времени, и для уточнительного их измерения потребен, стало быть, столь же условный аршин...

Уже одни названия видов нашего глагола - совершенный и несовершенный - говорят за себя сами. В первом случае мы имеем дело с действием, доведенным до конца, а во втором - с более или менее растянутым во времени: “дать” - “давать”, “пустить” - “пускать”, “простить” - “прощать”, “закончить” - “заканчивать”. Это, впрочем, только очень облегченная и потому далеко не исчерпывающая схема, как должно будет детально проясниться из дальнейшего нашего изложения.

Увы, мы лишь весьма выборочно используем в своей речевой практике богатейшие потенциальные возможности, связанные с видами глагола: мешают какие-то австралийские табу, о которых, если помните, говорил литературный критик В. Г. Белинский.

Так, без запинки выговаривая “колебаться”, мы не отваживаемся преобразовать при необходимости несовершенный вид в совершенный - “колебнуться”, как будто бы над последним нависло некое грозное “Не сметь!”.

Равно, признавая гражданские права форм “ступать” и “ступить”, боязливо воздерживаемся от использования такой динамичной формы, какова “ступануть”.

При вполне лояльном отношении к глаголам “презреть”, “повспоминать”, “опомниться”, “разлюбить”, “улучить” и “залучить” - мы останавливаемся как вкопанные перед возможностью “презреть”, “повспомнить”, “опоминаться”, “разлюбивать”, “улучать” и “залучать”.

А между тем “колебнулась”, “ступанули”, “презревал”, “повспомнить”, “опоминался”, “разлюбливаем”, “улучала” без никчемной стеснительности населяют во множестве произведения писателя Александра Солженицына, чей высочайший авторитет обжалованию не подлежит.

Примеры столь же непринужденной свободы в обращении с глагольными формами можно найти и в

прозе Евгения Носова: “изловчается”, “заухмылялся”, “взбугрился”, “взмелькивала”, “допламенев”, “острилась... спина”, “очухивается”, “протопывали”, “вычмокивал”, “пальтишко... узило ее в плечах”, “покорочела”, “посвободнело”, “попросторнела”, “подшаркивая”, “студеня рососою ноги”, “буруня... гладь реки”, “оконце, заплаканное дождем”, “Все заворочались, заоборачивались на сиденьях”.

И у современного поэта Игоря Григорьева можно найти такого же рода лингвистическую отгаку (в стихотворении под названием “Веретьенька”):

Обь меня качала,
Колыхала Волга,
Сердце залучала
Ширь-Нева надолго...

Поистине мастера художественного слова преподают нам всем предметный урок почтительного и одновременно серьезно-вдумчивого отношения к родному языку.

А какая волшебная, чарующая прелесть заключена в категории многократности, образчиками которой изобилует вся отечественная классическая литература! Вспомним, к примеру, у А. С. Пушкина:

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим...

У Н. В. Гоголя в поэме “Мертвые души”: “...не рассердились на него, как серживались встарь”; у А. С. Грибоедова в комедии “Горе от ума”: “Я за уши его дирала, только мало”.

Понятно, что “сиживал”, “серживались” и “дирала” далеко не равнозначны формам “сидел”, “сердились”, “драла”.

Первые подразумевают большую или меньшую повторяемость обозначаемого действия, вторые такой повторяемости не предусматривают, ограничиваясь указанием на неопределенную его продолжительность.

В книге воспоминаний С. Т. Аксакова “Детские

годы Багрова-внука” услаждающие зрение и слух глаголы многократности - “видывал”, “слыхивал”, “сиживал”, “сказывал”, “говаривал”, “дельвал”, “бивал”, “игрывал”, “едал” - встречаются не одновременно, а по несколько раз.

Массу примеров использования категории многократности у глагола можно извлечь из собрания русских пословиц и поговорок В.И.Даля. Приведем здесь только некоторые, отдавая предпочтение наиболее редкостным на сегодняшний наш слух.

Чего не покупывали, того и не нашивали.

Не укусывала его своя вошь.

И холодовал, и голодовал, и нужу знавал.

Овина не отнимывать, а бане не сгарывать.

Кто в море не бывывал, тот досыта богу не маливался.

На Руси никто с голоду не умиривал.

А сколько еще подобных выразительных речений предлагают на наше дружелюбное усмотрение фольклор и сочинения старинных авторов: “читывать”, “езживать”, “обедывать”, “лавливать”, “певать” и “пивать”...

Однако вот же какая историческая несправедливость: мы все реже и все неохотнее - и исключительно по собственному небрежению! - пользуемся этой благодарнейшей глагольной формой. А тем самым жесточайше наказываем себя, оставляя втуне драгоценную возможность разнообразить, уточнить и украшать речь нашу.

Любопытно, что на это неоправданное и обидное до крайности упущение сетовал еще в XIX столетии крупнейший российский языковед Ф. И. Буслаев:

“Древнерусский язык производил многократные формы свободнее нашего... По формам многократного вида нынешнее областное просторечие ближе к древне-

русскому, нежели к нашему книжному языку”.

Приходится повторять еще и еще: слишком далеко зашло поразительное небрежение чудесными этими глаголами не только в нашей разговорной речи, но даже и в нынешней беллетристике. А потому так радуется каждая нежданная встреча с ними чуткого к родному слову читателя. Или - слушателя, если говорить применительно к песенке, бывшей во времена еще недавние популярной:

С прибауткой-шуткой в бой
Хаживал дружок.
Что случилось вдруг с тобой,
Вася-Василечек?

Подлинным глашатаем возврата к лучшим народным языковым традициям выступил в наше время писатель Александр Солженицын. Не только в выступлениях в прессе, но и в собственном творчестве он уделил многократному виду глагола самое благожелательное внимание. Вчитайтесь и вслушайтесь, насколько свежо и убедительно звучат солженицынские слова и фразы: “стаивали рядом на крылечке”; “застанывала”; “обцеловывал”; “втолакивали”; “застыживался”; “доведывался”; “взмарщивался”; “спектакли состаивались”...

Не менее восхитительны, нежели многократные, и так называемые междометные, или же однократные, формы глагола, которые, напротив, отображают молниеносность, взрывную энергию совершаемого действия. Доходчивое представление о таких глагольных формах может дать знакомая многим из нас по собственному детству забавная и веселая присказка:

Прыг-скок, прыг-скок,
Обвалился потолок...

Укороченные также и чисто внешне, однократные формы глагола - не редкость в произведениях

классиков русской литературы. Очень дорожил ими и энергично их отстаивал перед нападками критиков А.С. Пушкин. В поэме “Граф Нулин”, например, про кога с его общеизвестной стремительной реакцией и хваткой говорится:

Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап...

Вот это лаконичное пушкинское “цап-царап” и есть один из образчиков междометной формы глагола.

В описании сна Татьяны Лариной из пятой главы романа “Евгений Онегин” содержится пассаж, заставивший немало задуматься самых маститых отечественных языковедов.

Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! - а он реветь...

Пусть не покажется читателю неожиданным мнение по этому поводу, высказанное академиком Л. В. Щербой:

“Для меня ах относится к Татьяне и является глаголом, а вовсе не междометием”.

В исторической поэме нашего современника - поэта Игоря Григорьева - “Зарево” содержится динамичная сценка драки россиян с чужеземцами.

Повалили дурака –
Потолклись и хватит.
Хвать за ноги варнака
И - в двоих - как хватит!

Здесь междометный глагол - “хвать”, а дополнительный интерес в отрывке может представить троесмысленность одной и той же основы слова: “быть достаточным”, “ухватить” и “бросить, швырнуть”. И все это языковое богатство сконцентрировано в рамках разьединственной поэтической

строфы!

Немало междометных глаголов обнаруживается в самом первоисточнике наблюдаемой языковой традиции - в живой народной речи. А она, эта речь, словно в образцовом музее, нетленно обитает в сокровищнице русского фольклора: “Скок на крылечко, бряк во колечко, - дома ли хозяин?”; “На чужой лошадке, да верть в сторону”...

“Скок”, “бряк”, “верть” - замечательные экспонаты категории однократности.

Сравнительно со временем нынешним гораздо полнее использовали наши предки и возможности, открываемые русским языком для выражения обезличенности совершаемого действия. Об этом может свидетельствовать даже скромный набор пословиц и поговорок.

При соли хлебнется, к слову молвится.

Что просится, то и скажется.

Рано всталось, да мало наткалось.

Смолоду не богателось, а под старость захотелось.

У автора воспоминаний “Детские годы Багрова-внука” - С. Т. Аксакова - безлично преподносится живописание приготовления вкусных печеностей.

“...Все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом, совершенно готовым и поджарившимся”.

Безличный глагол не вовсе обделен правами: он также имеет настоящее, прошедшее и будущее время - “светает”, “светало”, “рассветет”. Однако, переходя на, так сказать, беспривязное относительно хозяина-подлежащего содержание, он приобретает и некую безразмерность. Заключается

она в ничем не стесняемой широте обозначаемого действия или же состояния. Собственно, именно это выдающееся качество и определяет неповторимое очарование безличной формы глагола, которую с большой охотой использовали в своем творчестве поэты многих поколений.

У Михаила Лермонтова:

И верится, и плачется,
И так легко, легко...

У Владимира Маяковского:

...все меньше любитя,
все меньше дерзается...

Возможно, наилучшим образом сумел довести до читателя волшебное впечатление, создаваемое картинной безличностью глаголов, Афанасий Фет в стихотворении “Вечер”.

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.

И опять-таки - в который уже раз! - приходится с почтением засвидетельствовать, что ни у кого, пожалуй, из современных прозаиков не отмечается более доброжелательного отношения к безличным глаголам, чем у Александра Солженицына: “потихло”; “езде кипело”, “так невесомо шлось”; “Сколько езжано, сколько лежано, сколько читано в этом вагоне”; “не моглось думать”...

Наш поистине гуттаперчевый по исключительной гибкости своей русский язык не лишен и способности с успехом отображать половинчатость действия: “полусидеть”, “полулежать”, “полубедствовать”. Древние русичи говаривали “полугнить”, вкладывая в слово смысл “почти гнить” или “гнить наполовину”. А у Александра Солженицына можно

найти непривычно “полуприсутствовал”.

Как ничто другое помогают русскому глаголу разнообразить показ протяженности действия наши многочисленные приставки. По характеру сообщаемой ими измерительности группы приставочных глаголов можно бы представить в таком приблизительном наборе.

Зачин действия: “запеть”, “побежать”.

Прекращение действия: “разлюбить”, “отмататься”.

Эту тему превосходнейшим образом иллюстрируют такие строки Бориса Слуцкого:

Отлежали свое в окопах,
отстояли в очередях,
кое-кто свое в оковах
оттомился на последях.

Исчерпанность действия (полная либо частичная, относительная): “завраться”, “приехать”, “добежать”, “прочитать”, “вылечить”, “выкормить”, “набегаться”, “износить”. С потрясающей эмоциональной силой тот же Борис Слуцкий сумел преподнести читателю венчающее сверхчеловеческие усилия и старания “до”:

Скамейка на десятом этаже,
к тебе я докарабкался уже,
домучился, дополз, дозадохнулся,
до дна черпнул, до дыр себя сносил,
не пожалел ни времени, ни сил,
но дотянулся, даже прикоснулся.

Неполнота или кратковременность действия: “надкусить”, “посластить”, “подсластить”, “приостановиться”.

Превышение условной нормы: “пересолить” - и недостижение той же нормы: “недосолить”. У Бориса Слуцкого - “недополучили счастья, перепол-

лучили беду”.

Богатство смысловых нюансов одного и того же, по существу, действия, достигаемое умелым набором приставок, прекрасно показано в таком четверостишии Бориса Слуцкого:

А ему - поручали унижать,
втапывать сперва,
потом дотапывать,
после окончательно затапывать...

Как нетрудно убедиться, даже при сходном общем значении каждая из глагольных приставок привносит и собственный, пусть едва уловимый смысловой оттенок. И это становится еще более справедливым по отношению к приставкам много-составным, как показано у В. И. Даля применительно к одной из них, взятой просто на выбор:

“Поприн-, предлог (так автор именует приставку. - В. К.) сложный, весьма близкий к прина- или поприна-; по уменьшает, смягчает, выражает: несколько, немного. Попризадумаешься над таким делом поневоле... Попринажми хорошенько сверху, так крышка закроется...”.

“Нажать” - “принажать” - “попринажать”...

Приложим к составляющим цепочку глаголам условный аршин: по “длине” они не совпадут.

Подобно Вергилию для Данте в “Божественной комедии”, наш постоянный проводник по бесчисленному сонму приставочных глаголов - поэт Борис Слуцкий - и на этот случай готов предоставить полноценный справочно-иллюстративный материал:

Рестораны не растеряли
Довоенной своей красы.
Все салфетки порасстали,
Вилки, ложек понесли.

Или вот такое, еще более впечатляющее:

У обеих сторон уже нету зубов –
и у той, где повыпали,
и у той, где повыбили.

Я НЕ Я, И КОТОМКА НЕ МОЯ

Поговорка эта, позаимствованная из великолепного и ничуть не увядающего с годами и десятилетиями собрания В. И. Даля, как нельзя лучше подходит к удивительному лингвистическому маскараду, которому и посвящается наша глава. Две неразлучницы национального строя речи - свобода и гибкость - предоставляют говорящему и пишущему по-русски необыкновенно широкие возможности по своему усмотрению взаимозаменять временные грамматические категории. Доходчиво и доказательно повествуется об этом явлении в книге писателя Алексея Югова “Думы о русском слове”.

“Русскому глаголу, особенно в народной устной словесности, свойственна иногда некая как бы “надвременность”. Так, в былинном языке для обозначения одного и того же настоящего времени применяется и будущее, и прошедшее, и настоящее: “А и будет Илья посреди двора, он вяжет коня да к золоту кольцу: проходил он во столовую во горенку”. Или: “Пнет ногой во двери железные - изломал все пробои железные”.

“Этот оборот, - поясняет далее А. Югов, - гораздо живее, ярче, чем “пнул - изломал”.

Такое же смешение глагольных времён находим в народной присказке: “Я креститься, что не спишься? Погляжу, ан не ужинавши лежу”. В этом комплексе задействованы сразу и настоящее время, и будущее, и неопределенная форма глагола. Обратите внимание: весь рассказ ведется в ключе времени настоящего, а подмена его будущим (“погляжу”) спо-

собствует куда большей динамичности; с другой стороны, неопределенная форма “креститься” привносит оттенок торопливой решительности действия.

Да не вменяют во грех строгие критики следующий просторечный пример поразительного жонглирования временами и даже наклонениями глагола: “А иди ты!” запросто замещается говорящим на “А пошел ты!”.

Благодатнейшие возможности, предлагаемые родным языком в дар всем нам - говорящим и пишущим, - могли ли они оставаться не используемыми в первую очередь отечественными писателями и поэтами?

У Н. А. Некрасова в строке “Уж больно ты грозен, как я погляжу” мы заново встречаемся со знакомой по предыдущему временной подменой и с тем же в точности конечным эффектом.

Будущее время вместо настоящего колоритно используется и в сцене из пушкинского романа “Евгений Онегин.

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке...
Или, в другом месте романа:

Онегин вновь часы считает,
Вновь не дождется дню конца.
Но десять бьет: он выезжает,
Он полетел, он у крыльца,
Он с трепетом к княгине входит...

Во второй цитате “не дождется” (будущее время) тоже заменяет настоящее, а кроме того, с подобною же целью использовано также и время прошедшее “полетел”. Бесспорно, в “полетел” сквозит нетерпение Онегина, а заключительное “входит” после стремительного “полетел” отражает вдруг

охватившие его неуверенность и робость. В целом же оцените по достоинству многопеременный калейдоскоп глагольных форм в таком малом отрывке: “считает”, “не дождется”, “бьет”, “выезжает”, “полетел”, “входит”...

Блестящий пример использования будущего времени на сей раз в значении не настоящего, а прошедшего времени находим в хрестоматийном рассказе И.С.-Тургенева “Бежин луг”.

“Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной...”.

Ряженный под чужака глагол свил себе уютное гнездо и в такой фразе из книги С. Т. Аксакова “Детские годы Багрова-внука»: “Один раз, рано утром, я проснулся, или очнулся, и не узнаю, где я”. Здесь настоящим временем заменено прошедшее.

А вот в рефренной строке из знаменитой песни Булата Окуджавы прошедшее принимает на себя обязанности времени будущего:

Бери шинель, пошли домой...

Согласитесь - лобовое и вроде бы внешне естественное “пойдем домой” прозвучало бы в песне и не с такой решительностью, и как-то не к месту буднично, чересчур заземленно для высокой темы победного окончания страшной по своему кровопролитию мировой войны!

Предоставим снова слово для высказывания по нашей теме писателю Алексею Югову.

“В высшей степени также благодатна для писателя (живит повествование) та форма глагола, которая внешне похожа на повелительное наклонение, а на самом деле вовсе им не является: А он возьми и умри у меня под хлороформом” (Чехов.

“Дядя Ваня”); “Случись тут Мухе быть” (Крылов. “Муха и Дорожные”).

То же находим и у С. Т. Аксакова: “...с хлебом не знай, как и совладать...”. Припомним также широко распространенное разговорное выражение: “откуда ни возьмись”... Форма “то и знай” частенько встречается у Н. А. Некрасова. Например, в стихотворении “Размышления у парадного подъезда”:

От него и к нему то и знай по утрам
 Всё курьеры с бумагами скачут.

И в другом стихотворении - “Школьник”:

Не бездарна та природа,
 Не погиб еще тот край,
 Что выводит из народа
 Столько славных то и знай...

Даже такое неподвижно-консервативное состояние глагола, каковым следует признать неопределенную форму, не препятствует ему на нашем доморощенном маскараде надевать по выбору маски то времени прошедшего, то настоящего, а то и будущего.

Вторично, но уже с иной целью процитируем пушкинские строки из описания сна Татьяны в романе “Евгений Онегин”:

Но вдруг сугроб зашевелился.
 И кто ж из-под него явился?
 Большой, взъерошенный медведь;
 Татьяна ах! - а он реветь...

Мы видим, читая стих, или слышим, когда нам читают его вслух, “реветь”, а про себя воспринимаем правильно - “заревел”. Именно в прошедшем времени, поскольку вполне подготовлены к такому восприятию предыдущим текстом: “зашевелился”, “явился”.

Под одеянием все той же неопределенной фор-

мы с легкостью распознаем мы и время будущее в пословицах: “Быть бычку на веревочке”; “Чему быть, того не миновать”.

Неподражаемое хамелеонство русского глагола простирается еще того далее. Он склонен пренебрегать не только границами временных категорий: как уже было вскользь упомянуто, актерской способностью обряжаться в чужие маски наделены даже и наклонения!

В прямую противоположность по смыслу популярной пословице “Не постой за волосок - бороды не станет” И. А. Крылов одну из своих басен заключил таким выводом-итогом: “Щепотки волосков Лиса не пожалей - остался б хвост у ней”. Народной пословицы Лиса могла и не знать – ей простительно, - но поступила-то точь-в-точь по ней...

Сослагательное наклонение, в свою очередь затаившееся под личиной будущего времени наклонения изъявительного, может продемонстрировать строка из комедии А.С.Грибоедова “Горе от ума”:

Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?

В соответствии с подлинным смыслом вопрос Чацкого, обращенный к Фамусову, без труда переиначивается в “Если бы я посватался...”.

Повелительное наклонение, выраженное неопределенной формой глагола, находим в романе “Евгений Онегин”:

Итак, пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...
К соседу... да велеть ему,
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня...

Впрочем, подобные же подмены отлично знакомы каждому по разговорным выражениям-командам: “Молчать!”, “Сидеть!”, “Не входить!”, “Не

двигаться!” и так далее.

В особую группу языковых странностей можно выделить разговорные же выражения: “Пойти посмотреть, что там...”, “Схожу проведаю...”, “Попробую поговорю...”. В них лишь один из спаренных глаголов - во всеоружии целиком и полностью, второй же играет очевидно подсобную роль, и временная проблема для него не существует вовсе.

И еще вот такая фраза, почерпнутая из сатирико-юмористического наследия писателя Михаила Зощенко: “Удобств на этой станции, конечно, меньше будет, чем в столице”. Почему же “будет”, спросит иной читатель, ежели попросту “есть”? Ах, да разве ж это важно, если все понимают, о чем идет речь! И надо заметить, что в этом случае, как в предыдущем и во множестве прочих подобных же, речь говорящего обретает неуловимый, но отнюдь не отвратный аромат.

Поистине свобода слова по-русски не признает никаких жестких и безусловных ограничений, подчиняясь одному лишь Его Величеству - Здравому Смыслу.

ДВЕРЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНАЯ, ДВЕРЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЯ

В стане маститых языковедов давно уже кипит-бурлит затянувшаяся на многие и многие годы академическая свара: им никак не удастся прийти ко взаимному принципиальному согласию относительно немудреной, казалось бы, вещи - сколько же в русском языке... частей речи?

А. М. Пешковский в свое время насчитывал их, основных, всего-навсего четыре, барственно оставляя в непроглядной тени всяческую словесную шушеру. Л. В. Щерба пересмотрел избирательный ценз, снизойдя уже до четырнадцати. В. В. Виног-

радов компромиссно выделил семь, присовокупив еще, на правах бедных родственников, не части даже, а лишь частицы речи. Наконец в 1950-е годы академики-реформаторы узаконили десять суверенных единиц, каковые мы и имеем на сегодняшний день, - безо всякой, впрочем, гарантии на дальнейшее долгожительство счастливых избранников в нашей многотрудной и основательно подзапутанной грамматике.

Почему же возник столь внушительный разброс исчислений - от более чем скромных четырех и аж до четырнадцати? В чем тут дело и как такое вообще могло случиться?

Оказывается, сторонники более строгого подхода к классификации не останавливаются перед натуральным раскассированием некоторых привычных для нас с вами категорий целиком и полностью. Порядковые числительные, например, всем гуртом относят к именам прилагательным, а оставшиеся переводят в разряд имен существительных. В прилагательные определяют все поголовно причастия, а также притяжательные местоимения. Деепричастиями, выражая им вотум недоверия как самостоятельной единице, основательно пополняют ряды и без того многочисленных наречий.

Что касается местоимений, которые при таком распределении оказались как бы бесхозными, то давайте познакомимся хотя бы с некоторыми рассуждениями на этот счет академика Л. В. Щербы.

“...Целый ряд так называемых “местоимений” приходится считать существительными: я, мы, ты, вы, он, она, они, себя, кто? что? некто, нечто, кто-то,

что-то, никто, ничто; кроме этого, это (редко то) и всё, употребляющиеся в качестве существительных в форме среднего рода; всякий и каждый, употребляемые в качестве существительных лишь в форме мужского рода (однако: “Всякая тут будет распоряжаться!” - *В. К.*); все, употребляющееся в качестве существительного во множественном числе. (Примеч.: Сам лишь с комическими целями употребляется в смысле существительного в выражениях вроде сам пришел (заимствовано из просторечья); всяк является более или менее фамильярным архаизмом).

...Все перечисленные слова составляют, конечно, по содержанию обозначаемых ими понятий особую группу местоименных существительных”.

Вот так-то! Теперь понятно, как и по поводу чего скрещивали свои остро отточенные в академических дискуссиях шпаги ученые-лингвисты?

Ну да бог с ними, с учеными спорами. Куда важнее и интереснее сам по себе феномен родного языка, с невиданной легкостью благословляющего бесхлопотное превращение одной части речи в другую - в зависимости от требований конкретного речевого контекста.

И здесь-то услужливая память неожиданно извлекает из просторных своих амбаров странную, на первый взгляд, аналогию - блистательный выкрутас классического Митрофанушки из комедии Д. И. Фонвизина “Недоросль”. Напомним знаменитую сценку экзамена.

Госпожа Простакова предлагает Стародуму и Правдину проверить знания дорогого сыночка. Взяв в руки учебник грамматики, Правдин спрашивает Митрофана, что он из него знает. Без ложной скромности шестнадцатилетний балбес решительно отвечает:

- Много. Существительна да прилагательна...

После чего и завязывается любопытнейший диалог, который лучше привести буквально.

“П р а в д и н. Дверь, например, какое имя, существительное или прилагательное?”

М и т р о ф а н. Дверь, котора дверь?

П р а в д и н. Котора дверь? Вот эта.

М и т р о ф а н. Эта прилагательна.

П р а в д и н. Почему же?

М и т р о ф а н. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна”.

Нет-нет, вовсе не такой уж и простофиля - дворянский недоросль, и сто раз прав был историк В. О. Ключевский, определивший, что “Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только - недобросовестно”, преследуя единственную цель - поскорее выкрутиться из щекотливого положения! Нечаянно недоросль напал при этом на счастливую идею о том, что суть “двери” не в ее форме, а в функциональной принадлежности и что поэтому “дверь” вполне может оказаться и прилагательной, и какой-либо еще...

Удивительному языковому явлению посвящена целая глава в занимательной книге В. В. Одинцова “Лингвистические парадоксы”.

“Всякое слово кажется простым, пока мы не заглядываем в него поглубже. Вполне обычно слово пропасть - существительное женского рода. Но живой язык и здесь задает нелегкие задачи. Вот три примера из классической литературы: 1. Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки (М. Ю. Л е р м о н т о в). 2. Я нашла

пропасть, да после траура все ещё не решаюсь шего-
лять-то (А. Н. О с т р о в с к и й) 3. - Тьфу пропасть! -
говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех врак.
(И. А. К р ы л о в).

С первым предложением все просто. Пропасть,
как указывается в словаре, означает: “глубокая,
отвесная впадина на земной поверхности...”. Во вто-
ром предложении слово пропасть не только измени-
ло смысл (приобрело значение множества), это уже
и не существительное. А что же – числительное?
Наречие? В третьем предложении оно вообще не
имеет как будто никакого значения, а просто ока-
зывается восклицанием, выражающим досаду, раз-
дражение, неудовольствие, другими словами, меж-
дометием”.

Далее, комментируя статью академика Л. В.
Щербы “О частях речи в русском языке”, В. В. Один-
цов приводит еще целый ряд зигзагов российского
словоупотребления, которые кого угодно способны
поставить в тупик.

“Междометия очень различны. С восклицани-
ями ах! ох! ура! эге! чу! все просто. А что такое горе!
ужас! глупости! - существительное или междометие?
А как отнестись к обычным в разговоре брось, ва-
ляй, давай? Повелительное наклонение? А целые
предложения: Вот те раз! Была не была! Вот так клюк-
ва! Ведь это цельные, устойчивые выражения, смысл их
не складывается из значений отдельных слов, он оказы-
вается не суммой, а, так сказать, произведением состав-
ляющих предложение элементов”.

В самом деле: в наставлении заботливой ма-
маши ребенку “Смотри не упади” первое слово лишь
по видимости глагол, также как и словечко “давай”
в модной песенке:

Давай оставим все как есть, давай...

По существу это побудительные частицы наподобие “ну”, и недаром они частенько сочетаются усиленно: “ну смотри”, “ну давай”.

В прошлом у российских помещиков в их усадьбах имелись так называемые дворовые. Слово это по форме прилагательное, а по сути - существительное (со значением “дворня”). Примеры такой трансформации существуют и ныне: горничная, прихожая, приемная. Правда, первое из этого ряда словес порвало со своим прошлым окончательно, а последующие еще остаются связанными с контекстом тою или иной из двух своих сущностей. Можно говорить “прихожий” о человеке, и тогда это будет прилагательное в отличие от “прихожая” - комната в квартире; “приемная аппаратура” и “приемная начальника” разнятся по тому же признаку.

Впрочем, в живой речи очень многие прилагательные неожиданно оказываются в роли существительных: “Эй ты, рыжий!” - и тому подобное. Причем, превращаясь в существительные, эти слова сохраняют некий свой тончайший аромат по сравнению с “законными” однокоренными аналогами-существительными. Сравните, например, две песенные строчки:

- Поедем, красotka, кататься...

- Ну что, красивая, поехали кататься?..

Как прилагательные сравнительно легко перерождаются в имена существительные, так и причастия приобретают значение имен прилагательных, порывая со своим глагольным прошлым. Иногда это приводит к необходимости как-то обозначать смысловые различия. Уже рассматривался прежде пример с причастием “проклятый” и прилагательным “проклятый”: здесь различием служит ударение. “Раненный” и “раненый” разграничиваются наличием двух либо одного “н”...

Наверное, было бы чересчур уж большой смелостью утверждать, что любое слово в русском языке способно в определенных речевых обстоятельствах поменять свою внутреннюю сущность на другую. Но, честно говоря, когда один за другим перебираешь бесчисленные примеры, впечатление может складываться именно такое: очень уж часты и разнообразны у нас словооборотни!

Так, “добро” - вполне нормальное имя существительное. Однако же оно способно при удобном случае прикинуться и наречием “Добро пожаловать!”, и даже простеньким союзом (“Добро бы”).

Не менее достоверное и уважаемое существительное “благо” с легкостью необыкновенной перевоплощается в... союз (“благо подошло время...”).

Наречие “еще” запросто уступает себя в качестве маски для новообразованной таким не слишком-то честным способом частицы (“И как еще здорово!”).

Уж на что, кажется, простак-простаком однобуквенный союз “и”, но даже и ему доступны сценические роли частицы и междометия (“И сам не рад”; “И, полно!”).

Частица “ни” в условиях обычного общежития - скромница, каких поискать. Но если ей вздумается повторяться в предложении, то она из кожи вон лезет, дабы обрести чужеродный статус союза: “Ни за что ни про что”. !

Слова “молча”, “стоя”, “лежа” и еще немало количество им в том подобных попеременно щеголяют в личине то законопослушного деепричастия, а то наречия.

В свою очередь прирожденное деепричастие “благодаря” зачастую оказывается в роли простень-

кого предлога. При этом пуповина, связывающая новорожденный предлог с материнским первоначением, остается до конца не оборванной: язык не повернется сказать “благодаря случившейся трагедии”...

В этом отношении предлог “благодаря” схож с наречием “довольно”, когда оно (обозначающее исконно “достаточно”) превращается в пояснительное слово из компании “очень”, “чрезвычайно” и прочих. Если помните, первая же строка, открывающая поэму Н. В. Гоголя “Мертвые души”, такова: “В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка...”. При таком общем раскладе сам эпитет “красивая” поддается замене на другой - например, “удобная” или “изящная”, но лишь при условии, что слово-замена не будет иметь отрицательного значения. Так, исключительно нелепо прозвучало бы: “Довольно отвратительная с виду”...

Только парадоксальный по стилю речевой строй, вообще свойственный прозе Андрея Платонова, позволил писателю пренебречь указанным выше предостережением. Не вызывая у читателя недоумения или, хуже того, язвительной насмешки, Платонов отважно применяет в повести “Котлован” осуждаемую правилами грамматики конструкцию. “В большом доме Организационного Двора была одна громадная горница, и там спали на полу благодаря холоду”.

В общем, куда именитые ученые горячо спорят, выясняя, к какой же грамматической категории сподручнее отнести тот или иной заковыристый перевертыш, живая речь пользуется предоставленными ей неограниченными возможностями что называется на полную катушку: “А Васька слушает да ест”... А уж вслед ей по мере сил своих пытается попевать и отечественная художественная литература.

Проездом, случаем, из чужа, из далёка...

В строке из комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума” существительное первое образовано от краткого прилагательного “чуж”, а второе - наречного происхождения.

У Николая Гумилева роль имен существительных принимают на себя прилагательные:

Люди заняты ненужным,

Люди заняты земным.

Местоимение превращено в существительное в знаменитейшей, принадлежащей Аполлону Григорьеву, оценке значения великого русского поэта: “Пушкин - это наше все”.

В стихах Игоря Северянина в одном случае безоговорочно “осуществляются” наречия, в другом... предлог:

И “сегодня” у нас - как “вчера”,

Но нам “завтра” не надо иного...

Где чайка взреяла Элладой,

Влекись я в мореную сквозь.

Владимир Маяковский в ранг имени существительного производит не только наречие “весело”, но и сравнительную степени “меньше”:

Ах, зачем это, откуда это

в светлое весело

грязных кулачищ замах!

...Не в пять годов,

а в меньше...

И совершенно потрясающий набор рекрутов в доблестную армию имен существительных произвел Борис Слуцкий в нижеследующем поэтическом тексте:

...плывут в свое неведомо куда,

плывут в свое невидано, неслыхано,

в незнаемо, в невесть когда, куда.

Однако все, как говорится, хорошо в меру. Если же мера, не дай бог, превышена или очередной оборотень затесался в чуждый для себя контекст, в итоге может самозародиться отнюдь не запланированный заранее комический эффект. Это обстоятельство очень четко использовал для заметок-заготовок на будущее в своих “Записных книжках” писатель-сатирик Илья Ильф.

“Ели косточковые, играли на щипковых”.

“Позавчера ел тельное. Странное блюдо! Тельное! Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное. Идиллия!”.

А не пожелает ли наш читатель ознакомиться напоследок с шикарной выставкой отборных словечек-оборотней, которую приуготовил для нас с вами всемогущий и всемудрейший русский фольклор? В качестве имени существительного на необычной этой выставке последовательно лицедействуют глаголы, причастия (или же отглагольные прилагательные?), междометия, наречия, местоимения, прилагательные краткие и в сравнительной степени. Итак, читайте и - вникайте!

Встань мужа кормит, а лень портит.

Подари-то помер, а остался в живых брат его, купи.

Грош за рыбу, грош на рыбу, да грош на нее ж. -
Все ты врешь! - Да бишь за врешь отдала грош.

За одного битого двух небитых дают.

Зашибено за ударено ставят.

Ну-то не едет, тпру не везет.

Пожалуйста не кланяется, а спасибо спины не
гнет.

Знай, ворона, свое кра!

Так на свете не живет.

Одно нынче лучше двух завтра.

Ни то ни се клевало, да и то сорвалось.

Хороша шла, да не поклонилась.

У скупа - не у нета: есть что взять.

Глуп дает деньги, глупей того не берет.

Криво-лукаво, куда побежало? - Зелено-кудряво, тебя беречи (стеречи). (Загородь вокруг поля).

Потешный маскарад частей речи - а относится ли он к числу украшающих достоинств, или, может быть, свидетельствует об ущербности родного языка? На этот далеко не праздный вопрос квалифицированно отвечает автор книги “Лингвистические парадоксы”.

“Ученые, выделяя классы, группы слов и формы, стараются наиболее полно и точно описать структуры языка, но взгляды ученых меняются, наука развивается. Мы привыкаем к определенным классификациям, однако это условное деление; абсолютно строгое и четкое разграничение провести не всегда возможно: слова могут переходить из одной части речи в другую, в одних и тех же классах слов обнаруживаются грамматические признаки разных частей речи, границы между ними неустойчивые. Может быть, это недостаток языка? Нет, как уже отмечалось, это признак высокого развития языка, его способности выражать тончайшие оттенки мысли, это грамматическая основа гибкости языка”.

ПОТЕРЯШКИ И ОБОРОТНИ

Возможно, кто-нибудь помнит романс Рощина из кинофильма “Разные судьбы” - очень задушевные в нем и мелодия, и текст, в котором есть и такая строфа:

Как боится седина моя

Твоего локона.

Ты еще моложе кажешься,

Если я - около...

Обратите внимание: неполная рифма во второй - четвертой строках четверостишия определяется перестановкой слогов “лок” и “кол”. Такой оригинальный прием узаконен в поэзии, он очень эффектен и доставляет истинное удовольствие ее ценителям.

А ведомо ли вам, читатель, что изобрели эффектный прием отнюдь не сами служители муз? Послушаем, что имеет сказать по этому поводу писатель Алексей Югов, автор книги “Думы о русском слове”. Отталкиваясь от особенностей поэтики Владимира Маяковского - “Идут (железом) клая и лакая...”, - А. Югов пишет далее:

“Еще одна замечательная черта в словообразовании роднит язык Маяковского с древнерусским языком: это перестановка, переверт звуков, слогов. Особенно часто переставляются плавные “р” и “л”.

“Опыт исторической грамматики” (А. Югов ссылается здесь на ученый труд Ф. И. Буслаева. - В. К.) дает следующие примеры: алкать, алчный, лакомый, лачный (при глаголе лакать); длань, областное - долонь, откуда с перестановкою - ладонь; слово сыворотка образовалось от формы сыроватка. В областном словообразовании также употребительна перестановка звуков: например, ведмедь вместо медведь; девнесь и день весь; лопено вместо полено и многое другое”.

Специалисты в области языковедения утверждают за верное, что современное слово “локоть” обрело свою нынешнюю внешность тоже в результате фонетического перекувырка: оно прошло последовательно три стадии: “алку” - “олкъ” - “локоть”.

Слово “лодыжка” (щиколотка) появилось на свет сходным образом - из более древнего “долыга”.

Живой речи свойственно отторгать всяческую звуковую неудобницу. Простейший, хотя и далеко не единственный к тому способ - произнесение трудного звука вовсе, как это наблюдается, к примеру, в словах “праз/д/ник”, “сер/д/це”, “чу/в/ствовать”, “неизвес/т/ный”, “здра/в/ствуй-те”, “пожалу/й/ста”.

Затруднительные для произношения звуки могут изгоняться и окончательно, то есть в написании. В комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума” можно прочесть весьма странные, с нашей точки зрения, строки! “Верст больше седьмисот пронесся” и “В семнадцать лет вы расцвели прекрасно”. Они фиксируют старинное произношение и написание числительных, в которых впоследствии “д” было принесено в жертву ради благозвучия. Нынешние “семь” и “седьмой” ничуть не конфликтуют, например, прилагательное “семизначный” изгнало из обихода неудобосказуемое “сдьмизначный” окончательно и бесповоротно!

О природе категории числительных, в которых задействовано малопонятное нашему современнику - дцать, популярно рассказывается в книге В. А. Ивановой, З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь “Занимательно о русском языке”.

“Числительные второго десятка создавались уже на основе имеющихся числительных, что как нельзя лучше говорит о действии закона экономии. Наши предки считали: один на десяте, два на десяте, т. е. один плюс к десяти, два над десятью. Постепенное слияние трех слов в одно слово и дало нам одиннадцать, двенадцать, тринадцать; числительные один, два, три и другие хорошо сохранились в них, а десять, находившееся в заударном положении, подверглось фонетическому изменению. Так и возникло необычное сочетание -дцать, входящее теперь вместе с бывшим предлогом на в суффикс”.

Еще в 1812 году в России, имея в виду разноплеменную армию Наполеона, по-старинному говорили о нашествиях “двунадесяти языков”,

В продолжение разговора о числительных добавим еще, что наше привычное счетное словечко “полтора” есть не что иное, как бывшее “полвторра”, а скромное по внешности и неразборчивое в смысле происхождения слово “теперь” имело некогда иной облик, куда как явственнее указывавший на его родословную, - “топерьво”...

Стремление к обудобию трудных для произношения звукосочетаний убедительно иллюстрируют многие областнические речения. В словах “захолонуло”, “глонуть”, “хлени” легко просматривается уход от тяжелых для языка “дн”, “тн”, “бн”...

В книге “От двух до пяти” Корней Чуковский среди многого-прочего описывает забавно-конфликтную ситуацию, которая возникла у гражданина младенческого возраста на лингвистической почве.

“Когда он (ребенок. - В. К.) слышит слово “близорукий”, он спрашивает, при чем же тут руки, и доказывает, что нужно говорить б л и з о г л а з ы й”.

Претензию наблюдательного малыша от двух до пяти можем разделить и мы с вами, вполне грамотные взрослые люди. А в самом-то деле - при чем?!

А недоразумение объясняется простым стяжением, случившимся в старинном слове “близозоркий”, которое изначально было построено по образу и подобию счастливо бытующего по сию пору и не возбуждающего кривотолков слова “дальнозоркий”. И все бы хорошо, да вот незадача: два соседствующих в слове “зо” представляли досадную неловкость для выговаривания. Потому-то и произошла стяжка. Лишнее “зо” исчезло в скороговорке, а уже дополнительное (и немало вредящее правиль-

ному осмыслению) “у” после “р” появилось позднее - и с тою же добронамеренною целью: для пушшего благозвучия.

Неудобопроизносимое старинное “сткло” дало сразу два плодоносных побега: с одной стороны, облегченное “стекло” со своими производными (“стеклянный”, “стекловидный”, “стекольщик” и так далее), а с другой - “скло”, оставившее на сегодня свой четкий след в словечке “склянка”. Старинную же форму можно встретить в народных пословицах: “Скляница - свахе-пьянице”; “Ждет, что пьяница скляницу, что собака палицу”. И у А. С. Пушкина можно прочесть: “Как сткло булат его блестит”. Попробуйте-ка произнести первые два слова вслух - и сами убедитесь, каких это будет стоить усилий!

Есть и такая пословица: “Богатство гинет, а нищета живет”. В нашем лексиконе мирно уживаются более старинное по форме “погибнуть” и облагозвученное путем утери “бн” - “сгинуть”.

К пословице “Короткие речи и слушать неча” В. И. Даль добавил в своем знаменитом сборнике примечание: “нечего”.

Вспоминается и крыловское “На зеркало неча пенять...”. Просторечная форма местоимения родилась благодаря живучему стремлению народа укоротить и тем самым упростить словцо, относящееся к разряду наиболее часто употребляемых в устной речи. В разговорных же выражениях “Вот те раз!” и “Черт те что!” маловразумительные для нас с вами “те” - попросту обломки, образовавшиеся в результате сокращения местоимений “тебя” и “тебе”.

Местоимение “кой” (какой, который) в слове С. И. Ожегова охарактеризовано как устарелое. Это и так, и не так. Употребление официального из-

гоя во множественном числе продолжает бытовать даже и в литературной речи” В одних случаях “кои” просто экономнее, чем “какие” или “которые”; в других - элемент стилизации; в-третьих - подчеркивают шутливый характер контекста. Параллельное существование разговорных выражений “кой черт” и “какого черта” убеждает в их и сегодняшнем равноправии. “А кой тебе годик?” - помните, у Некрасова? Здесь еще допустима замена “кой” на “который”, а вот уже в просторечном “на кой мне!” нармертво утвердившееся “кой” - полный монополист!

Как бы продолжая тему главы “Можно - “в лоб”, а можно и - “по лбу””, приглашаем читателя составить собственное представление об уместности двух глагольных форм - “выдь” и “выйди” - соответственно в двух контекстах; возвышенно-драматичном некрасовском и песенно-игривом:

Выдь на Волгу! Чей стон раздается
Над великою русской рекой?..

Выйди на крылечко,
Ты, мое сердечко,
Без тебя тоскую я давно.

Чаще, правда, стяжка в слове опрощает его, как “слышь”, употребляемое в разговоре вместо “слышишь”, или “глянь” вместо “взгляни” или “погляди”. Интересно, что частица “вишь” произошла путем стяжения от глагола “видишь”. Такова же родословная частиц “бишь” (от “баешь” - “говоришь”), “мол” (от глагола “молвить”). “Де” - укороченное до дальше некуда “дескать”.

Ныне уже непонятен первоначальный, исходный смысл словечек “оглушить” и “оплеуха”, которые по созвучию привязываются обыкновенно к названию органа слуха. Однако на поверку ни то ни другое к “ушам” и “уху” никакого отношения не имеют! Для того чтобы установить истину, достаточно простенькой операции: в

обоих словах нужно подставить перед “у” изгнанную когда-то ради все той же благозвучности букву “в”. “Оглолушить” значило “ударить по голове”. “Оплевуха”, тоже имеющая отношение к драке и драчунам старого времени, как объясняют языковеды, зародилась от обычая перед потасовкой плевать на ладони...

В веке девятнадцатом еще всюю употребляли предлог “об” там, где мы сегодня, соблюдая элементарные нормы благозвучия, непременно заменили бы его на упрощенную и удобную форму “о” либо, напротив, на чуть усложненную, однако тоже более удобопроизносимую – “обо”. У А. С. Грибоедова читаем: “об детях забывал”; “воспоминания об том”, “я правду об тебе порасскажу такую...”; у М. Ю. Лермонтова - “об чем”; “об себе”; “об глазах”; “об нем”; “об Грушницком”; “об хорошенькой женщине”; у Н. В. Гоголя - “об политике”; “об разных улучшениях”; “об важном деле”.

Вместо теперешнего безальтернативного “врозь” в старину было принято говорить и писать “врознь”, вместо предлога “со” в некомфортной фонетически позиции ставили “с”: “с старинными”; “с сторожами”; “с стремительным”; “с службою” (Н. В. Гоголь, “Мертвые души”).

Благодаря естественному и непрерывному процессу самоочищения гибкий русский язык с течением времени начисто избавился от вышеприведенных корявостей.

А какой широчайший простор для любого автора-литератора открывает благодатная возможность варьировать по желанию “под” и “подо”, “к” и “ко”, “уж” и “уже”, “вз”, “взо” и “возо”! При всей своей скромной неприметности эти служебные словечки помогают делать нашу речь более мелодичной, а порою и оказывают сильное влияние на ее

стиль - заданно просторечный либо высокопатетичный. В подтверждение сказанного приведем несколько поэтических цитат.

А. С. Пушкин:

Во грудь отверстую водвинул...

Во глубине сибирских руд...

Ко звуку звук нейдет...

Ф. И. Тютчев:

Ото всего, что тем задорней...

Но подо льдистою корой

Еще есть жизнь, еще есть ропот...

У Александра Солженицына встречается редкостная форма одного из предлогов - “черезо”. Показательно, что на одной странице текста употреблены два варианта: “через вырезку” и “черезо все небо”. К этому можно прибавить, что в запаснике родного словаря имеются также формы того же предлога - “чрез” и “чрезо”, употребляемые ныне значительно реже, но тем не менее всегда готовые к услугам...

Возможно, самый впечатляющий образчик самоочищения нашего языка - судьбы слов, избавившихся от чрезвычайно неподъемного для произношения и даже неприятного на слух буквенного сочетания “бв”. Это бывшие в первом родстве “обвлако”, “обвласть”, “обворот”, “обвязательство”. Если параллельные формы с злополучным “бв” и сохраняются в русском языке, то они играют роль смыслового разграничения: “обязать” - “обвязать”. Не только сравнительно легко расшифровываемое речение “оболочка”, но

и загадочное “обиняк” (говорить обиняками) - результат потери неудобопроизносимого “в”.

Облагозвучивание не всегда бывает связано с потерей звука-буквы. Случается и наоборот. Например, в названии гусеницы начальное “г” отнюдь не первородное, а благоприобретенное. “Гусеница” когда-то пребывала “усеницей”, то есть “волосатой”. В результате фонетического изменения утерялся прозрачный исходный смысл слова - такова довольно распространенная плата за достигаемое благозвучие.

Былые формы “двуаршинный” и “двуэтажный” приобрели новейшую вставку “хъ” тоже в несомненном стремлении облагородиться.

Вообще, если задаться специальной целью - отыскать примеры так или иначе усовершенствованных на точиле живой речи словес, их в нашем словаре окажется немало. Таковы “одеяло” (вместо бывшего “одевало”), “дикобраз” (в словарях XVIII столетия - “дикообраз”), “юла” (в первобытности “вьюла”), “военачальник” и “полицмейстер” вместо “воинначальник” и “полицеймейстер”... В последних двух словах сочетания “нона” и “цеймей” заставляют вспомнить “зозо” в старинном прилагательном “близозоркий”: и судьба всей троицы одинакова.

Слово “барин” (а с ним целое семейство - “барский”, “барственный”, “барыня”, “барышня”, “барчук” и “барчонок”, “барщина”) -от бывшего “боярин”.

Еще более удивительные превращения претерпело название рыбы воблы. Начальное “обвла”, упростившись до “обла” (“круглая”), казалось бы, должно было навсегда и проститься с отвергнутым “в”. Ан получилось иначе, по поговорке: выгнали в дверь - влез в окно. Слово получило косметическую добавку в виде все той же буквы “в”, лишь постав-

ленной в его начале.

Всякого рода стяжения, выпадения и наращення букв-звуков в особенности характерны для множества наречий, вводных словечек, междометий, союзов. В том убеждаешься, когда начинаешь изучать их подробную родословную.

“Однако” - бывшее “одинако”, которое уж тем доставляло неудобство, что путалось с краткой формой прилагательного “одинакий” (одинаковый). “Ишь” произошло из “видишь”, через переходную форму “вишь”; “дескать” - из “деет сказать”; “намедни” - из “ономь дни”, “ведь” - из “я видел” (в последующем осмыслении - “я знаю”); “почти” и вводное слово “почитай” из глагола “почитать” (почесть, счесть - “признать”); “чай” (возможно, вероятно) - из “чаю”, от глагола “чаять” (ожидать, надеяться): “Я, чай, подумал ты, что гору встретил” (И. А. Крылов); “восвояси” (так и напрашивается каламбурное “вотвояси”) - из “во своя веси” (в свои деревни, по домам).

А возьмите узаконенные обыкновенно брезгливой к просторечию грамматикой стяжки в наших с вами отчествах: “Иван Сергеич” и “Марья Алексевна”. Эти стяжки тоже работают на упрощение и благозвучие.

Установка русского языка на удобопроизносимость речений находит себе дополнительно как бы доказательство от противного в особенном, оригинальном жанре устного народного творчества - скороговорках. Вот уж где что называется нетрудно и язык сломать!

От топота копыт пыль по полю летит.

Бык тупогуб, у быка губа тупа.

Иван болван молоко болтал, да не выболтал.

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: ха-

ха-ха-ха-ха!

Нашего пономаря не перепономаривать статью.

В один клин, Клим, колоти.

Сыворотка из-под простокваши.

Около кола три хвоя вьются.

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом,
да все с творогом.

Полчетверта четверика гороху, без червоточинки.

Сшит колпак, вязен колпак, да не по-колпаковски.

В уже упоминавшейся книге “Занимательно о русском языке” раскрывается существеннейшая исходная основа благозвучности русской речи.

“В слоге есть только один гласный, а сколько может быть согласных? 1,2,3 (стре-лять, стру-на, быстро), 4 –(взгляд, всплеснуть, вздремнуть), 5 -? Слов, в которых было бы пять согласных звуков подряд, в русском языке нет.

Обычно в слоге русского языка -1 или 2 согласных. 3, а тем более 4 встречаются не так часто. И то - один из них, как правило, Л или Р, которые произносятся с большим участием голоса. Если бы в нашем языке было много слов с большим стечением согласных, русский язык не был бы певучим, музыкальным языком”.

Стихотворение “Молитва”, посвященное родной речи, Владимир Набоков, живший в эмиграции, написал в 1924 году - не в самое лучшее время для судеб русского языка, когда его портили нахлынувшие мутным потоком арготизмы, иностранщина и тьма-тьмущая сокращенно-сложных новомодных словес типа “промстройтрест”, далеко не самого еще слаломного! Вероятно, этим обстоятельством и можно объяснить нотки беспокойства и тревоги

за будущность русской речи, пронизывавшие все стихотворение. Тем не менее вера в лучшее будущее не покидает поэта.

А я молюсь о нашем дивьем диве –
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную!
Косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волнение нивы...
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь!

А ЦАРЕВНА-ТО ГОВОРИЛА ПО-РУССКИ

Чтобы сразу же отвести возможные сомнения на этот счет - засвидетельствуем документально:

И царевичу потом
Молвит русским языком...

Это сказано о лебеди из пушкинской “Сказки о царе Салтане”. Сразу же после того, как князь Гвидон по справедливости расправился со злым чародеем в облике коршуна, она

Встрепенулась, отряхнулась

И царевной обернулась...

Любой на месте юного и пылкого князя Гви-

дона наверняка был бы очарован неожиданно открывшимся ему сказочным зрелищем. Перед ним вместо лебеди предстала писаная красавица со звездой во лбу, от которой во все стороны распространялось волшебное сияние. Но, может быть, и не в лучистой и яркой звезде заключался главный секрет непобедимого обаяния царевны-лебеди, а совсем в иных прирожденных ее качествах?

А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.

В другой пушкинской сказке - “Сказке о золотом петушке” - тоже выведена венценосная особа. И тоже красавица, чего-чего, а этого от нее не отнимешь: “вся сияя, как заря”.

Однако ни величавой походки, ни сладкой, завораживающей речи А. С. Пушкин той, другой, не даровал, ограничившись довольно двусмысленным замечанием:

..... ..а девица –
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.

Почему же такое неравенство стартовых возможностей? А ларчик открывается весьма просто: царевна-лебедь “молвит русским языком”, а кратковременная жеманная подружка заносчивого и недалекого царя Дадона - иностранка, “шамаханская царица”...

Плавность и мелодичность русской речи (“будто реченька журчит”), обусловленные уже известными по предшествующим нашим главам природными обстоятельствами, с давних пор обращали на себя пристальное внимание наиболее наблюдательных иноземцев и неизменно трактовались ими

как явление специфическое и незаурядное.

Л.-Ф. Сегюр: "...поют свои мелодические, хотя и однообразно грустные песни..."

Т. Готье: "У русских нет акцента (в разговоре по-французски - *В. К.*), только легкая, не лишенная прелести мелодичность, которой в конце концов сам начинаешь подражать".

Маркиз де-Кюстин: "Печальные тона русской песни поражают всех иностранцев. Но она не только уныла - она вместе с тем и мелодична и сложна в высшей степени". И еще одно его же меткое замечание: "...врожденная музыкальность является одним из даров этой избранной расы".

Прибавьте к этим хвалебным характеристикам иностранцев еще и почти беспредельную раскованность народной нашей речи, ее бойкость и живую образность, о которых с безоглядным восхищением высказывался наш великий писатель - Лев Николаевич Толстой.

"... Настоящий, сильный, где нужно - нежный, трогательный, где нужно - строгий, серьезный, где нужно - страстный, где нужно - бойкий и живой язык народа".

Л. Н. Толстой не случайно противопоставлял свободную и образную народную речь салонной с ее напыщенностью и неестественностью:

"От общения с профессорами многословие, труднословие и неясность, от общения с мужиками сжатость, красота языка и ясность".

Поразительнейшее совпадение: в активном неприятии какого бы то ни было диктата "сверху" - со стороны ученых грамматистов ли, или аристократической интеллигенции, подобно флюгеру подверженной малейшим дуновениям моды, - с нашим Львом Толстым целиком и полностью сходилась классик французской литературы Проспер Мериме. Он

отмечал как отрадный факт то, что “педанты не успели ввести в него (в русский язык. - *В. К.*) свои правила и свои фантазии”.

В неподдельной искренности слов Мериме сомневаться не приходится: он отлично был осведомлен о предмете обсуждения. И дело не только в том, что французский писатель-классик с чрезвычайным прилежанием занимался изучением нашего языка. Он вдобавок успешно практиковался в переводах с русского на французский произведений не кого иного, а Н. В. Гоголя - самых, пожалуй, затруднительных для переложения на любой из иностранных языков ввиду колоссальной насыщенности их чисто народными словечками и целыми фразеологическими оборотами.

Русским языком Проспер Мериме был по-настоящему очарован, что с очевидностью показывает такое его восторженное высказывание:

“Французский язык, подкрепленный греческим и латинским, призвав на помощь все свои диалекты... и даже язык времен Рабле, - разве только он один мог бы дать представление об этой утонченности и об этой энергической силе... русского языка”.

Просперу Мериме принадлежит также и интереснейший вывод о том, что русский язык “необыкновенно хорошо приспособлен к поэзии”.

В подтверждение этой мысли французского писателя можно было бы произвести обширный и глубокий анализ памятников народного эпоса, всей древнерусской литературы с ее вершинным творением - героико-лирической поэмой “Слово о полку Игореве”. Можно было бы также проследить весь примечательный путь развития русской поэзии с массой выдающихся имен в ней и ее безусловными пиками - Пушкиным, Блоком, Есениным. Однако имеется и другой, значительно упрощенный, но зато

нагляднейший способ доказательства. Мы с вами, читатель, попросту заглянем лишний разок в собрание русских народных пословиц и поговорок - плод многолетнего и самоотверженного труда, которому посвятил всего себя неутомимый собиратель фольклора Владимир Иванович Даль.

Я влез, и он в лес; я завяз, и он за вяз (игра слов).

Много толков, да мало толку.

Отдай нищим, а самому ни с чем.

Аль тебе в лесу лесу мало?

Аль в людях людей нет?

Лжей много, а правда одна.

Тебе потехи, да мне худые смехи.

Дадут ломоть, да заставят неделю молоть.

Уж солнышко на ели (поднялось в дерево), а мы еще не ели.

Нет настоятельной необходимости расширять и дальше этот скромный набор. Постараемся вместо того по возможности осмыслить хотя бы отобранное.

В перечисленных пословицах и поговорках бросается в глаза богатство разнородных изобразительных средств. Здесь и отчетливо выраженное стремление к выдерживанию всякий раз заданного ритмического строя; и игра слов с максимальным использованием как их многозначности (“толков” и “толку”), так и омонимов (“влез” и “в лес”, “завяз” и “за вяз”); добродушный юмор, понижающий многие из пословиц; бесстрашное образование множественного числа у отвлеченного понятия (“лжей”, “смехи”); свободная постановка ударения (“в лесу и “лесу”) и перетягивание ударения отрицательной частицей (ни с чем”); словесная игра, основанная на перестановке слогов (“ломоть” и “молоть”); наконец рифма, хотя и не обязательная для пословичного жанра, в котором главенствующим является смысл, но тем не

мене всегда искомая и желанная: складное намного легче задерживается в нашей памяти. В общем - все то, что испокон тиражируют в своих лучших творениях отечественные мастера художественного слова.

А теперь ответьте: неужели наш русский народ, этот гениальный коллективный автор, - не Поэт в самом прямом и высоком значении этого определения?

Так будем же все вместе вечно помнить и свято блюсти настоящий завет потомкам, оставленный Иваном Сергеевичем Тургеневым:

“Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нашими предшественниками!”.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
От автора	5

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Море смеется, море волнуется.	7
Незнакомые знакомцы	18
“Спасибо!” - “пожалуйста!”	28
Жизнь после смерти	35

ХВАТАЕТ ЛИ НАМ СЛОВ

В разводе, но под одной крышей	40
Самая молодая буква	53
Что нам стоит ... слово построить?	61
Пасть разинула, а потом заинула	72
Мелочишка, без которой не прожить	85
Безенчук-классификатор	97
Марк Твен и многоэтажки	115
Загадка стрекозла	121

ПРЕЛЕСТНЫЕ НЕСУРАЗИЦЫ

Что огорошило Бисмарка	132
Родственники на словах	141
Милый, милый, смешной дуралей	150
Единоутробные чужаки	167
Из словаря людоедки Элочки	180
Какого цвета красота	186
“Ты” - грубо или сердечно?	194
Может ли скука быть скучной	205
Парадокс Акакия Акакиевича	217
Предлоги-воришки	228
Неправильно = характерно	234

СВОБОДА БЕЗ АНАРХИИ

От перемены мест слагаемых.....	256
Деды и деда	267
Можно - “в лоб”, а можно и – “по лбу”	275
Пуды и граммы существительного.	287
Кто следующий?.....	297
Аршин для глагола	306
Я не я, и котомка не моя	316
Дверь прилагательная, дверь существительная	322
Потеряшки и оборотни	332
А царевна-то говорила по-русски	343

K78

Валентин Павлович Краснопецев

**ПОГОВОРИМ
ПО-РУССКИ**

Издательская лицензия ИД №06024 от 09.10.2001 года.
Подписано в печать 20.03.2002 г. Формат 60х90/16.
Объем издания в усл.печ.л. 22. Тираж 100 экз. Заказ 72.

Псковский государственный педагогический институт им.
С.М.Кирова, 180760, г. Псков, пл. Ленина, 2.
Редакционно-издательский отдел ПГПИ им. С.М.Кирова,
180760, г. Псков, ул. Советская, 21, телефон 2-86-18.